Цена 80 коп.

Индекс 70544

ISSN 0131—2251



Усадьба Останкино. Дворец-театр построен в 1792—1799 гг. под руководством архитектора Елизвоя Назарова крепостными мастерами П. П. Аргуновым, А. Ф. Мироновым, Г. Дикушиным и их учениками. Сейчас здесь находится музей творчества крепостных.





МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ 1 1989



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

1989

1

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ



Основан в 1922 году

Москва, ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфическое объединение ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»

В НОМЕРЕ:

Первая страница обложки журнала: Композиция Сергея Дергачева.
Вторая страница обложки журнала: Рис. Анатолия Гилева.

«Молодая гвардия», 1989, № 1, 1—288

Наш адрес:
125015, Москва, А-15, Новодмитровская ул., 5а. Телефоны редакции: приемная — 285-56-90; отдел прозы — 285-80-55; отдел поэзии — 285-88-40; отдел очерка и публицистики — 285-80-26; отдел критики — 285-80-14; отдел «Товарищ» — 285-89 66; секретариат — 285-80-16.

Подписка на журнал ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» принимается БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА ГОДА



ПОЭЗИЯ

Виктор СМИРНОВ

РОДНИКИ

* * *

Еще встречаешь дягель у реки.
Затронь — пыльца течет с него
ручьями.
Еще не все зачахли родники,
Отравленные нашими руками.

Коль на косьбе светло устанешь ты,
Под старую ольху придешь,
как прежде.
Заломит зубы от лихой воды —
И солнцем вспыхнет на лице
надежда.

Пришла пора сражаться за нее!
Ты прятаться в кусты уже
не станешь.
Березовое легкое косье,
Как будто бы копье, в руках
сжимаешь.

* * *

И видела, качнувшись, ветка
Сквозь светлый, как слеза, рассвет:
Душа жестокой дланью века
Небрежно брошена в кювет.

И это крик протяжный, длинный
Души, дымящейся в росе, —
Как плач собаки из-под шины
На плахе шумного шоссе.

* * *

Добры вы, люди? Или злы?
Жизнь потрясла жестоким смыслом,
Когда однажды свист стрелы
Свинец своим продолжил свистом.

Зенит весенний. Как он чист,
Покамест ветер туч не гонит!
Какой еще смертельный свист
Сам человек себе готовит?

Боясь на луг ступить с крыльца,
Рассветной очарован тишью,
Так слушаю я свист скворца,
Как будто больше не услышу...

* * *

Материнские глаза пронзают.
Знают, как ты суетился, лгал.
Но сквозь строй березы пропускают —
И выходишь без грехов к лугам.

Жеребенка звонкие копытца
У жнивья — прощения венцом.
И светлеет темная криница,
Сына блудного узнав лицо...

* * *

Багряная рубаха на отце!
Он косит луг у речки с мужиками.

Туманы рваными плывут мечтами —
И оставляют слезы на лице.

Вдруг словно пелена спадает с глаз:
Рубаха красная в лучистом свете!
Она кричала о войне, о смерти.
Я это слышу только лишь сейчас...

* * *

Заслоняя солнце над полями,
Грянет среди бела дня гроза:
Избам деревянными платками
Завязали синие глаза.

Где вы, люди? Грешные? Святые?
Под каким грустите потолком?
Сосчитал я: десять изб — слепые.
Но смотрю, одна — поводырем.

Значит, выйдут к свету, слава богу.
Блещет трав зеленая гряда...
Города, не застите дорогу.
Дайте нам дорогу, города!

* * *

Ромашки отцвели.
Зачем? Не жди ответа...
Художники — от неба.
Крестьяне — от земли.

В одних — бушует дух,
В других — душа, как прежде.
А остальные — между.
И ты, и ты, мой друг...

* * *

Не забывай о том: ты — сын деревни.
Столица — что? Она лишь миг в судьбе.
Распахнуто живи, как эти двери,
Для каждого открытые в избе.

Мы выросли. Уже тревожим бога.
И до любой звезды — всего верста.
Но высота крестьянского порога,
Она для всех — святая высота...

* * *

Нет радости в чужих зрачках —
И боли в них не ожидается.
Нет! В равнодушных зеркалах
Мир искаженно отражается.

Не знаю, как на чьей стезе,
А здесь весь русский край отеческий
Правдиво светится в слезе —
Глубокой, честной, человеческой.

* * *

Во мгле сверкает месяца серьга.
Мороз. Январь. Глухая тишь. Россия.
И речка слышит, как лежат снега:
Тяжелые, суровые, родные.

И бьет бессонно самый светлый ключ,
Слагая песню радости нетленной.
И на плечо ложится лунный луч,
Как будто теплая рука Вселенной...

* * *

Бьют и в мороз родные родники,
Рука рассвета к ним деревню движет.
И черпаю я черный бег реки —
И он затравленно из ведер дышит.

А по березовым стволам — стрельба.
И снег скрипит, как ржавые ворота.
Над ведрами — два золотых столба,
Светясь, качаются в лучах восхода.

г. Смоленск



ПОЭЗИЯ

Евгений ВИНОКУРОВ

БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

* * *

Глубока
суть этой жизни бренной...

Как черты любимого лица
постигаем мы
лицо Вселенной
и постичь не можем
до конца...

ИСТОРИК

Посмотришь и подумаешь, что горек
его, в дугу согбенного, удел...
Он просто архивариус, историк,
зарывшийся в собранье старых
дел...
Ах, в бездне этих дел,
не утонуть бы!..
С утра до ночи здесь проводит дни.
А в этих папках

судьбы, судьбы, судьбы...
Как разобраться: каковы они?

Но что вдруг за удача,
что за диво,
когда по истеченьи многих лет,
в подвале тут,
из полутьмы архива,
он документ вдруг вытащит на свет!..
И, горы перерыв бумаг, он тяжко
вздохнет, нелегкий вытирая пот!..

А между тем
вот эта вот бумажка,
быть может, мир однажды
потрясет...

* * *

Речонка узкая Медынка
бежит, вся в щепках и золе...
Для рыцарского поединка
нет лучше места на земле!
Молочница здесь, как невеста,
сидит,
продавши молоко...
На свете нет такого места!..
Здесь славно резаться
в очко,
здесь славно,
скинув рукавицы,
из снега дом лепить зимой!..
А между тем
часы в столице
отбили год
тридцать седьмой...
Я ясно понимал едва ли...
Но в ожидании звонка
ночами взрослые
не спали...
Я часто видел «воронка»,
что к нам во двор, через ворота
въезжал...

Я с самых ранних лет
фамилии «врагов народа»
запомнил из столбцов газет.
Тогда уж я читал неплохо...
Тогда я робок был и мал, —
но знал:
как ты страшна, эпоха!..
Хоть и не все я
понимал.

РАЗВАЛИНЫ

Проезжая
черными полями,
ощущал я непонятный страх...
С продырявленными куполами
церковки стояли
на буграх!..
Лет тридцатых горестная драма!..
Почему средь тишины такой
от полуразрушенного храма
веет
нестерпимою тоской?..
Вся была нелегкою дорога, —
то колдобины, а то настил...
Даже я,
не верующий в бога,
ужас
от развалин
ощутил...

ХЛЕСТАКОВ

Средь льстивой и трусливой суеты
За ревизора принятый пройдоха
Берет небрежно взятки, и плуты
Сдержать не могут радостного вздоха.
Все обошлось, они теперь чисты
От грязных дел, да и ему неплохо:
Он здесь со всеми чуть ли не на «ты»...
Ведь то не город, то его эпоха!
Он здесь как свой. Набил карман тугой

И в путь! Но прибыл ревизор другой!
Что ждет воров? Отставка, суд, позор?
Сердца застыли перед страхом новым!..
Напрасно: настоящий ревизор
Окажется таким же Хлестаковым.

ТЕПЛОТА

Судьба
того, видать, несчастна,
кто думает достичь высот...
Но злая теплота мещанства
его, однако, засосет.
И, потерявший имя,
вскоре
он обнаружит, аноним,
как синяя звезда в просторе
вдруг замерцает перед ним!..
И как удел бедняги труден!
Он на звезду направит взгляд.
Но темная трясина буден
его потянет вдруг назад...
Хоть пустотою мировою
пахнёт,
но, видно, неспроста
сомкнется вдруг над головою
спасительная
теплота...

* * *

Гудит
провинция глубокая,
У клуба собрался народ...
В платках,
по-северному окая,
сидят старухи у ворот.
В избе бревенчатой милиция,
десяток пьяных у ларька...
Гудит глубокая провинция,
что от столицы
далека!..

И от заката розоватого
дрожит полоска на Двине...
От века нашего двадцатого
она как будто
в стороне!
Покойный запах сена свежего.
В огромных тыквах огород...

И парни смотрят на приезжего,
открыв от удивленья
рот...

ЧУДО

И вот
с высокого нашеста
во весь свой петушиный дух
запел,
земное совершенство,
с багровым гребешком петух!
И зорька заалела с края...
Но за бревенчатой стеной
поет он, новый день встречая,
хронометр этакий земной!..
Откуда это в нем, откуда?
И в чем же все ж его секрет?
Вот это маленькое чудо —
петух,
встречающий
рассвет...

* * *

По законам
великой природы,
по движению звезд,
наконец,
не постичь ни за что повороты
человеческих тайных
сердец.
Потому-то —
совсем не случайно —

у астролога и мудреца
непостижна обычная тайна
человеческого лица.
Пусть
познанья не допита чаша,
пусть космический вечен
мороз,
потому, что Вселенная наша
лишь один беспредельный
вопрос...

ВАЗА

Мучился над вазой позолотчик...

Запрокинув личика овал,
на старинной вазе
ангелочек
руки в поднебесье
воздевал...
В зале у стены стояла ваза,
а над нею был ампирный свод!..
Мы тогда вникали в суть рассказа,
что пред нами вел экскурсовод.
И на вазу взоры коллектива
были в этот час устремлены...
Вот оно, фарфоровое диво,
что дошло до нас
из старины!
Над землею прокатились волны...
А она, прозрачна и мила,
эти все пылающие войны,
стройная,
легко пережила.

Пронеслись года, ее не тронув...
Мир изведал смертоносный яд!
И сейчас
десятки миллионов,
в землю погребенные,
лежат...
О прошедших ужасах не зная,
и такая хрупкая на вид,

слабенькая ваза неземная
словно символ нежности
стоит...

ДВЕ ДАЛИ

Как корабль
средь океанской глади,
я на этом свете!..
Погляди:
вечность у меня осталась —
сзади
и такая ж вечность —
впереди!
Я плыву,
гладь эту пробивая,
будто бы корабль на всех парах,
и одновременно пребывая
в этих двух таинственных
мирах...





Рис. Ю. Макарова

Имя молодого прозаика Сергея Михеенкова, лауреата Всесоюзного литературного конкурса имени Н. Островского, стало известно нашему читателю совсем недавно. И тем не менее мы не можем не заметить, как от повести к повести увереннее и колоритнее становится его перо.

Новая повесть написана с глубоким знанием народного быта, нравов, обычаев деревенской жизни. Автор прослеживает судьбы своих героев в наиболее напряженные минуты их жизни, когда перед ними встает вопрос нравственного выбора.

События, описываемые в повести, происходят сегодня. Главная героиня Вера Донцова, молодой специалист, искренне верит в новые преобразования, в обновление жизни, но эта вера дается ей нелегко: приходится преодолевать косность мнений, человеческую глухоту, даже прямые оскорбления. И дело не только и не столько в характере ее, сколько в осознании гражданского долга, важности той огромной революционной работы, которая питает сегодня сознание каждого здравомыслящего человека.

Уж все венки да поверх плывут,
А мой потонул.

Из русской народной песни

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Было воскресенье, одно из многих, все так же однообразно и скучно прожитых ею в Крисанове-Пятнице, и Вера, чего не могла себе позволить с тех пор, как окрест сошли снега и на совхоз навалились полевые работы, торопливые и суматошные, долго лежала под одеялом.

Иногда на минуту-другую Вера задремывала, но тут же просыпалась, будто спохватывалась, что спать нельзя, и чувствовала, как идет, длится время; она прислушивалась к нему, несущемуся в пространстве, сердце у нее радостно и тревожно замирало, и она догадывалась, отчего ей хочется улыбнуться. Ох, поскорее бы шло. Поскорее бы... Поскорее...

Она то подводила к животу горячие коленки, то выпрямляла длинные стройные ноги, красивые, это она знала наверно, упиралась ими в холодную полированную спинку широкой кровати и думала о Николае.

Вера решила до обеда не вставать. Отсеялись. Отмучились. Слава богу. Теперь и поспать всласть можно. Она стала вспоминать: вчера или позавчера, нет, все же вчера, в зеркало посмотрелась — синяки под глазами, прямо тени синие, лицо обветренное. Ох, совсем доконала эта шальная нынешняя посевная. Могли бы и мужика, ка-

кого поздоровше, посылать в ночь с тракторами. А то послали... Нашли топор под лавкой. Днем-то бригаду тоже не оставишь, насеют мои мужички как попало, потом разбирайся. Николай пишет, что у них в армии и то побольше поспать дают. А тут — три часа, и то урывками, и еще приснится невесть что, чертовщина какая-нибудь: в сеялках вместо зерна земля, или что директор крадется. Теперь осталось посеять гречиху. Всего одно небольшое поле. Это — на день хорошей работы. Так что гонки такой уже не будет.

Вера снова подвела к животу ноги. Вздохнула. С Николаем по утрам куда веселее было. И просыпались, кажись, раньше. Ох, куда как раньше с Николаем просыпались, вздохнула опять. Николай как-то пошутил насчет кровати. Кровать эта Вере нравилась. А он: спальню я тебе не такую еще куплю, я тебе, мол, спальный гарнитур куплю, за три тысячи, финский. А она ему тогда: там, мол, кровати узкие, и две, ни к чему им такой гарнитур, чтобы спать порознь, а если сдвинуть, то разъезжаться будут. Один раз как-то ночевали в Смоленске, в гостинице, в двухместном номере. Номер хороший, дорогой, удобства все, а кровати две, по углам. Так пришлось сдвигать. А чтобы щели между не было, одеяло одно свернули и туда затолкали. Утром горничная постучалась, увидела, заругалась. А Николай ей: ну что ты, тетка, сердитая такая, будто всю жизнь пенсионеркой была.

Она погладила живот и почувствовала, как от этого прикосновения под гладкой, слегка завлажневшей кожей вздрогнула какая-то жилка.

С Николаем хорошо было, вздохнула она, и вздох тот дернулся у нее в горле, словно у ребенка после слез.

Три года назад они, два молодых агронома, закончили сельскохозяйственный техникум и по распределению приехали в совхоз «Рассвет», поселились в двухкомнатной квартире в типовом кирпичном доме, построенном на центральной усадьбе для молодых специалистов и их семей. Его назначили агрономом-семеноводом, что по хозяйственной иерархии означает: вторым агрономом после главного, а ее — бригадиром полеводства. Работалось и жилось им в Крисанове-Пятнице весело. Время летело незаметно и счастливо. Но, как говорят, обнявшись, веку не просидеть. Так и у них вышло: год назад

Николая призвали в армию, и Вера бедовала теперь одна.

Служил Николай далеко, на севере Крутогорского края. Письма и те шли по целой неделе. Вначале свою переписку они организовали так: вот напишет Вера письмо, а он там дожидается, пока оно придет; дождется, ответное напишет, она тем временем тут дожидается. И покуда ждет, время глаза выест. Потом начали писать каждый день.

Оставшись одна, Вера начала скучать в Крисанове-Пятнице. Привез меня сюда и бросил, думала она иной раз, осердясь на мужа за то, что вот он ушел служить, а она теперь жди его, ясна сокола.

— Вот и жди его теперь, — вслух подтвердила она. — Мучайся. Как будто легко так. Как будто просто. Одной.

Вере захотелось поплакать оттого, что она одна. Она закусила губу и не заплакала, стерпела, подумала: еще вон сколько так, одной, мытариться-мыкаться, долгонько еще, что ж теперь сердце рвать. Потерплю. Что же теперь-то...

Она вспомнила, как легко Николай уезжал. Будто рад-радешенек был тому, что уезжает, оставляет ее. Даже не вздохнул напоследок. Обнял торопливо, так же торопливо поцеловал в губы, жарко, правда, поцеловал, и засмеялся, закричал что-то уже с подножки вагона, когда она заплакала, закрыв ладонями лицо.

Полежав еще немного, Вера выпростала из-под одеяла руку и потянулась к столу. Там стоял маленький радиоприемник с кожаным ремешком. Она включила его и положила на грудь. «Маяк» передавал новости. Может, и про моего что передадут, подумала и сделала погромче, он же у меня все-таки отличник боевой и политической подготовки, ефрейтор, как-никак передовик. Нет, не передадут, немного погодя вздохнула она, слишком скромный, к начальству не больно льнет, а таких не очень-то замечают, как видно, и в армии. Это он только со мной такой разговорчивый. Начался репортаж с места учений Н-ской мотострелковой воинской части. Застучали автоматные очереди, совсем не похожие на выстрелы в кино, послышались голоса командиров, топот солдатских сапог. Репортаж так же неожиданно, как и начался, закончился. Нет, не передадут. Но все же дослушала выпуск до конца. С некоторых пор она заметила за собою странность, которая переросла в привычку — любила слушать по-

следние известия, выпуски новостей, информационные сообщения. Все от тоски — и чудачества, и привычки. Потому что привычки — это, в сущности, тоже чудачества. Когда диктор сообщил, что на территории Демократической Республики Афганистан, в провинции Нангархар, подразделениями вооруженных сил ДРА и Царандоя, народной милиции, окружена и уничтожена крупная банда душманов, что в операции приняли участие также советские воины из состава ограниченного контингента войск, Вера замерла. Безотчетный страх сжал ее, даже в горле стало сухо и колко. Как хорошо, что Николай не там, подумала она.

Наверное, в дверь стучали уже давно, но она услышала только, когда в передаче наступила пауза. Встала, одернула на коленях ночную сорочку, поверх накинула халат, в прихожей на ощупь включила свет, на ходу заглянула в зеркало, поправила коротко остриженные взъерошенные волосы и указательным пальцем отдернула в сторону рычажок английского замка.

— Ира? — Вера потянулась, оперлась о дверной косяк, зевнула. — Пораньше прийти не могла?

— Пораньше... А ты знаешь, сколько сейчас времени?

— Какая для меня разница, сколько сейчас времени.

— Я уж подумала, не отравилась ли газом. Да мало ли... А ты вон дрыхнешь.

— Дрыхну. За всю посевную отсыпаюсь.

— Ну ладно, не злись, что не вовремя, — протиснувшись мимо Веры и оглядевшись в прихожей, оклеенной коричневыми, под дерево, обоями, сказала рассеянно Ира. И по тому, как она эта сказала, Вера поняла, что не угрызения совести мучают Иру, а что-то другое.

— А, да ну тебя. Ты всегда не вовремя.

— Это что, упрек?

— Понимай как хочешь. Чай будешь?

— Буду. Но ты ко мне несправедлива. Почему ты ко мне так несправедлива, а? Значит, я — это тот человек, который приходит всегда не вовремя.

— Он самый, — согласилась Вера. — Но ты не задирай. Проходи. А я сейчас переоденусь и поставлю чайник.

— Не трудись. Иди одевайся, я тут сама справлюсь.

— Да? Ну вот и ладно, хоть какая-то от тебя польза.

Они рассмеялись.

Ира тоже приехала в Крисаново-Пятницу по распределению. Работала заведующей сельской библиотекой.

Но нынешняя посевная не обошла и ее. Вначале в составе агитбригады Ира почти каждый день выезжала в поле, а потом всю их певчую бригаду временно расформировали, и кого поставили на сеялки, кого на погрузку, кого куда. Посевная страда, будто полая вода побережные льдины, ухватывала все новых и новых людей, и всем им доставало работы с ранних зорь до поздних зорь. Ира же заменила одного из сеяльщиков, ушедшего в ночную смену. Так что хлебнула пота. Ей так же, как и Вере, было лет двадцать с небольшим. Смуглая, черноволосая, с косо посаженными карими глазами, худая и гибкая, словно свежий красноталовый прутик. В деревне, как видно, любили дородных, ну не то, чтобы уж очень, но чтоб, как говорили тут, душа над телом не надсмехалась, чтобы везде ладно было, а потому молодые мужики и парни тоже смотрели на библиотекаршу и, отмечая явно незавидную ее щадноватость, рассуждали примерно таким образом, что, мол, девки в городе совсем уж худоватые пошли, на учебе, что ль, так дохнут, или мода до такого безобразия докатилась, раньше таких не присылали. Санечка Крылатка, работавшая в Вериной бригаде полеводом, как-то ей так и сказала: «Вот почему ты, Ирка, замуж никак не выйдешь? Вот хоть и образованная, хоть и работа у тебя чистая, не тяжелая. Книжки с полки на полку, извини меня, переставлять да формуляры заполнять — это ж не мешки ворочать. А? А я тебе прямо скажу: тела маловато. Гляди, бригадирка наша, Вера-то Александровна справная, как, как... может, чего не так скажу, так ты не смейся, как телка летошняя. И тут у нее места вольные, хоть ордена вешай, и там есть за что похвататься. Вот и результат, как в газетах пишут, налицо!» — «Ладно, теть Сань, хватит срамить меня. Веркин-то результат во-он нынче где! А я зато свободная. Я и не пойду за того, который не служил еще. А то что ж это: приласкает, привадит, приучит к сладенькому и — адью? А я мучайся?» — «А-а, ишь какая бойкая. Боишься, стало быть, что распетушит, раззадорит, а сам служить уйдет?» — «Боюсь, теть Сань. А как же! Боюсь! Я своему мужу верной хочу быть. Но если так, на два года, как вон Веркин Николай, то я за себя не ручаюсь». — «Ну, гляди. Да повострее гляди. А то проглядишь. Долго-то думавши замуж не выходят». — «А я и не спешу. Одной пока хорошо. Скучновато, правда, иногда, зато вольно». — «И то правда, — согласи-

лась Санечка Крылатка. — Живем, не тужим, никому не служим». — «Вот-вот», — улыбнулась Ира. Но та тут же поправилась. «Только, говорят, неволя медок пьет, а воля — водицу». — «А еще что у вас тут говорят?» — «Еще у нас так говорят: своя воля — клад, да черти его стерегут». — «Да, теть Сань, сдаюсь». — «То-то же, вперед не сокочи языком, а старших слушай. Глядишь, и пригодится что. А впрок я тебе вот что скажу, чтобы ты свободой своей не больно похвалялась: съешь и морковку, коли яблочка нет». — «Ну уж нет, теть Сань, на морковку я не согласна». — «Э-э, это, радуга ты моя, погоди-и. Эх, погоди. И горько покажется, а скажешь: слаще и нет».

Ира поставила на газ чайник и вернулась в комнату, где переодевалась Вера.

— Вер, ты знаешь, зачем я зашла?

— Понятия не имею. Могу только предполагать, что нужны деньги.

— Да нет... Хотя деньги в общем-то тоже нужны. За посевную еще не выплатили, а свою зарплату я уже всю спалила. Но тут дело другое.

— Ну, тогда это действительно интересно.

— Перестань издеваться. Понимаешь, старушка, сегодня вечером ко мне приезжают мои бывшие однокурсники. Их двое. Хорошие ребята, без комплексов. Я хотела и тебя пригласить. А? Посидим, поболтаем.

— Я не могу.

— Да не спеши ты отказываться. — Ира нахмурила смуглый лобик. — Ну почему ты не хочешь?

— Не смогу. Ну, скажи, как я пойду? С какой стати? С какими глазами? И вообще...

— Ох и крепко ж в тебе, старуха, деревня сидит!

— А в тебе, думаешь, нет? — усмехнулась Вера.

— Во мне? — Ира сделала беззаботное лицо. — Во мне она вообще не сидит. Это я в ней, тмутаракани этакой, сижу. Торчу вот. Поля ваши засеваю.

— Ой, хватит, не люблю я этих разговоров. Хлеб с маслом, небось, больше любишь, чем на сеялке пыль глотать. Ты уж, будь добра, хотя бы приблизительно уравняй в себе свою любовь и нелюбовь. Ведь и гостей своих будешь угощать сегодня не тем, что бог послал, а тем, что в поле выросло и что на фермах наработано. А вообще-то ты права: поля эти действительно наши, — сказала Вера и отвернулась к окну.

— Да ладно тебе, разошлась. — Ира обняла Веру, насильно повернула голову, заглянула в глаза. — Ну? Ребята славные. Переночуют и завтра утречком уедут. Поняла? Никто и не догадается, что они ко мне приезжали.

— Все равно. И не уговаривай. Не хочу. Просто не хочу.

— Ну и дура. Не хочешь, как хочешь. Посидели бы, кофейку попили. Я банку быстрорастворимого достала. Бразильского. Фирмы Пеле. А? Ты ведь любишь быстрорастворимый кофе.

Ира вскоре ушла. Напоследок обиженно-насмешливо хмыкнула, сказала:

— Ну-ну, смотри...

День прошел в обычных домашних хлопотах: постирала, погладила, убрала в комнатах. Когда засинелось за окнами, Вера даже обрадовалась, стала разбирать постель.

Она разделась и залезла под одеяло. Сон не шел, он будто проходил, и все — мимо, мимо, мимо... Кругом все затихало, успокаивалось, засыпало, а она вынуждена была лежать с закрытыми глазами, слушать густеющую тишину и притворяться, что спит. Перед кем? В последнее время такое случалось часто.

Земля терпеливее меня, подумала Вера. Откуда у нее столько сил?

В открытое окно было слышно, как ветер шумит в соснах и в сухих прошлогодних травах. Скоро пойдет дождь, подумала она настороженно, высвобождаясь из-под душного одеяла, и тогда прошлогодние травы опадут наземь и уйдут под корневища новых трав нежным перегноем. А если бы ливень, то все произошло бы гораздо быстрее. Да, нынешней ночью он непременно будет.

Вера встала, в темноте на ощупь пробралась к столу, включила лампу.

Стопка ученических тетрадей в фиолетовых обложках лежала на краю стола, придавленная томом Сельскохозяйственной энциклопедии. Точно такую же стопку и пачку конвертов без марок она отправила недавно бандеролью Николаю. Интересно, получил ли? Видимо, нет еще, потому что письма присылает в старых конвертах, да и написал бы, если бы получил бандероль. Она ему

туда и десяточку положила, спрятала бумажку в конверт и заклеила его. Вера взяла верхнюю тетрадь, разогнула ножницами скрепки, и двойные листы тонкой лощеной бумаги, освобожденные, словно караулили это мгновение, посыпались на пол, зашуршали. Она подняла два или три, сколько смогла, села за стол, отступила две клеточки сверху и пять слева, как делала когда-то в школе, начиная новую тетрадь, и стала писать. Почерк у нее был красивый, буквы правильные, немного кругловатые, и впрямь — как у школьницы.

«Коленька, милый.

Вчера закончили сев.

Я теперь отсыпаюсь. Почти блаженствую. Ты ведь знаешь, что это такое, когда сев позади.

Стоит жара, день за днем, и земля высохла, как губы мои без тебя, и если через три-четыре дня не пойдет дождь, то яровые сильно запоздают, и осенью, как, помнишь, однажды уже было, уйдут под дожди. Тогда мы уже точно не соберем того, что вырастим. Земля ждет дождя. Земля трескается, как мои губы. Мне кажется, что просто дождь уже не напитает ее, не утолит той жажды, какая ее мучит. Нужен ливень! Такой, знаешь, — чтобы речки из берегов!

Милый, как долги эти два года! Ты, наверное, не представляешь, как они долги! Кажется, с того дня, когда мы расстались, и до того, когда мы снова будем вместе, пройдет целая жизнь, мы к тому времени состаримся и уже не сможем любить друг друга так, как любили раньше. Я тогда говорю себе: ну что ты, дуреха, два года пройдут незаметно, а потом еще годы пройдут, и ты когда-нибудь спохватишься и спросишь себя, а были ли вообще в твоей жизни эти два года одиночества и ожидания. Но я вначале верю, а потом не верю себе. Вот уж, действительно, дуреха. И побранить меня некому...

В совхозе все по-старому. Даже директор прежний остался. Вот уж чего никто не ожидал в наше крутое время. Приехали какие-то серьезные дяди из области, посмотрели, полистали документы, постращали с глазу на глаз ничего и никого не боящегося Па́укова и снова уехали. И Иван Николаевич, теперь уже с новыми силами, принялся дальше измываться над землею и людьми. В нынешнем году взяли обязательства получить

зерновых до двадцати центнеров с каждого гектара. Никогда таких урожаев здесь не снимали. Смотрела старые отчеты и сводки: шесть лет назад было по восемнадцати центнеров на круг, восемь лет назад — семнадцать и четыре десятых. Пшеница же давала по двадцати пяти центнеров!

Представляешь, Коля, двадцать пять! Ты, когда пробивал семенники и удобрения для них, и мечтать об этой цифре не мог. Но тогда колхозом руководил не Пауков, а другой человек. Этот же десятые не считает — округляет. А потому двадцать центнеров на круг мы получим, даже если и не вырастим их. Однажды была свидетельницей того, как он по селектору передавал в РАПО сведения. Спрашивают: сколько посеяно яровых? А он: а сколько надо? У меня в блокноте точная цифра, свежая, только что с поля, двести восемьдесят шесть гектаров, и нарочно держу блокнот раскрытым, и он видит это. Триста, отвечает. Там говорят: маловато, мол, простаиваете, что ли? А мы действительно в те дни простаивали, трактора поломались, как по команде, а потом масла не было. Тогда наш Иван Николаевич, ничтоже сумняшеся, и говорит: минуточку, не тот, оказывается, листок взял, это, мол, старые сведения, записывайте: триста пятьдесят один гектар. Вот так, с точностью до одного гектара. Сеем, говорит, передайте председателю РАПО, что техника в поле с зари и до зари. Даже меня не постеснялся.

Назавтра, гляжу, в районной газете сводка: совхоз «Рассвет» по севу на первом месте! Слава победителю районного социалистического соревнования! Наши все, в том числе и парторг, и главный агроном, видят, и все дружно молчат. Смеются, злоязычат, зубами скрипят, уповают на то, что, в конце-то концов, сколько веревочке ни виться, а конец будет, а сами потянуть за этот конец боятся. Вот я и молчу вместе со всеми. Но как-нибудь соберусь с духом и выступлю на комсомольском или на открытом партийном собрании. Теперь чаще стали собирать открытые партсобрания и всегда приглашают нас: комсомольцев, специалистов. Только боюсь — не поддержат другие. Но говорить все равно надо. А то ведь доходит до абсурда: нас хвалят за корма, что готовим мы их много, умело и качественно, а зимою на фермах дояркам нечего коровам в кормушки положить. Этот абсурд стал уже нормой, удобной и кому-то выгодной. Рабочим пы-

таются даже внушить, что такой способ заготовки кормов и им выгоден: деньги-то платят, и немалые, а за перевыполнение плана еще и премиальные подкидывают.

А продуктивность коров снизилась почти вполовину по сравнению с годами допауковского правления. Или еще: на весь район трубят, хвалят совхоз «Рассвет» за своевременный и добротный ремонт почвообрабатывающей, посевной техники и тракторов, а весною пашем без борон, сеялки то и дело ломаются, а трактористы матерятся на плохо отремонтированные в «Сельхозтехнике», или как там она сейчас называется, моторы. Прости — заболталась. И действительно: какую чепуху несу! Боже мой, ведь совсем о другом хотела написать. А знаешь, почему-то кажется, что и это тебе тоже интересно.

Милый, как тебе служится? Как скучается? Ведь скучаешь, знаю. Ты писал, что скоро тебя, то есть вашу роту, переведут куда-то. Куда? Почему? И надолго ли? Я хотела приехать к тебе сразу, как только дадут отпуск. А отпустят меня осенью, где-то в октябре. Вот тогда и приеду. Там ведь можно будет где-нибудь поблизости снять на время комнату и пожить? Я тебя, помнишь, спрашивала об этом, то есть о том, можно ли там у вас подыскать комнату, а ты что-то ничего не ответил. Ты будешь отпрашиваться в увольнение, и мы будем вместе. Мне хоть посмотреть на тебя. Хоть бы минуточку. Хоть бы издали.

На фотографии ты какой-то другой. Похудел, что ли. И такой возмужавший, словно тут тебе не меньше тридцати лет. И глаза. А может, все дело в форме? Военная форма тебе идет. Таким мужественным, как ты, военная форма очень идет. Но лучше бы скорее шло время. Скорее бы! Год. Ждать тебя осталось один год, солдатик мой миленький.

Тело мое измучило душу мою без тебя.

Вечером читаю свои любимые книги. Бунина, Лескова, Шолохова, Терентия Мальцева. От этих книг душа успокаивается, немеет. Как ребенок, которому дают наконец-то, чего он хочет.

Письма тебе пишу только вечерами. Пишу не сразу: одно — за два-три вечера. Это — чтобы время быстрее шло, а тебе интереснее читать было. Вот и теперь поцелую листок, не дописав до конца, и лягу спать. Я долго буду лежать с открытыми глазами и поджидать наступления завтрашнего дня, потому что завтра разлука наша

станет на один день короче. А потом так же буду ждать вечера, чтобы снова приняться за недописанное письмо».

Она выключила настольную лампу и долго стояла в темноте, прижимая к груди тетрадь, в которую вложила недописанное письмо.

Ветер усилился и начал колыхать оконный тюль. Вера подошла к окну, здесь было светлее. Закрыла глаза. Пахло полем, голой, давно не рожавшей землей, иссохшей от тоски по плоду. Где-то вдали, за бором, за Скворцовым лесом, за полями и лугами, били, как родники, частые зарницы. А может, это молнии, подумала она? Может, оттуда, издалека, и идет к нам гроза? С ливнем. С таким, о каком грезит земля.

Вера решила лечь и не спать покуда, ждать, когда ливень придет, зарокочет в бору, заходит хозяином под окном. Там вспыхивало уже ярче и чаще, стали отчетливо слышны дальние глухие удары, похожие на то, если бы через ручей Вертун мужики из плотницкой бригады ладили мост и не спеша перекатывали по настилу бревна. Вера лежала и думала о том, что теперь-то земля насытится влагой. Она представила, как крупные капли ударят по гребням и в ложбинки бороздок, оставленных сошниками, как земля очнется в своем ожидании, вздохнет облегченно и радостно, впитывая в свое могучее лоно и эти первые капли, и струи, и ручьи, и целые потоки, потому что ждала она ливня и только ливень напитает ее и уймет жажду.

Дождь пришел только на рассвете. Вначале неслышно наследил на крышах крисаново-пятницких домов, тяжелыми горошинами упал в дорожную пыль, затем смелее и чаще захлопал по карнизам и вдруг замер, будто передумал, будто что-то ему не понравилось здесь или иссяк в дальней дороге. Но через минуту-другую обломным ливнем накрыло бор, деревню и окрестные поля. Вера так и не дождалась ливня, уснула. Она не проснулась, даже когда за деревней, над Любовцовским полем, скользнула, рассекла наискось сероватое сумрачное небо молния, разошлась, зарогатилась у самой земли, будто стремясь прорасти, проникнуть в нее своими бесплодными, безумными корнями, и тут же ударил гром, забухал медленными раскатами над самыми крышами, отчего задребез-

жали стекла в рассохшихся рамах и загомонили перепуганные гуси.

Ветер утих, уступил ливню, и туча, объяв небо от одного края до другого, извергала на покорно распростертую землю стремительные струи. Сосны замерли застигнутыми врасплох путниками и, смирившись со своей участью, терпеливо стояли под ливнем; вода смыла с их хвои пыль, побежала пенистыми белыми струями по глубоким складкам коры и стала собираться внизу в лужи, такие же пенистые и теплые.

Еще гуще запахли умытые сирени, аромат их смешался с хвойным, горьковатым запахом бора и потек вязким, слегка перебиваемым пресноватой дождевой пылью ароматом в незакрытые окна домов. В домах спали так же самозабвенно и обстоятельно, как и трудились еще вчера и как будут трудиться завтра и всю жизнь, и редкий житель Крисанова-Пятницы, очнувшись и вздохнув облегченно, слушал то удаляющиеся, то приближающиеся раскаты грома и шум дождя, и крик какой-то ошеломленной птицы в полях, где под черной почвой до нынешней ночи терпеливо и недвижимо лежали, а теперь, видно, тоже встрепенулись зерна.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Дождь лил не переставая почти неделю. Ночами было холодно. Но в полях сразу зазеленело. Яровые пробили набухшую землю, разломили комки глины и дружно кинулись в рост, озимые подравнялись, и только вымокшие и вымерзшие плешины желтели кое-где, словно полыньи.

На шестой день из-за бора выкатилось лохматое солнце, растолкало тучи, высушило крыши и стежки, нагрело лужи, так что крисаново-пятницкая ребятня, задрав штаны, кинулась мерить их, выплескивая на траву запоздалую ослизлую лягушечью икру, а светило как ни в чем не бывало снова засияло, зацарствовало над немного уставшей от желанного ненастья землей. К полудню обдуло дороги и поля. В очистившемся небе суетились, ловя зазевавшуюся мошкару, стремительно перебирали замлевшими в теплых гнездах крыльями ласточки, видно, уж очень радовались, что теперь снова можно вольно жить, летать и заботиться о потомстве.

Люди тоже приноравливались к солнцу, к его долгой об эту пору дневной страде. Однажды вечером в бригаде состоялось собрание, на нем было решено: если и завтра погода вытерпит, то надо начинать сеять гречиху, сразу двумя агрегатами, чтобы не затягивать работу на долгие дни.

Под гречиху в бригаде была отведена часть Любовцовского поля в пойме Вертуна.

Любовцовским поле называли потому, что, говорят, здешний помещик по фамилии Любовцов, не то из толстовцев, не то из сектантов, не то своей какой-то веры, любил пахать землю. Сам каждую весну вместе с мужиками, подобрав ремешком обильные русые волосы и разгладив, разложив на две стороны деревянным гребнем, привязанным шелковым шнурочком к поясу, бороду, выходил в пойму и вел собственноручную первую борозду.

Вера пришла на поле чуть свет. Трактора уже стояли на обочине с заглушенными моторами. Голубые крылья и дверцы «Беларусей» были густо заляпаны грязью, а на стеклах копилась, зрела роса. Казалось, что трактора поставлены здесь были еще с вечера. Трактористы ждали немного поодаль, курили и о чем-то неторопливо переговаривались:

— Долго спишь, начальница! — окликнул ее Гришка Минаев, носивший, как родимое пятно на лбу, кличку Менек.

— А ты будто проверял, долго или как... — в тон ему ответила Вера, зная уже, что если этот репей прицепился, то скоро не отцепится.

— Или как? — кусая папиросу, поинтересовался Менек.

— Или так, — неопределенно ответила Вера.

— Да я проверил бы. — Парень почесал затылок. — Готов услужить начальству даже в таком, прямо надо сказать, непростом деле. Так что оформляй меня, бригадир, по этой самой части нормировщиком. На полставки.

— Нормировщиком... — передразнила его Вера. — А почему же не на полную ставку?

Гришкино лицо расплылось в улыбке, которую он долго таил, так что скулы, видать, свело.

— Ой, Вера, глаза у тебя, как... я не знаю у кого. Бездна, а не глаза! А на ставку не могу.

— Это почему же? — усмехнулась Вера, окончательно смирившись с болтовней Гришки Минаева.

— Причина простая: ставку — замри мой дух! —

в другом месте отрабатываю. По месту, так сказать, жительства. До-бро-со-вестно!

— А разговариваешь со мною — бес-со-вестно! Вот почему ты так разговариваешь со мною? Кто тебе дал такое право?

— Ой, бригадир, зачем ты так строго? Вот ты сейчас на меня накричишь, а у меня от этого весь день настроение испорченное будет, на выработку повлияет.

— Чем пяснничать и языком болтать, лучше бы трактор свой помыл. Гляди, до самой крыши грязью зашвырялся. И где ты ее, такой, нашел только?

— Нет, Прокопыч, ты слышал, как уязвила? — обиделся Менек и на какое-то время прикусил язык.

Другой тракторист, Иван Прокопович Рогов, по годам уж старик, но еще подбористый и крепкий дядька, докурил папиросу, хлопнул Менька по плечу и молча полез в кабину трактора.

— Прокопыч, погоди-ка, что скажу.

— Ну? — Рогов нагнулся к нему.

— Бригадирка-то наша, Прокопыч, де-ва-ха стала!..

Рогов усмехнулся, сказал:

— Чужую рожь веять — глаза порошить.

— Да ну тебя, все ты со своими мудростями. Да-а. Расцвела, елкина, без мужа, как черемуха. Нет, ты погляди, Прокопыч, погляди, фигурка одна чего стоит! А? Вот бы с кем меньков половить, замри мой дух!

— Ладно, балабон, давай трактор заводи.

— Успеется.

— Заводи, говорят тебе.

— Так рабочих еще нет, Прокопыч.

— А я тебе говорю, заводи. Семена сами засыплем. Вон они, мешки-то. Бери и засыпай.

— Сами, сами... Опять сами. А они там будут меньков ловить. Мы засыпай, а они денежки за это получат.

Рогов ничего на этот раз не ответил, сел в трактор и захлопнул за собою дверцу.

Утро разлилось в пойме вольное и чистое, пахло тополями и березами. Над обрезом поля, там, где не улегся еще с ночи реденький туман, протянула парочка чирков. Вера проводила взглядом их мягкий упругий полет — будто кто забросил в небо два серпика, и вот они вжикали рядышком, крыло к крылу, не отставая друг от дружки и не падая, и не понять было, которая из них уточка, а который — селезень. Подумала: вот у них, у птиц этих, счастье — весна, гнездо свое, теплые яйца, которые, должно быть, вот-вот треснут, а может, уже треснули, и есть утята, пушистые комочки, и просят есть. Как же это, наверное, хорошо, когда рядом малые и беспомощные и просят есть!

Земля разомлела от дождей и припаривала, набухла силой и готовностью к новой жизни, лежала теперь добрая и умиротворенная в испарине утренней росы.

Вскоре на краю поля появились рабочие, маленький мужичонко в заношенной донельзя фуфайке и серой, бывшей когда-то, видимо, черной, а теперь выгоревшей кепке, в кирзовых сапогах с рыжими загнутыми кверху мысами, и женщина, не в пример своему спутнику полная и рослая, с округлыми наливными щеками и добрым насмешливым взглядом, словно она всегда носила в себе какое-то веселое слово, которое, скажи его, — повалит всех со смеху. Лет этак пятнадцать назад, глядя на нее, можно было сказать, да и говорили ведь, еще как говорили, — кровь с молоком! Но те пятнадцать лет прошли, минули, а с ними и молодость, и все то, что она дарит человеку, как жизнь показывает, временно, а стало быть, уходя, отнимает.

Четверушкины подошли к тракторам. «Беларуси» уже работали, подергивали утро сердитыми голосами моторов. Санечка, по привычке ругать мужиков всех подряд, поругала трактористов: посмеялась вместе с ними, потому как ей ответили, и ответили, не уступив, так что она сама покачала головой и на минуту прикусила язык. Она помогла Меньку поднять последний мешок, разрезала вязку и, когда сеялка была уже заправлена, крикнула мужу:

— Мендес! Мендес! Поезжай с Прокопычем!

И мужичонко, послушно шмыгнув носом и поправив сбитую на затылок кепку, мелкими шажками побежал за сеялкой, вскочил на ходу и сразу засуетился над бункерами, заоглядывался деловито назад, словно всю жизнь тем только и занимался, что сеял да любовался ровными грядочками, оставляемыми агрегатом.

Назад было под уклон, и трактора шли легче и быстрее. Но попадались ложбинки, и тогда черные дымы выбрасывались из выхлопных труб и таяли в чистом утреннем воздухе, словно стаи галок вдали. Запахло свежей, обеспокоенной землей. На развороте Менек притормозил, высунулся из кабины, крикнул:

— Бригадир, назначай ко мне сеяльщиком кого-нибудь полегче! А то под Крылаткой колеса полопаются, и обода погнутся, техника из строя выйдет в такой ответственный момент! — и загоготал, выкручивая руль, чтобы заехать в очередную загонку.

— Хорошая техника из строя не выйдет! — тут же, и тоже смеясь, возразила ему Санечка. — Ты, Гришка, с Мендесом моим посоветуйся, если сомнение имеешь. И не стыдно тебе жаловаться? Молодой такой. Да еще перед такой красавицей, как бригадирка наша. Эх, обормот несуразный! Ну Менек и есть Менек.

На третьем кругу сеялки дозаправили семенами и удобрениями. Земля подсохла, начала пылить. Издали казалось, что трактора катят по полевым дорогам, которых не видать с обочины, и сеялок не видать, и только черные дымы напоминали о том, что едут они непраздно, что выполняют тяжелую работу, тяжелее которой сейчас, наверное, и не было нигде.

Когда солнце встало на полдень, в поле приехала машина. Возле мешков с семенами сгрузили термосы: обед привезли. Добили очередные загонки, остановили трактора поодаль, заглушили моторы, и сразу стало слышно, как высоко в небе, так что его даже и не видать, зажуркал жаворонок. Он тоже, видимо, переживал восторг нынешнего дня, такого обычного дня, и об этом хотел рассказать округе; а округе казалось, что он затем и родился на свет, чтобы так вот, счастливо и самозабвенно, исполнить в своей птичьей жизни простенькую песню — исполнить, а там будь что будет, об остальном природа позаботится.

— Во-он он, Александровна, — угадав ее интерес, подсказал Вере подошедший тракторист Рогов и указал куда-то под самый солнечный диск, куда и из-под руки глянуть было больно. — Ишь, старается как! Видно, где-нибудь под кочкой с а м а сидит. Слушает, как он над ней разливается. — Он сказал «сама» тоном человека, прожившего долгую жизнь рядом с женщиной, родившей и вырастившей с ним детей и теперь удовлетворенно смотревшего на то, как все так же размеренно и правильно свершается круг земной. — Поет, ишь, как он поет! Видать, каждое перышко дрожит от радости, каждая жилочка звенит. Эх, как хорошо-то на земле, боже ж ты мой! — вздохнул вдруг Рогов и улыбнулся.

Она ничего не ответила старому трактористу, хотя в

душе была согласна с ним. И когда он ушел, гремя сапогами по сухим комлыгам выпаханной чересчур старательным плугом глины, за что пахарю руки бы отбить, подумала о своем: ну, вот и вправду зима прошла, а там, за другой зимой, уже и кончатся жданки. Она почувствовала какую-то смутную беспричинную радость, и этой скудной своей радостью она не хотела делиться ни с кем, потому что так, наедине с нею, она глубоко и нежно понимала другую радость — радость земли, все-таки дождавшейся ливня.

Обедать сели возле ручья на освободившейся от недавних илистых вод луговине под ракитовым кустом, увешанным клоками принесенного паводком сена, успевшего высохнуть на ветрах, и охапками хвороста.

Не успела Санечка Крылатка расстелить брезент, припасенный трактористами специально для таких случаев и хранимый ими под сиденьем «Беларуси», как Гришка Менек вытащил из кармана комбинезона замызганный коробок спичек и запалил клок сена. От сена загорелся хворост, вспыхнул, затрещал, застрелял в стороны черными крохотными угольками, словно только и ждал такого случая.

— От дурной! Ну что ж ты такой дурной, Гришка! — заругалась Санечка, отмахиваясь сдернутым с плеч платком от желтого хваткого дыма, который, как нарочно, так и ластился к ней, так и лез в глаза и ноздри, и, отбившись кое-как, крикнула: — Черт какой надоедливый! Ну прямо как Менек!

А Гришка Менек, видно, чтобы не оставаться у Санечки в долгу, подмигнул ей хитрым глазом и, толкнув локтем Рогова, сказал:

— Теть Сань, ты в морду ему плюнь, он и отстанет. А то, вон, аж до слез пронял. Знает, гад такой, за кого браться.

— Кому плюнуть, поджигатель? — не поняла его Санечка.

— А дыму. Гляди, гляди, теть Сань, теперь он уже за юбку хватается. Ох, бабник! Ох, проходимец!

Дым тем временем и вправду дернуло сквозняком в сторону зазевавшейся Санечки и густым грязно-желтым скопом поволокло к ее ногам.

— Беги, тетка! — закричал, заикаясь от подкатившего смеха Гришка Менек. — Беги, а то он тебе сейчас даст дрозда. Он, гад такой, знает, где меньков ловить!

Санечка рванулась было в сторону, взяла неверный ориентир, но, разглядев таки впереди обрывистый берег, под которым пенился неотмутившийся, неотбродивший вешней дурью ручей, беспомощно заметалась по берегу.

— Ой, счас умру! — кричал, уже ослабев от хохота, Менек. — Ой, тетка! Ату ее! Ату! Ой, счас жизнь моя на нет сойдет!

После обеда мужики закурили и ушли к тракторам, а Вера и Санечка остались убирать посуду.

Санечка от горячего раскраснелась, как августовская рябина, смотрела на Веру смеющимися глазами, хотела что-то сказать, но, похоже, не решалась пока. Но все же не выдержала и погодя немного, застегивая на обширной груди блестящие пуговицы новой фуфайки, сказала:

— Вот поросята, мужики наши, поели, попили и пошли — готовое дело. А мы убирай.

— Да ничего, Александра Филипповна, уберем. Им сегодня тяжелее нашего, — ответила Вера, чувствуя, что это лишь вступление к тому разговору, на который та настроилась.

— Да я что? Конечно, и уберем. Мужиков, их что, тоже жалеть надо. Кто ж тогда их, окаянных, пожалеет, кроме нас, баб? На то мы, грешные, и созданы, чтобы мужиков своих жалеть. — Санечка толкнула Веру в бок и засмеялась, отчего ее румяное лицо, обрамленное серым невзрачным платком, зацвело еще гуще.

Вера вздохнула, и мимо Санечкиных глаз ее вздох не прошел. Та спросила:

— Скучаешь?

— Скучаю, Александра Филипповна, — призналась Вера. — Как же не скучать?

— Ой, девка, и не говори. Знаю, каково-то без мужика. О-охо-хонюшки-и, и перина как дерево, и подушки как камни, и одеяло заиндевело. — Она взяла эмалированную чашку и нагнулась с нею к ручью. — Вот говорят, мол, весна и каких-то там витаминов в организме не хватает, народ квелый становится, к жизни равнодушный. А мой Мендес, так он, наоборот, к весне оживает. Как корень в земле. Правда. Будто всю зиму врозь спали. — Санечка захохотала и едва не упустила в ручей чашку. И опять рассмеялась, рдея лицом, и глянуть на нее сейчас, так нет человека беззаботнее и счастливее ее.

Вера тоже рассмеялась, невозможно было не рассмеяться. Бросила в ящик вычищенные песком и ополоснутые ложки и погодя, когда та окончательно успокоилась, сказала:

— Да, Александра Филипповна, вы правы. Одной трудно. Плохо одной. Все думки в голове какие-то...

— Какие же? — улучив момент, выхватила вопрос Санечка.

— Да такие... Разные... Да не те, о чем надо бы думать. Гоню их, а они опять лезут. Так что и на душе черно от них. Измучили.

— Не-ет, девка. — Санечка хитро прижмурила глаз. — Это тебе, милая, сердце покоя не дает. Вот говорят, и недаром говорят, что сердце, мол, душу бережет и душу же мутит.

Вера едва осилила последние слова, в горле от обиды стало твердеть и щекотать, и потому Санечкиного голоса она не расслышала, а подумала, в который уж раз, злясь на мужа: привез и бросил... Но тут же устыдилась своих мыслей: а ему-то тоже небось не сладко, не на отдых ведь уехал, не на курорт — в армию. Там и командиры строгие, похуже нашего директора. Похуже, точно, сам ведь написал, что строгие. Вот повезло «Рассвету»! И зачем только его держат? На глазах хозяйство губит. Народ мучает. Говорили, что не удержаться теперь директору, что этой проверки, которая недавно была, он не переживет. Только комиссия уехала, а Пауков все директорствует. Ой, невозможно с таким человеком рядом работать. Дождусь Николая, расскажу ему все, да он и сам скоро поймет, не слепой, что за человек директор наш, и уедем куда-нибудь. Область большая. Полей много. Везде работать можно.

— А ты, девка, не горюй, — спугнула ее сумбурные мысли Санечка Крылатка. — Это дело такое: ежели уж очень-таки невтерпеж, то и ничего, можно... Бог простит. Разок-другой, говорю, можно. Чтоб с сердца шкварки снять. Мужиков молодых у нас в Пятнице много. И холостые, и женатые. Лучше, конечно, женатого, языком хлопотать меньше будут. А то бывает: ты ему — ох, а он, дружкам-то своим, — ох, что бы-ло-о!.. Возле тебя, я так иногда гляжу своим бабьим глазом, Мишка Хуланенок так и вьется, так и вьется. Как вьюн возле камня. А на Менька, на черта этого оголтелого, не смотри — болтун. Он и работает-то абы как. А Мишка подойдет, так ты с ним поласковее... Поняла? Дальше он сам сдогадается, что делать. Э, учить тебя...

— Да о чем вы говорите, Александра Филипповна! — Вера покраснела, но и только, потому что возражать Санечке ей вдруг расхотелось. Она подумала, что какая-то маленькая и, может быть, нехорошая, но все же правда есть в словах этой пожившей, многое повидавшей на своем веку женщины.

— А мужик твой придет и знать ничего не узнает. Только, девонька, тут так: телом люби, а сердцу волю не давай.

— Да ведь нехорошо так, Александра Филипповна.

— А, — махнула рукой Санечка, — кто ее знает, где нехорошо, а где еще хуже. Хуланенок-то свою Танеху не любит. Не знаю, что у них там... Вот и сойдетесь два сапога пара: ты солдатка, он тоже мыкается...

— Слышала я, бьет он ее, Таню? — спросила Вера; ей не хотелось продолжать начатый Санечкой Крылаткой разговор, но и оборвать его она не решалась, хотя именно так, подсказывало ей сердце, и следовало бы поступить, а увести в сторону не получалось — Санечка спохватывалась и тут же возвращала разговор назад.

— Бьет. Бьет, окаянный. Лупцует.

— Кого люблю, того и бью, — усмехнулась Вера и сама себе удивилась: к чему это я? И тут же поправилась: — Может, у них именно так?

— Люблю, как клопа в углу: где увижу, там и задавлю. Знаю я ихнюю любовь. Вся деревня знает.

— За что же он ее так?

— А за вредность. Откуда вред, оттуда и нелюбовь. Танеха-то ой вредна-а! Ой вредна! Я таких противных баб сроду не видывала. Вот он ее и выпрямляет, перевоспитывает, тела прибавляет. Она его тоже, говорят, за кычи-то потаскивает иногда. Пьяного. Раз такой синяк подсадила, что Хуланенок с неделю носил свою медалю под левым, нет, под правым, ага, точно, под правым глазом. Так что промеж них там необъявленная война.

— Зачем же так? Лучше бы уж развелись, чем друг друга мучить.

— Ишь ты какая легкая — развелись... Детки у них повелись. Галька да Витька. Есть просят. Им папка и мамка нужны. Отец нужен им, а не чужой дядя. — Санечка Крылатка вздохнула. — Вот и живут, терпят. Хватит уж нашему народу безотцовщины. А где стерпится, там, глядишь, и слюбится. Я вот без отца росла. Отец наш, Филипп Матвеевич, головушку свою под Смо-

ленском сложил. В самом начале войны и погиб. Я, знаешь, каждый год к нему на могилку ездила, а летось вот что-то так заторопилась с делами своими домашними и не поехала. Теперь отец ночами снится. Надо как-то съездить, могилку хоть обрядить. Поплакать хоть. Там, правда, пионеры ходят, от сорняков курган пропалывают, цветочки сажают, оградку красят. А съездить все одно надо, поплакать. А то снится — зовет. Дочерняя-то слеза... — У Санечки закривился, задрожал подбородок, она отвернулась. — О-охо-хонюшки-и!.. Мать нас шестерых выхаживала. Младшая сестренка так под Рославлем во время бомбежки от разрыва сердца и померла. Варя. Три годочка ей только и было. Ой, девонька, лихо без отца было! Обидит кто, так и заступиться некому. Двор неухоженный, тын валится. И вспомнить больно — сердце стонет. А тут при живом отце...

Их позвали вскоре, так и не дали поговорить вволю. Уже на ходу Санечка Крылатка, позабыв вытереть сохнущую на щеке слезу, улыбнулась опять и, видать, перешагивая через какую-то ею самой определенную черту, призналась Вере:

— А с Мендесом-то я, может, слыхала, недавно живу. Всего-то, если разобраться, ничего и живу. Был у меня мужик. Помер. Пьяница горькуший был. Ой, что он, окаянная сила, вытворял! Может, через него, пакостника, я и опустела. Он и в тюряхе сидел. Подрался раз в поезде пьяный, его и посадили. Он все пьяный ко мне лез, а я чуть что — на аборт. Так-то раз сделала, а неудачно, что-то там такое мне стратили доктора. С той поры я уж больше и не почипала. А с Мендесом я только и узнала бабье счастье. Петька-то побьет так, бывало, серед ночи. Лежу после этого всего унижения и надругательства и думаю: да за что же, окаянная твоя душа?

Вера смотрела на эту женщину, впустившую ее в свою тайну, по-бабьи простую и человеческую, как тысячи, миллионы других тайн, чем-то похожих и в то же время каждый раз единственных в своем роде, и думала о том, что вот она, Санечка Крылатка, тоже похожа на землю, которая дождалась ливня. Да, она-то как раз, может, больше всех и похожа.

Во второй половине дня на Любовцовское поле приехали еще два трактора с сеялками, и к вечеру работа полностью была закончена.

Вера вначале помогала заправлять бункера, поднимала мешки с кем-нибудь из сеяльщиков, резала вязки, насыпала ведром удобрения, а потом и сама встала на шаткий трап сеялки. И все думала о разговоре с Санечкой Крылаткой. Неужто все же есть правда в ее словах? А может, именно в них и есть вся правда, сокрушалась она? Жизненная, житейская, бабья наконец? Ведь рассуждать и осуждать легко. А попробуй сама вот так... Но тогда как же долг? Нет, нельзя идти на поводу у собственной слабости. Так до чего угодно дойти можно.

Домой пришла, когда уже совсем завечерело. Только и хватило сил на то, чтобы умыться да разобрать постель. А уж как ложилась, и не помнила.

Утром проснулась оттого, что солнце било в незашторенное окно, слепило глаза, даже сквозь веки слепило, так что было не разлепить ресниц. Испугалась, что проспала, включила приемник, но, дождавшись информации о времени, успокоилась: еще даже можно было полежать немного. Она потянулась, разлепила ресницы — солнце уже миновало окно, поднялось выше, окрасило откосы и раму, розовыми разводами лежало на полу и на стене. Там, на стене, облюбованной солнцем, в рамочке, оплетенной макраме, висела их с Николаем свадебная фотография.

Всплыл в памяти вчерашний разговор с Санечкой Крылаткой. Теперь все, что говорила и о чем советовала ей эта прожившая сумбурную и не очень счастливую жизнь женщина, казалось Вере вульгарным, пошлым. Но боже мой, ужаснулась она, с какой жадностью я слушала ее!

— О-о, гадко... Га-дко...

В какое-то мгновение ей даже хотелось встать с постели, сорвать, скомкать простыню и застелить постель свежей; ей казалось, что тонкая бельевая материя, перенявшая ее тепло и запах ее тела, пахнет грехом и на ней есть следы совершенного ею греха. Она снова взглянула на фотографию, где они с Николаем так счастливо улыбались, и, чувствуя в груди упругий холодок отчаяния и то, как властно он овладевал ею, подпирал под горло, мешая дышать, подумала: а может, так оно и надо, может, так оно и должно случиться, и права Санечка, любить-то ой как хочется.

— Коленька, милый, как мне хочется любить! — Она вскрикнула и уткнулась в подушку. — Служи поскорее, а? Поскорее служи. Я не знаю, что со мною происходит.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Лето наступило шальное, жаркое и душное, как двадцатый год в жизни человека.

Вера заметила, что кое-какие одежды, которые раньше были впору, стали ей тесны, а то и вовсе ползли по швам, потрескивали, когда она надевала их или делала резкое движение. Тело нарастает, подумала она весело, вспоминая простенький, первый в своей взрослеющей жизни лифчик: «Что, Верка, тело нарастает?» — «Нарастает, баб Лип», — краснея, ответила тогда Вера и попросила помочь застегнуть крючки. И бабка Липа, отерев о передник руки, сказала: «Давай уж свою амуницию, помогу. Ишь, какие нынче шить стали. Только для баловства. Сколько ж он такой стоит?» — «Много, баб Лип». — «Знаю, что много. Ишь... Мы таких не носиля. Светится все, как на показ. Мы долго никаких не носили. Так сколько ж он рублев-то?..»

А нынче груди округлились, даже походка изменилась, осторожнее как будто ступать стала. Ой, совсем я обабилась, спохватилась Вера, останавливаясь в прихожей перед зеркалом, вскидывая голову и внимательно оглядывая себя. Что это? Она осторожно проводила ладонями по бедрам и замирала, прислушиваясь к себе. Но что она могла услышать? То, что она, вся, от кончиков волос до кончиков ногтей готова к материнству? Да, к материнству! От такой мысли внутри у нее все вздрогнуло и затрепетало, собравшись в груди, под самым горлом. Это, думала она, должно быть, душа моя так волнуется. К материнству... Боже мой! Но разве так, в одиночестве, спохватилась она, готовятся к материнству?

Дня через два после отсевок на Любовцовском поле, покончив с текущими бумажными делами в конторе, Вера зашла в библиотеку.

Ира скучала у окна. Увидела ее, улыбнулась, бросила на подоконник раскрытый журнал, встала, потянулась.

— Что читаешь? — спросила Вера.

— Да так, просматриваю разную ерунду, которую нынче печатают с таким невообразимым шумом. Точь-в-точь наша жизнь здесь, в этой постылой Пятнице. Вот уж поистине семь пятниц на неделе. И податься, сбежать отсюда некуда. Все так далеко. — Ира поиграла бровями, вздохнула. — Верунь, скажи, отчего мне так скучно, так тоскливо в этой деревне?

— Помнишь, у Рубцова: «В этой деревне огни не погашены. Ты мне тоску не пророчь!»

— Помню. Да ведь все равно — тоска. А? Вер? Отчего бы это?

— Не знаю. Работа, видимо, скучная.

— Нет, работа ничего. Хотя зарплата такая, что заскучаешь, это точно. Но дело не в зарплате. А?

Вера пожала плечами, подумала: что это с ней? Ира ждала от нее ответа.

— Но ты же на танцы ходишь, чего тебе скучать?

— О, убила! Танцы! С кем там танцевать, Верочка? С Ванькой Прохоровым? От него самогоном, как коровником, несет, не выветривается. С Витькой Домашниковым? Он мне здесь, в библиотеке, надоел. Вот сегодня что-то задерживается. Хоть бы не пришел. А то каждый день — как на дежурство. Или с Мишкой Хуланенковым? Он тоже на танцы ходит.

Вера невольно насторожилась.

— Женатый, а ходит, — продолжала Ира.

— А что? И потанцевала бы. Если приглашают. Приглашают ведь?

— Ой, да приглашают. Все они приглашают. Кто выпить, кто еще куда. Как видишь, предложений много. Только, сама понимаешь, я с такими кавалерами не танцовщица.

— Не понимаю.

— Да? Ну так вот: нет соответствия. Нужного, так сказать, тона. А если, старушка, этого нет, то... — Ира щелкнула языком. — То гармонии не будет. Ни там, ни здесь. Почему мир такой сумасшедший? А? Ты ни разу не задумывалась? Все очень просто: нет соответствия. Гармонии нет. Не тех мы любим, не те нас любят.

Вера удивленно посмотрела на нее.

— Чего уж там, давай признаемся, что всеми нами правит расчет. Или случай. Двоих, его и ее, сближает его величество случай. Удачный случай, ни больше ни меньше.

— Бывает, и меньше — неудачный. Неудачный случай, — возразила Вера.

— Да, или неудачный. Этот — расчет. Потом, когда все произойдет, все становятся равны.

— У тебя большой опыт? — усмехнулась Вера.

Ира тоже усмехнулась в ответ, взяла с полки первую попавшуюся книгу, полистала ее и поставила назад, взглянула на Веру. В ее взгляде было: знаешь, я не хочу ссориться, настроение, видишь, и без того паршивое. Сказала:

— Детективчик бы какой-нибудь прочитать. Только ведь ничего подходящего не найдешь. Сейчас все детективные сюжеты либо вокруг денег, либо вокруг другой какой корысти крутятся, либо — политика. А хотелось бы, чтобы — и про любовь.

— С любовью... Ерунда все это. Дурь.

— А что не ерунда? Ну? Скажи мне, темной, непросвещенной, что сейчас не ерунда?

Вера пожала плечами. Она действительно не знала, что ответить Ире.

— А я скажу тебе, что не ерунда. Не ерунда то, как мы сегодня, вот сейчас, живем с тобой, — взорвалась вдруг Ира. — Что это вообще за жизнь? Ну, скажи мне, что-э-то-за-жи-изнь? У тебя вот, например, что за жизнь. Ждешь, ждешь, сохнешь. Я тоже вот неприкаянная. Эх, Верка, гульнуть бы во всю ивановскую!

— Тебе можно. Раз запялось так, гульни. Что тебе? Незамужняя. Красивая. Умная. Хотя для этого ума много не надо. Что еще? Комната есть отдельная. Очень удобно. Так что для тебя вообще проблем нет.

— А для тебя есть?

— Одной страшно, ищешь соучастников? Я не гожусь. К тому же есть проблема. Очень серьезная — я люблю Николая Донцова, своего мужа.

— Ой, как ты серьезно все воспринимаешь! Ну нельзя же так жить.

— Можно. Почему же нельзя? Я ведь живу.

— Живешь... Знаю я твою жизнь. Сама в подушку реву. Только, Верочка, мои слезы в отличие от твоих быстро сохнут. В жизни все случайно, и счастье случайно, и несчастье тоже случайно, и любовь. А мы женщины одинокие, достаточно слабые, и случай над нами — царь.

— Ты мне приведи еще многочисленные примеры из художественной литературы.

слушается Победная? Ну-ка, давай посмотрим. Одна голова хорошо, а две все-таки лучше. — Тяжело ступая, они побрели к участкам.

6

Тугой узел проблем, который пытался развязать Максим Крищук, создавался из маленьких, иногда почти незаметных ниточек, сплетался годами, десятилетиями. Яркими, нервущимися паутинами вошли в него и зеленые придеснянские тропы, и узкие, запыленные летом сельские улочки со стойким бузиново-сиреневым запахом, и следы падающих звезд в теплые августовские ночи.

Были в том клубке и печальные нити. Черной лентой трепещет на острие далеких Максимовых воспоминаний событие, которое, казалось, навечно зарубцевалось в памяти.

В двух километрах от их села пролегала железная дорога. Жизнь небольшого полустанка с одним-единственным тупичком под старыми осокорями интересовала сельскую ребятню, видевшую в «железке» выход в неизведанный, таинственный мир. Летом, бывало, услышав гудок, пастушки приникали к рельсам и с замиранием сердца слушали глуховатый гул стали, перераставший в грозное, страшное громыхание. Замедляя ход, паровоз пыхтел, фыркал чуть ли не за несколько метров от мальчишек, и черномазый машинист, выглянув из окошечка, бранил озорников, грозил им кулаком.

А им было интересно. Особенно когда шли военные эшелоны с пушками, до отказа набитые народом или лошадьми, снаряжением...

В мире свирепствовала война, однако она была где-то далеко, а здесь, в придеснянском крае, хмельно пахло чебрецовым привольем, дымками ночных пастушьих костров, нагретым за день жнивьем, а то ужасное, страшное если и напоминало о себе, так только заунывным, скорбным поскрипыванием стареньких вагонов, хриплыми голосами трехрядок и хромок, да еще печалью перебинтованных солдат, которые почему-то всегда толпились на полустанке за кипятком.

Но однажды...

Это произошло осенью, едва отсверкало теплое бабье лето. Под вечер Максимка с ребятами «провел» эшелон, в котором среди других было несколько вагонов с ранеными, и спокойно стал играть «в ножа», как вдруг вспыхнула перестрелка.

Стреляли там, где должен был остановиться только что проследовавший мимо эшелон. Воронье, постоянно копошившееся на верхушках осокорей, вдруг взметнулось, закричало над домами, людским гулом, частыми винтовочными выстрелами.

Мальчишки насторожились: такого еще не бывало. Что бы это могло значить?

Стояли, с удивлением и страхом глядя на пожелтевшую громаду деревьев, за которыми прятался полустанок, вслушивались во что-то непонятное, непостижимое, во что вдруг превратилась привычная для них тишина.

— Айда посмотрим! — крикнул Максим.

Но не успели ребята и шагу ступить, как из-под осокорей в поле высыпали люди.

— Раненые...

Перебинтованные, кое-как одетые, красноармейцы растекались по равнине, прятались за кусты и копны, в лощины, а меж ними гарцевали с десяток конников. Всадники настигали пеших, хищно сверкали сабли, и пешие мягко оседали на землю, на потравленную стадом отаву...

— Ох ты-ы!..

Низенький, в длиннополой шинели солдат отделился от толпы и, прихрамывая, пригибаясь, прячась между коров, бежал прямо на ребят. Левая рука его была перевязана, а за спиной болтался полупустой ранец.

— Дядя, сюда! — крикнул кто-то из пастухов.

Запыхавшийся, с перекошенным от страха лицом человек чуть не упал перед ними.

— Бандиты...

— Уходите под мостик. Мы скажем — не видели...

Лощиной, спотыкаясь, раненый побежал к мосту, а ребята суетливо начали сгонять туда коров.

Нападение длилось недолго. Бандиты исчезли так же быстро, как и появились. На равнине осталось десятка полтора неподвижных тел. Издали, в наступившей тишине, они казались уснувшими жнецами или косарями, только белое, кое-где окровавленное сплетение бинтов свидетельствовало об их истинной участи.

— Сынки, — дрожащим голосом обратился к ребятам красноармеец, — мне бы где-нибудь переждать...

— Пойдемте к нам, — не раздумывая, сказал Максим. — Переночуете. Вы с фронта, дядя?

ралась этого не замечать. Зачем, теперь бранила она себя, зачем я позволяю ей красоваться передо мной своей свободой? И потом, свободой от чего? От ожидания? От верности? От постоянства? Почему у меня никогда не хватает смелости так и сказать ей прямо в глаза? Ведь все бы именно так и было. И было так — Ира сама признавалась, похвалялась. Делилась тонкими наблюдениями и глубокими познаниями мужской психологии и физиологии. Но почему, жгла себя Вера, я такая беспринципная? Зачем? Может, потому, что научилась воспринимать собственную пошлость как бы извне: противно, но, впрочем, уюта моего это совсем не нарушает. Боже мой! Но какой при этом может быть уют!

В конторе было тихо, пахло старыми сосновыми стенами, старыми залежалыми бумагами из старых шкафов, вынесенных в коридор из кабинетов, и краской от стендов недавно оформленной наглядной агитации. Вера остановилась возле щита с показателями работы бригад. В это время открылась дверь и из приемной вышел Иван Николаевич Пауков.

— А, Донцова! Здравствуй. Ко мне? Заходи. У меня, — он посмотрел на часы, — есть еще несколько минут.

Вера всегда испытывала какой-то внутренний неуют, когда разговаривала с директором наедине.

— Несколько минут? Несколько минут мне не хватит. Разговор-то, я считаю, серьезный, — сказала она, проходя вперед; Пауков пропустил ее, и она почувствовала, как он смотрит на нее. Она не выдержала, обернулась украдкой: он смотрел.

В кабинете директора стояла дорогая мягкая мебель с зеленой велюровой обивкой, полированные столы, громоздкий квадратный сейф в углу, рядом с сейфом развернутое знамя. На столах были разложены какие-то схемы, похоже, строительная документация.

— Ну, так какое у тебя ко мне дело, Донцова? — Иван Николаевич погладил ладони, одну, потом другую, сдунул с полировки пылинку, проследил ее медленный невесомый полет и то, как исчезла она в тени, взглянул на Веру и усмехнулся.

Вера не видела, она почувствовала его усмешку, и, вынув из кармана блокнот, полистала его, вырвала нужный листок, исписанный столбцами цифр, положила его на стол.

— Вот, посмотрите, — сказала она и пододвинула листок к Паукову.

— Что это? — насторожился директор. — Уж не заявление ли?

— Заявление? Какое заявление?

— Ну... Мало ли...

— Нет, Иван Николаевич, не заявление. — Теперь усмехнулась Вера; она знала, что Пауков может вспыхнуть, истолковать ее усмешку по-своему, и все же не удержалась от соблазна. — Впрочем, можете понимать это и как заявление. Здесь то, о чем я вам однажды уже докладывала. И даже больше: некоторые, самые важные, на мой взгляд, показатели, расчеты, предположительные результаты, затраты и прочее, словом, доказательства явной выгоды того, если личные огороды наших рабочих, трактористов, животноводов, пенсионеров и других мы будем обрабатывать с применением совхозной техники, на совхозном горючем, за что они, естественно, будут платить, и в самые выгодные для населения сроки. Иными словами, Иван Николаевич, я предлагаю начать работать так, чтобы люди как можно реже думали о том, что вот это моя земля, а вот это — совхозная. Чтобы механизатор не злился, когда нужно пахать свою землю, а мы приказами и угрозами заставляем его работать на совхозных полях. Земля личных приусадебных участков — тоже земля. И тоже государственная. То есть наша же!

— За что ты меня агитируешь, Донцова? За возврат к частнособственническим тенденциям? Ты у меня гляди...

— Но некоторые из наших соседей так уже работают, и результаты у них выше наших.

— Ты, Донцова, не у соседей работаешь, а у меня.

— Не у вас, Иван Николаевич, а в совхозе.

— Ну, если тебе хочется так думать, то думай так. Это твое дело. Но! — И вдруг спросил, прищурив глаза: — Ты что, огород, что ли, завела? Если завела, то так и скажи. Распашем, разделаем, навозу завезем, и все такое...

— Нет, я обхожусь пока тремя грядками под окном.

— Ну тогда я не понимаю тебя.

— А вы выслушайте до конца. Если мы введем такой метод, если станем помогать людям в обработке приусадебных участков, то мы добьемся много. Мы сэкономим время, очень важные дни в период посевной и уборки.

Те самые, Иван Николаевич, которые год кормят. А также силы, горючее. Сбережем технику.

— Каким же образом?

— Это не главное. Но я вам поясню. Ночами все равно они сожгут эту солярку на своих огородах. Может, даже еще побольше, чем предусмотрено нормой. И все затраты лягут на себестоимость нашей продукции, совхозной. А там бы они за горючее уплатили. А как они работают в поле, когда знают, что дома огороды непаханы? Нервные, злые. Как будто у них что отняли.

— Воспитывать их надо.

— А может, что-то все же поменять в нашей системе?

— А я говорю, воспитывать надо людей! И вас тоже! Раздемократились? Уже не можем с трактористами справиться? Двоих-троих поймаю на огородах, по окладу нагрею, вот тогда они поймут скорее, где, на какой земле надо больше пота проливать.

— Не поймут, Иван Николаевич!

— Ну да, конечно, не поймут, раз даже вы, специалисты, меня не понимаете.

— Если по большому счету, то порядок здесь возможен лишь в том случае, если вся земля, я имею в виду совхозную землю, будет роздана подрядным звеньям, то есть бригадам. Ведь на последнем партийном съезде именно об этом и говорилось. Когда крестьянин на деле поймет, что и та земля, что под окном, и та, которая в поле, — кормилицы, он станет одинаково к ним относиться. Пока же его по-настоящему кормит земля личного приусадебного участка.

— Это, Донцова, ты в газетах вычитала. В жизни-то все иначе.

— Подождите, я не закончила. Так вот, кормит его та земля, которая под окном. А на совхозной для крестьянина: что-то растет, что-то убираем, что-то сдаем, какие-то планы, обязательства выполняем, что-то оставляем на семена, еще зачем-то, вроде бы для фуража, что-то потом покупаем в соседних хозяйствах, у государства. А вот здесь, Иван Николаевич, основные расчеты. Взгляните.

— Подожди со своими расчетами. Ты что, агитируешь меня за бригадный метод в растениеводстве? Да это, милая моя, вчерашний день! Мы и животноводов первые в районе перевели на прогрессивную форму организации и стимулирования труда! Вот что, Донцова, занимайся-ка своим делом.

— Кстати, о бригадах в животноводстве. Я разговаривала с доярками и телятницами. Они недовольны тем, как организован сейчас их труд. Оплата тоже их не устраивает. Перевели их, вы говорите, на прогрессивный метод, а показатели и заработки у них остались прежними, а кое у кого и меньше. Где же здесь прогресс? Надо было как-то все продумать, организовать. Они ведь и сами еще толком не знают, что такое бригада. Не понимают, что перед ними открываются новые возможности. Ведь как они отнеслись к организации бригад? Как к новому почину, каких в год по три-четыре придумывают. Но бригады все должны изменить: и отношение людей к работе, и показатели, разумеется, и вообще весь климат в совхозе. Ну посмотрите, как угрюмо, безрадостно мы живем. Да понимаете ли вы хоть это? Впрочем, понимаете. Только по-своему. Я знаю, чего вы боитесь.

— Чего же я боюсь, Донцова? — усмехнулся Пауков и тщательно протер носовым платком раскрасневшуюся лысину. — Ну, что замолчала? Режь напрямую. Тебе такая манера очень нравится.

— Да, нравится! И резану! Вы, Иван Николаевич, боитесь, что власти у вас убавится. В бригадах-то вам тогда уже нечего делать будет. Вот чего вы боитесь, товарищ Пауков! Людей вы боитесь! И еще боитесь того, что если идеей бригады заболеют механизаторы, то они сделают все как следует. А на них ведь и животноводы станут оглядываться, и придется все поправлять там. Вам же легче сейчас крикнуть петушком со своей удобной жердочки: все, мол, товарищи, бригада у нас есть, действует. А ее на самом-то деле нет. Вы ее погубили в самом начале. Когда же обстановка изменится, а вы очень этого хотите, то вы тем же петушком, на той же ноте в сторону райкома пропоете: не пошли бригады, вот видите, и у нас ничего не получилось; все, конечно же, было очередной ошибкой! Вот чего вы хотите! Вот что вы под полой носите! А пока в животноводстве ничего не получается, а совхозная земля тоже обрабатывается кое-как. Потому что механизаторы работают кое-как, лишь бы норму дать да побыстрее закончить, ведь дома огороды непаханы.

— У тебя, Донцова, извращенное понимание ситуации, и вообще всех наших проблем и забот.

— Нет, Иван Николаевич, — поспешила возразить

Вера, — у меня слишком правильное понимание ситуации, наших проблем и забот.

— Ну, это одно и то же.

— Что? Что вы сказали?

— А то! То! — вновь заревел, поднявшись над столом, Пауков. — Ты хочешь, чтобы я пошел у них на поводу? А черта с два им!

Каждую весну в деревнях, входящих в состав совхоза, начиналась настоящая война: директор и специалисты гнали народ в поля, но огородная страда, пусть и не в той мере, что полевая, но тоже требовала времени и усилий, и люди под разными предлогами старались урвать часок-другой, чтобы хотя бы коня завести в борозду, распахать свои горемычные тридцать соток и посадить картошку. А ведь еще нужно и навоз вывезти, и семена подготовить, то да се. Одним старикам все это было не под силу, да и не в каждом доме были старики. У рабочих же в весенние дни, понятное дело, выходных не было. Вот и начали потихоньку ненавидеть ту, веками выверенную истину, что весенний день год кормит. И, плюнув на все, уезжали с поля самые надежные трактористы, на час-другой бросали работу и гнали трактора на свои огороды, и попробуй тогда стань им поперек дороги. На доске объявлений в такую пору появлялись все новые и новые листки с приказами: такого-то лишить премии за использование совхозного транспорта в личных целях, такого-то оштрафовать на столько-то рублей, удержать сумму из зарплаты за срыв доставки семян к сеялкам, того-то лишить прав управления трактором сроком на год и перевести на этот срок в животноводство...

Ну, раз так пошло, раз круто так, решила Вера, то теперь нужно бить до конца.

— Вам, Иван Николаевич, давно пора уже понять, что все ваши меры, все санкции, штрафы только озлобляют людей. Приказы, наказания, даже самые строгие, — не средство для повышения производительности труда, дисциплины, качества работ.

— Не средство, говоришь? Так ведь действует! И еще как действует! Мне, как директору, дано право наказывать, и я буду пользоваться своим правом. А то им личное дороже общественного. — Пауков немного успокоился. Или решил переменить тактику. — Народец здешний, скажу я тебе... Воспитывать их надо, сук-киных котов! Кстати, Донцова, это наша общая задача.

Уж помолчал бы о личном и общественном, подумала Вера, немного сбитая с толку неожиданно спокойным тоном Паукова, и сказала:

— Иван Николаевич, из личных хозяйств наши рабочие сдают каждую осень четыреста-пятьсот тонн картофеля государству. Причем лучшего картофеля. Его в отличие от того, который поступает из совхоза, сразу затаривают в ящики и отправляют на север. А ведь совхоз наш, если взять ту же валовку, продает всего лишь в два-три раза больше. И это, согласитесь, не бог весть какая великая цифра. Если еще учесть количество вносимых удобрений, за которые мы платим немалые деньги, химикаты, разбрасываемые с самолета, за что мы тоже будь здоров как платим, технику, технологию и те усилия, которые...

— Ну, Донцова, все, мое терпение лопнуло. — Пауков прихлопнул волосатой ладонью листок с ее расчетами и начал шумно вставать из-за стола, давая Вере понять, что разговор их окончен. — Я думал, ты действительно с делом пришла.

— Да вы, я вижу, даже выслушать меня не хотите. Так вот, себестоимость нашего совхозного центнера картошки настолько высока, что картошка из личных хозяйств государству обходится дешевле. Она выгоднее государству, чем наша, совхозная картошка!

— Хватит, говорю, прожектов, в которых я не нуждаюсь.

— Да ведь я не о вас пекусь, Иван Николаевич. Вам, возможно, неплохо живется и при нынешнем положении дел.

— Я вот долго тебя слушаю, терпеливо.

— Да уж куда как терпеливо, — уязвила Вера.

— Терпеливо, — махнул Пауков рукой. — Другой бы давно выводы сделал. И в переносном, и в буквальном смысле.

— Кстати о новых проектах. В них нуждаются поля, фермы, люди, организация их труда. Да и весь совхоз, все хозяйство нуждается в новом проекте. Проекте реконструкции!

— Тьфу, газет начиталась!.. Ты, Донцова, знаешь кто? Ты наивная душа. Тебе в газетах новую, счастливую жизнь нарисовали, а ты в нее и поверила с первого взгляда. Подожди, поживи еще хотя бы пару годочков и

поймешь наивными своими мозгами, что ничего, ты слышишь, ничего в нашей жизни уже не изменишь.

— Нет, Иван Николаевич, не рассчитывайте, что я после всего, что вы мне сейчас сказали, оскорблюсь и убегу. Наберитесь терпения выслушать меня до конца. К вам человек пришел, специалист, мнением которых вы так дорожите, — так вы, кажется, выразились однажды на открытом партийном собрании. И пришла я не по личному делу, а по общественному. По государственному делу пришла я к вам, Иван Николаевич! И не домой, а в рабочий кабинет. Газеты же я действительно читаю и в то, что в них пишут, искренне верю. А в газетах сейчас многое пишут, о чем мы раньше только догадывались.

— Донцова, я ведь и выставить тебя могу отсюда вместе с твоим общественным делом и рассуждениями на газетные темы.

— Интересно, как это будет выглядеть. Уж не силой ли вы меня — отсюда. А, Иван Николаевич?

Пауков ничего не ответил. Шея его побагровела, глаза остановились, замерли, сузились. Вера почувствовала их напряженный холод, подумала: ну и пружину завела. И ей стало страшно оттого, что, вот сейчас, подумала, встанет, подойдет, возьмет за воротник и выведет в приемную, как нашкодившую школьницу, и захлопнет за собой дверь. Ведь такой случай уже был, с заведующей Поляковской фермой, когда та пришла напомнить ему об обещании дояркам премиальных за сверхплановое молоко. Ту он еще и обматерил на чем свет стоит. Ну уж нет, решила она, со мной это у него не пройдет. Меня — за воротник — пусть только попробует.

— Что ж, Иван Николаевич, будем считать, что разговора у нас не получилось. Позвольте назад мои расчеты. Я напишу статью в газету, раз уж зашел разговор на газетные темы.

— Пиши куда угодно.

Пауков отвернулся к окну. Вера взяла листок, сунула его обратно в блокнот.

— Тема-то больно злободневная, жалко, если в моем блокноте да в вашем кабинете так и пропадет.

— Донцова, я вот терпеливо слушаю тебя и думаю: что за чертовский характер у тебя! Ну как ты собираешься дальше со мною работать? Или ты об этом не задумывалась? Директор здесь пока я.

— Я в этом не сомневаюсь.

Пауков внимательно посмотрел на нее, усмехнулся. Боже мой, какой он жалкий, подумала Вера. Злой и жалкий. Такой не простит. Такие люди самые страшные.

— До свидания, — сказала Вера и тоже усмехнулась.

Выйдя из конторы, Вера подумала: вот и высказалась, все выложила. А, ладно. А то привык, что все ему с рук сходит. А как опешил, опешил-то как наш директор. И сказать не знает что. Такому безропотно подчиняться нельзя. Такой и людей замордует, и землю изуродует. И прикроется каким-либо надежным лозунгом.

Еще подумала о том, что надо бы об этом разговоре написать Николаю, посоветоваться, что делать, как быть дальше. Николай-то, вспомнила она, как-то умел ладить с директором. Уступал. Говорил: он же директор, руководитель, с этим надо считаться. Уступать-то уступал, а потом мучился, нервничал. А статью я действительно напишу. Что он мне сделает? А станет цепляться по пустякам, так переживу. Буду знать, за что страдаю. — Вера вздохнула, огляделась растерянно, она все еще не могла опомниться от стычки с директором. Да, раз погрозилась, надо писать. Сегодня же и напишу. Как же так, ни в райкоме, ни в райисполкоме не видят, что за человек руководит совхозом. Гнать надо, пока совхоз совсем до ручки не довел. Шесть лет назад поля были теми же, а давали участками до тридцати центнеров пшеницы. Надои были выше. И люди работают те же. Впрочем, вздохнула она, и земля, и люди, похоже, действительно были другими.

Через две недели из редакции районной газеты ей позвонили и сказали, что письмо-статью получили, что прочитали и одобрили, что тема самая нужная, что решили печатать в одном из ближайших номеров почти без сокращений, заголовок оставили, но есть ряд вопросов и моментов, которые требуют уточнения, пояснения и согласования на месте, к тому же статья будет подана с небольшим редакционным комментарием. Для этого на днях к ней заедет их корреспондент.

Сердце у Веры так и запрыгало под самым горлом. Признаться, не надеялась она, что в редакции так отнесутся к тому, что она почти в отчаянии писала и переписывала несколько вечеров подряд, отложив письма и конверты с надписанными уже адресами воинской части. Она даже подумала как-то, уже остыв и успокоившись:

лучше бы ее писанина затерялась где-нибудь в дороге, или бы ее, сочтя вздором, бросили в корзину, или вернули назад. Но дело принимало иной оборот. И теперь она вдруг поняла, что действительно написала нечто серьезное, стоящее, и испугалась вначале. Да и голос редактора показался ей не очень приветливым.

— Скажите, а когда приедет ваш корреспондент? — спросила она.

— Давайте с вами и решим, — ответил редактор. — Что, если завтра?

— Завтра? Так быстро?

— А что откладывать? Интересные материалы у нас не залеживаются. Так, значит, завтра, во второй половине дня. Вас это устроит?

— Да, вполне. После обеда я буду в конторе.

— Прекрасно. — Голос у редактора был негромким, но жестким. — Он будет завтра. Зовут его Игорем Алексеевичем Никишовым. У вас больше нет новостей?

— Новостей? Каких новостей?

— Да что-нибудь на первую полосу в сегодняшнюю газету, — засмеялся редактор. — Информацию на первую полосу, понимаете?

Вера передала какие-то первые попавшиеся под руку сведения, назвала несколько фамилий рабочих и положила трубку.

На следующий день ближе к полудню приехал корреспондент. Поставил у крыльца пахнущий раскаленным металлом и смазкой старенький мотоцикл с помятыми крыльями и поцарапанным баком, повесил на руль шлем и пошел в контору, на ходу сбивая с плеч и рукавов куртки серую пыль. Был он молод, высок ростом.

— Здравствуйте, Игорь Алексеевич, — улыбнулась ему Вера и подала руку.

— Статья выйдет во вторник, — сказал Игорь Алексеевич. — Сегодня четверг. Завтра она должна уйти в набор. Вместе с комментарием. Комментарий, как вы понимаете, поручено писать мне. Кстати, редактор страшно рад, что в редакционном портфеле появилась такая статья. Я читал ее. Написана действительно хорошо: остро, зло, убедительно.

— Были причины разозлиться.

— У вас с Пауковым как?

— Так, неважно.

— Ясно. Но вы не падайте духом, будет еще хуже.

Во всяком случае, какое-то время. Дело в том, что Иван Николаевич, как это ни странно, не на самом плохом счету среди директоров совхозов. К тому же кое-кто из районного начальства ему покровительствует.

— Неужели в районе среди руководителей хозяйств есть еще и почище нашего экземпляра? Вот уж действительно странно. Я думала, что наш — совершенство в своем роде.

Игорь Алексеевич внимательно посмотрел на Веру, и уголки его губ вздрогнули. Она это заметила и, чтобы снять неловкость, поспешила что-то сказать, а что именно, не помнила, и что ответил он, тоже не уловила, так что вышла еще большая неловкость.

— Вера Александровна, — сказал он немного погодя, — времени у меня, к сожалению, не очень много, поэтому давайте вот что сделаем: сейчас пройдемся по всем цифрам, чтобы тут у нас был полнейший порядок и абсолютная точность и непогрешимость. Мне еще нужно успеть встретиться и поговорить с директором, парторгом, со специалистами и рабочими, которые упомянуты в статье. Видите, сколько работы вы мне задали. — И он впервые за все это время, пока они разговаривали, привыкая друг к другу, улыбнулся.

Зазвонил телефон. Вера сняла трубку и услышала голос Иры.

— Привет, Верунчик.

— Привет. Но мне сейчас некогда...

— Погоди, старушка, не торопись щебетать. Передай-ка трубку тому красавцу, который сейчас сидит в твоем кабинете.

— Кому? — невольно переспросила она.

— Игорю. Он ведь у тебя сидит?

— Да.

— Будь любезна, дай ему трубку.

— Сейчас.

Игорь Алексеевич в это время просматривал сводки. Вера протянула ему трубку и сказала:

— Это вас.

— Меня?

— Да, вас, — повторила и вышла из кабинета.

На крыльце было жарко. Даже неокрашенные деревянные перила нагрелись и жгли ладони. Пахло летом. Цвела липа, душила своим густым запахом. Трава на луговине под конторскими окнами поднялась в пояс, выбросила

метелки соцветий, залоснилась, матерея. Вот и лето. Боже мой — лето! Наступила весна, и я думала себе: вот и весна, последняя весна ожидания; теперь наступило лето, я думаю: ну, вот и лето пришло, последнее лето моего ожидания; а придет осень, я снова скажу себе: вот и осень, последняя, такая грустная и тоскливая, потому что та, которая настанет год спустя, уже не будет такой грустной и долгой; будет и последняя зима, наверное, самая холодная и самая долгая из зим. Но все печали мои меркнут перед одной только мыслью о том, что в конце ожидания будет встреча. Всегда в конце ожидания бывает встреча. Интересно, как он придет: напишет заранее, известит телеграммой откуда-нибудь с дороги, или явится — как снег на голову упадет? Коленька, милый мой, снега на голову все равно не получится, потому что я жду тебя всегда, изо дня в день, каждую ночь и каждое утро. Вот уже больше года жду.

Вера вернулась в кабинет.

Игорь Алексеевич ждал ее. Он уже переписал из таблиц все, что его интересовало.

Когда она вошла в кабинет, он пристально посмотрел на нее и сказал:

— Курить можно?

— Да, курите.

Игорь закурил. Запахло табачным дымом, сразу перебившим липовый аромат. Только пчелы гудели за окном, копошились на желтых деревьях, мелькали в разных направлениях стремительными пульками.

— Помните фразу из начала вашей статьи? — спросил он.

— Какую, у хорошего совхоза нет поломанного воза?

— Да. Хоть это и преувеличение, но эту пословицу решили вынести в подзаголовок.

— Делайте так, как считаете нужным. Только вот сердитые места сохраните.

— Редактор сам сказал, чтобы в этих сердитых местах я решительно ничего не трогал. Он просто приказал, чтобы ничего там не смел трогать! Там действительно ничего не надо трогать. Статья получилась. И если влезешь в текст, то только испортишь.

— Я писала о наболевшем. Возможно, что-то и получилось.

— Да, вот еще что... Как бы вам объяснить... После публикации наверняка пойдут круги. Вы понимаете, о чем я. Ну так будьте готовы к этому. И позванивайте нам. Мне, в отдел писем, или прямо редактору. Он у нас человек смелый, честный, мысли ваши разделяет и, если дело обострится, не уступит им ни по одному пункту.

— Кому это — им?

— Понимаете, если дело примет крутой оборот, а все идет именно к тому, тут же вмешается райком. Соберут заседание бюро. А уж к нему-то Пауков подготовится, и не в одиночку. Но вы будьте спокойны, мы вас в обиду не дадим. Если уж решили напечатать эту статью.

Вера пожала плечами. Сказала:

— Мне все же почему-то кажется, что статья эта ниче-гошеньки не изменит. Ни у нас в «Рассвете», ни тем более в районе. Пауков ведь останется. А он здесь все подмял под себя и уступать не собирается никому и ничего. Пауковы-то остаются, вот какая штука. А что касается меня, то — бог не выдаст, свинья не съест.

— Смотря какая свинья.

— Большая свинья.

Они рассмеялись. Он подал ей руку и снова внимательно заглянул в глаза.

— До свидания.

— Да, действительно, уже пора ехать. Обязательно нужно проехать по деревням, поговорить с людьми. Да и здесь, в Крисанове-Пятнице, кое-кого повидать тоже надо.

— Транспорт у вас уж больно ненадежный. Поприличнее в редакции неужто ничего не нашлось? — насмешливо сказала Вера.

Он ничего не ответил. Погодя немного, когда Игорь Алексеевич выехал из деревни и, свернув с большака, мчался по пыльному проселку, она встала, подошла к окну и долго смотрела, как в желтых ветвях цветущих лип, нависших над конторскими окнами, снуют торопливые, жадные на вольный летний взяток, но в то же время такие несуетные пчелы. Какое-то время пчелиная возня занимала ее, отвлекала, но потом, и будто бы ни с того, ни с сего, скользнула по щеке слеза, и Вера закрыла лицо ладонями.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Вечером Вера села за письмо, начатое еще накануне. Прочитала последние строчки, торопливые, сумбурные:

«Стараюсь больше думать, меньше говорить. Так научилась разговаривать сама с собой. И изо всех сил стараюсь не заплакать от жалости к себе самой».

Свет горел в прихожей и проникал сюда, в комнату с распахнутым окном, словно ветер с полей. Но свет не приносил запаха земли и, возможно, именно поэтому раздражал. А ветер с полей нес ясные запахи ожидания и уже потому не раздражал. Ветер с полей обещал ливень и настраивал на ожидание. На терпение. Ветру с полей не было конца, и ей нужно было настраивать себя на такое же долгое ожидание. Но свет в прихожей обнажал ее одиночество. Свет в прихожей смеялся над ее одиночеством. Она это поняла сразу, как только выключила настольную лампу. Она это так остро поняла, что нужно было до боли закусить губу, чтобы не расплакаться.

— Что со мной? — вслух подумала она и упрекнула свое терпение, которое никогда еще так не подводило ее, как теперь. — Только слез еще не хватало. Слез и истерики. Вот так и сходят с ума.

Истерики и слез, чтобы поскорее сойти с ума, повторила Вера мысленно, ловя и сдавливая зубами нижнюю губу. Ей хотелось разобраться в том, что же все-таки произошло. Или происходит. А может, еще не произошло, но вот-вот может произойти? Она попыталась отстраниться от самой себя и посмотреть на себя и на мысли свои как бы со стороны. И какой-то миг она увидела стоящую в полутемной комнате женщину с растерянным взглядом, с припухшими, искусанными губами, со сцепленными пальцами смуглых рук, прижатых к подбородку, и удивительно похожую на кого-то, может быть, на самое Веру.

«Когда-то говорили, что каждый должен нести свой крест», — сказала та, похожая на ее самое, разлепив искусанные губы.

— А что, нет? Что, не должен? — ответила Вера.

«Ты должна ждать».

Утро было такое же, как и все прежние утра в ее одинокой, скучной жизни.

Она встала, пошатываясь спросонья, прошла на кухню, поставила на горелку чайник. И тут ее укольнуло воспоминание о вчерашней истерике. Это было уже не вос-

поминание, а боль. Она заглянула в зеркало: глаза усталые, заспанные, кожа бледная. Боже мой, спохватилась она, другая бы на моем месте наплевала на все это! Я что, кого-нибудь предала? Она отвела взгляд в сторону, ей неприятно было смотреть на свое отражение. Я никого не предавала. Никого. И не предам никогда. Просто растрепались нервы, расслабили волю. Да, конечно, все дело в том, что нервишки стали ни к черту не годными. И снова упрекнула мужа:

— Привез... Живи вот теперь в этой Пятнице. Здесь вечная пятница. Воскресенье — послезавтра. Это значит — скоро. Нужно ждать. Но оно не наступает и не наступает.

Уже вторую неделю бригада Донцовой выбивала некоси. Траву, где на тракторах, а где и вручную, на волокушах, вытаскивали на чистое, растрясали и сушили. Высушенное тут же грузили на тракторный прицеп, везли к центральной ферме и складывали под навес. Дожди не мешали, и дела у бригады шли споро. Да и Иван Николаевич Пауков после публикации Вериной статьи в районной газете в бригаде не появлялся. И слава богу, думала Вера, хватит нам свиданий на утренних планерках.

Статья получилась действительно интересной, а на газетной полосе смотрелась солидно, внушительно. Вера прочитала ее на лугах: Модест Изотович ходил на обед, отпросился на пару часов проведать заболевшую Санечку, но вернулся скоро, так что покосчики, глядя, как он торопливо сучит худыми ногами в широких черных штанинах по обкошенной стежке, насторожились, бросили ложки и молча ждали, когда он подойдет поближе и скажет, что же там такое случилось. А то, что случилось что-то необыкновенное, в этом уже никто не сомневался. Четвертушкин еще издали замахал свернутой в трубку газетой, и кто-то сказал, что вот, мол, Мендес «молнию» про их ударный труд из конторы, должно быть, несет, но говорившего грубовато осекли: погоди ты... Тот подошел к бригадиру и подал ей районку.

— Ну и здорово ж вы, Вера Александровна, тут, в статейке этой, про все прописали! И про землю, и про нас. Санечка читала, так очень хвалила. Я тоже послушал — хорошо. Правильно! — Четвертушкин утер кепкой пот со лба и шеи, засмеялся и сказал: — Ну, Вера Александровна, вы у нас еще и писатель!

Она развернула газету. Статья была помещена на третьей полосе на все три колонки под крупным заголовком. Ниже светлым курсивом был набран подзаголовок.

На следующий день на планерке Иван Николаевич Пауков сказал Вере:

— Ну что, Донцова, какую великую идею ты решила отстаивать? Чего ты добилась?

— Идею уважения и внимания к людям, Иван Николаевич.

— И надо же, какая ты хорошая, Донцова. А вокруг тебя, оказывается, такие бездушные чинуши сидят! Ну, что молчишь? А может, уже осознала, что ерунду сморозила? Так ты нам скажи тогда, не томи с хорошими-то вестями.

— Простите, Иван Николаевич, но я не собираюсь защищать вас от ваших же дел. — Вера усмехнулась: она усмехнулась не без вызова и сделала это сознательно. — Если, конечно, собственная совесть и какие-то должностные принципы еще представляют для вас хоть какую-то реальную силу и опасность.

— Кучеряво выражаешься, Донцова. Вот точно так же и в опусе своем накуролесила. Мудрено, говорю, мыслишь. А мы народ простой. Не так ли, товарищи? — И Пауков обвел взглядом всех сидевших на планерке.

— Хотите настроить против меня людей? — снова усмехнулась Вера. — Рискованное дело затеяли вы, Иван Николаевич. Я ведь писала о том, о чем думала очень долго, о чем, кстати, не раз докладывала вам. Я была и остаюсь уверена в каждом слове статьи. И многие, если не все, сидящие здесь, думают так же. Что же касается вас, то вы, Иван Николаевич, далеко не простой.

Директор побагровел, он, видимо, уже жалел о том, что затеял этот разговор. Он махнул рукой и сказал торопливо:

— Ладно, ладно... Все, товарищи, планерка окончена. Донцова, останься.

Когда все вышли, Пауков сказал ей:

— Ты вот, Донцова, заварила кашу, а мне — разбирайся. Ответ вот из редакции требуют. Звонили. Черт бы их побрал вместе с их газетенкой и твоей статьей.

Вера молчала. Пауков сел в зеленое вращающееся кресло, закурил и, закинув ногу на ногу и щурясь на молча стоявшую в дальнем углу Веру, сказал:

— А ты, Донцова, молодец. Уже и в редакции своих людей завела. Признаться, не ожидал от тебя такой деловитости и дальновидности. Завидую. Я уже целую пятилетку здесь отработал, а вот с редакцией общего языка никак не найду. Редактор там... Обычно с ними, редакторами этими, просто: мясца там лодыжку к празднику, медку или еще чего такого, они и успокаиваются, не суют нос, куда не надо. Ну что толку, что эти ездят да щиплют за бока? Только работать мешают.

— Зачем вы мне это говорите? Щеголяете передо мною своим цинизмом? Это ведь — как грязным бельем, знаете... На партийном собрании такое не скажете. А? Не скажете ведь, Иван Николаевич?

Директор засмеялся. Что-то неприятное мелькнуло в его глазах. Он так и не предложил ей сесть. Она бы и сама, без приглашения, могла это сделать, но продолжала стоять, выдерживая характер.

— Я в редакцию, конечно же, отпишу, — начал после некоторого молчания Пауков. — Все, как положено. Что факты, как это обычно пишут в таких случаях, имели место, что положение будет исправлено, что приняты уже кое-какие конструктивные меры, и так далее. Я, Донцова, даже поблагодарю их, и автора, разумеется, за деловую и конструктивную критику.

— И огороды рабочим пахать теперь будут организованно?

— Да, конечно.

— И сажалки пошлете?

— И сажалки пошлю.

— А как же с бригадами? — спросила она, чувствуя, что он уводит ее в сторону от главного разговора.

— Бригады? Бригады будем организовывать. А как же иначе? Такова генеральная линия партии в настоящее время. Тебя что-нибудь не устраивает? Или я не то что-нибудь говорю?

— Да нет, вы говорите слишком правильно.

Пауков снова рассмеялся. Он встал, прошелся по кабинету.

— Как видишь, немного надо для того, чтобы грязное белье выглядело вполне чистым.

— Вы для того и оставили меня, чтобы продемонстрировать эти превращения? И не совестно?

— Кого? — смеясь, спросил Пауков. — Кого, Донцова? Тебя, что ли? Да перестань, не преувеличивай ты своего значения.

Он прошел обратно к столу, сел в кресло и внимательно посмотрел на Веру. Теперь в его взгляде не было насмешки.

— Донцова, ты, я вижу, и впрямь не ведаешь, что творишь. Так вот, заруби себе на носу: директор совхоза — я. Здесь за все отвечаю я. С меня спрашивают в первую очередь. А ты занимайся-ка лучше своей бригадой. У тебя своих дел по горло. Кстати, если проанализировать твою работу как следует, много чего можно найти. Но я же этого не делаю. Нет, я вижу, не живется тебе спокойно, товарищ бригадир.

— Не живется, Иван Николаевич.

— Я требую дисциплины, — перебил ее Пауков, — и это, конечно же, не всем нравится. Только в условиях требовательности и единоначалия с этими людьми, — Пауков кивнул в окно, — можно выращивать максимальные урожаи и получать стабильные привесы.

— Нет, Иван Николаевич, людям надо возвращать чувство хозяев своей земли. Бригады, самоуправление, оплата по произведенной продукции...

— Знаю, знаю эти песни. Сейчас ты заговоришь о демократии, которой у нас в «Рассвете» якобы не хватает. Демократия, разумеется, вещь хорошая. Но! Хороша она, пока хороша. Пока устраивает всех. Всех! И нас и вас. Ты понимаешь?

— Нет, не понимаю. Потому что этого невозможно понять.

— Демократия... Она хороша до известной степени.

— Мне эта степень неизвестна. До какой же степени она, демократия, хороша?

— Тебе многое пока неизвестно. Вот поживешь, поработаешь, потрет тебя жизнь и так и этак, и многому, Донцова, перестанешь удивляться, многое станешь принимать как должное. Ну, что ты о той демократии знаешь? А? Из учебников что-то помнишь? Вот в том-то и дело, что тебе и сама демократия неизвестна.

— Так до какой же степени?

Пауков опять начал багроветь. Вера тоже вспыхнула; она чувствовала, как горячая волна решимости захлестнула и начала душить ее.

— Вы не досказали, товарищ директор совхоза, до какой же степени хороша демократия? Или вы хотите иметь ее, демократию, как некое приложение к своим правам и возможностям? Захочу, если сочту нужным, дам вам демократию, а не захочу, не дам, — ведь хозяин здесь я. Так, что ли? Единоначалие вы воспринимаете как право на подавление инициативы других. Помните, на последнем открытом партийном собрании было принято решение, в котором очень хорошо было сказано о том, что инициатива должна исходить не только сверху, но и снизу? Вы голосовали за это решение, одним из первых подняли руку. Или вы это делали потому, что на собрании присутствовал секретарь райкома партии?

— Э-з, Донцова, да ты не так проста, как мне показалось вначале.

— А вам хотелось бы иметь вокруг себя простаков, которые бы ничего не понимали и не замечали того, что им, как говорится, по штату не положено замечать, и которые бы при этом с верноподданническим блеском в глазах заглядывали вам в рот. Так вот что я вам скажу: с такими людьми, как вы, с такими руководителями высоких урожаев не получишь. Вы временщик здесь, на этой земле.

— И тем не менее директор совхоза «Рассвет» — я, Пауков Иван Николаевич. А все остальные — подчиненные. И нужны мне подчиненные именно такие, о каких ты так хорошо сказала только что. Послушные, скорые на ногу, много не рассуждающие о том, что правильно здесь, а что не совсем правильно.

— Кого вы воспитываете? К вам сюда, вот сюда, каждый день приходят некоторые рабочие и рассказывают все и обо всех.

— Да, я располагаю полной информацией о том, что происходит у нас в хозяйстве. Я даже знаю о том, что может произойти. Я много знаю. Мы отклонились от темы нашего разговора. Но я готов сейчас поговорить на эту тему. Не сгущай красок, Донцова. Ты упрекнула меня в том, что я якобы подавляю демократические, так сказать, основы управления хозяйством. Но это же неверно... А теперь скажи мне, зачем нужен такой бригадир такому деспоту и цинику, как я? Бригадир, по моим требованиям, должен быть четким исполнителем. Ну? Что мне прикажешь с тобой теперь делать? Вот загадка, а?

— Я знаю, что не подхожу вам. Не вписываюсь в тот стиль работы, который вы здесь так упорно культивируете.

— Совершенно верно.

— Я давно это поняла.

— Вот и хорошо. Так в чем же дело? Раэ поняла, надо делать выводы.

— Нет, Иван Николаевич, вы изо всех сил будете терпеть меня. Вы будете терпеть меня уже потому, что я честно зарабатываю те деньги, которые два раза в месяц получаю в совхозной кассе.

— Ну, это мы еще посмотрим. — Пауков навалился грудью па стол. — А здорово, Донцова, окрыляет дружба с редакцией. Вернее, с некоторыми из ее чересчур рьяных сотрудников. Странная дружба. Раньше, когда здесь был Николай, ты была куда скромнее.

— Что вы хотите сказать?

— А то, что Николай не одобрит, так я понимаю, этой, с позволения сказать, дружбы. По-мужски не одобрит. Я понимаю тебя, Донцова, понимаю по-человечески: два года — срок немалый, одной тяжело. Но ведь ты замужняя женщина, а такое себе позволяешь. Ты знаешь, как это называется?

— Сейчас же замолчите! Замолчите! Вы!

Она шагнула к столу, за которым, ухмыляясь и поблескивая вспотевшей лысиной, сидел директор.

Пауков был доволен: наконец-то он добрался до нее. Наконец-то, черт бы ее побрал с ее наивными, детскими представлениями о жизни. Конечно, думал Пауков, можно было сразу выкинуть этот верный козырь, но ничего и так. Зато посмотрел, полюбовался, как она блестит на солнышке, эта настырная рыбка. Пауков вытащил из кармана брюк носовой платок, вытер им вспотевшую лысину и сказал:

— Да, Донцова, я тебе верю, ты, наверно, можешь ударить. С тебя станется. И тогда тебя, вот штука-то, придется выбросить из кабинета вон. А ты ведь женщина, и, более того, довольно красивая женщина.

«Надо взять себя в руки, — подумала она. — Нервы ни к черту стали, совсем ни к черту... А он на мой срыв и рассчитывает».

— Мне бы следовало сказать вам, — она вызывающе усмехнулась, глядя прямо в глаза Паукову, — что вы, Иван Николаевич, человек подлый, но я боюсь оскорбить вас незаслуженно и поэтому оставляю вас наедине со своим самодовольством и осознанием собственного превосходства. Тешьтесь дальше, бог с вами.

Вера вышла в приемную, там никого не было. Дверь за собою она оставила наполовину открытой, но уже из коридора вернулась и, увидев с той стороны директора, тоже идущего к двери, с силой захлопнула ее.

Вас, Иван Николаевич, уже не убедишь никакими словами, думала она, выйдя на улицу, вас можно только припереть, приколоть, как хоря вилами к земле. И вздохнула: да вот беда, вил под руками нет и земля зыбкая...

Вечером Вера включила настольную лампу, достала бумагу и авторучку, в левом верхнем углу чистого листа, как всегда, надписала дату, потом, чуть ниже — будто вздохнула: «Коленька, милый...» И больше не смогла связать и двух слов.

Ну зачем, для чего лезть на рожон? Ведь у тебя даже огорода нет настоящего, бранила себя Вера, так, три грядки, которые и сажаешь и выкапываешь всегда под лопату.

А бригады... О каких бригадах ты хлопочешь? Ведь сами механизаторы еще неизвестно как отнесутся к твоей затее. Захотят ли они работать на земле так, чтобы деньги получать не за гектары, вспаханные и засеянные, а за тонны, выращенные и убранные? Попробуй убеди их в том, что так выгоднее и государству и им самим. И те, для кого ты стараешься, думаешь, они оценят твои старания и радения за их интересы? Кто ты для них? Приехавшая на работу в совхоз по распределению, а стало быть, временно — ведь сколько их было до тебя! — молодая агрономка со средним образованием, замужняя, а теперь вот одинокая, жена солдата, который тоже ни душой, ни сердцем не привязан к этому краю. Да, да, и ты, и Николай здесь чужие. Просто-напросто.

Но кто же тогда вступится за них, возразила она сама себе. За Александру Филипповну? За Гришу Минаева? За Ивана Прокоповича Рогова? За их семьи? Кто? У них такой тяжкий труд, с утра до вечера. Умыться, бывает, некогда. И если таким людям плевать в душу за их трудовую честную жизнь на такой нещедрой земле, то зачем же тогда все? О чем мы тогда говорим на собраниях? К чему нас призывают и во что мы так беззаветно верим? Ради чего тогда и я здесь? И Николай? Чтобы где-то там, в городе, в гастрономе на прилавках было все: и сыр «Российский» и «Пошехонский», и масло «Во-

логодское», и молоко, и сметана, и колбаса, и ветчина, и хороший, не чета нашему, хлеб... Но здесь же тоже люди живут, те же самые рабочие, о которых мы говорим, что это основная движущая сила нашего общества.

А отпуск, вдруг подумала она, Пауков теперь точно мне не даст. Не простит ни статьи в районной газете, ни сегодняшнего разговора. Он ждал, что я раскаюсь, а я, наоборот, опять набросилась на него. Он не отпустит меня ни летом, ни осенью, если до того времени не придумает чего-нибудь похуже. Но как же тогда моя поездка к Коле? Тогда я попросту не смогу поехать! Так, что ли, получается? Все рухнет. Ну, если не отпустит, я ему тогда покажу...

Но уже через минуту самообладание покинуло ее.

— Коленька, — всхлипнула она, глядя в черное окно, за которым клубилась непроглядная ночь, — я так хочу к тебе, миленький. Коленька... А вдруг меня не отпустят? Коленька... Ты писал, что зимой к тебе уже нельзя, что невозможно будет снять жилье. А летом и осенью, видишь, он нарочно не отпустит. Коленька...

Она все же задремала, и ей привиделся сон.

Будто идут они по улице небольшого городка, где заканчивали техникум; Николай держит в руках кулек с черешней, только что купленной на колхозном рынке, и они берут из него зрелые ягоды и молча смотрят друг другу в глаза. Потом он взял ее за руку и повел под какую-то полуразрушенную и нелепо отреставрированную арку в чужой дом, где она ни разу не бывала, и говорит: «Открой вот эту дверь». Она послушно открывает ее, дверь подается легко, ей даже кажется, что кто-то помогает ей, но она никого не видит. Дверь похожа на дверь в кабинет директора. Но Вера старается не думать об этом.

Они входят в светлую просторную комнату. В комнате светло. На всех стенах, стен почему-то много, пять или шесть, горят бра, красивые, хрустальные, такие бра она давно хотела иметь. Кругом никого, только они двое. Николай подхватил ее на руки и понес куда-то. Она спросила: «Ты куда?» — «Туда», — шепнул он, целуя ее в шею и грудь. Ей с ним в этот раз было так хорошо, как еще никогда не бывало, и она до этого не знала, что так может быть. Но потом все бра разом погасли, и в темноте ей стало страшно. Она захотела закричать, но силы покинули ее прежде, чем она успела разомкнуть сведенные безотчетным страхом губы. Она потянулась к выключателю, хотела включить бра, но выключатель почему-то не действовал. И тогда она вдруг поняла, что рядом с нею лежит не Николай, а кто-то чужой, и что о н обманом завлек ее сюда и завладел так неистово, что она на какое-то время потеряла здравый рассудок. «Кто ты?» — закричала она и замахнулась было, чтобы ударить, но рука занемела и не слушалась.

Она открыла глаза, полные слез, — приснилось. Господи, приснилось. О, что же это такое!.. Она поняла, что еще ночь, что до утра еще ждать и ждать и что уснуть она не сможет, только измучает себя бесполезными усилиями и нескончаемыми думами.

Вера включила бра и взяла со столика книгу. Странно, подумала она, бра там были точно такими же, как у меня. Только много.

Лежать было неловко. Она подтащила подушки повыше к спинке кровати и села. В теле ее жила усталость, она прислушалась к ней: да, так бывало всегда после того, как Николай засыпал, уткнувшись в ее плечо.

Вера читала рассказ Андрея Платонова «Река Потудань». Прочитанное не просто взволновало ее, пришла смутная тревога, мучительное, счастливое воспоминание о том, как однажды на вечере в общежитии познакомилась с парнем, который ей сразу понравился и которому, заметила, понравилась и она. Потом она вспомнила ту первую ночь в душной комнате, капельки пота на его серьезном напряженном лбу. Потом, в минуты отдыха и блаженной расслабленности, она ужасалась сама себе: в мгновения наслаждения здравый рассудок и чувство осторожности покидали ее, инстинкт нежности и любви овладел ею безраздельно, и она стремилась навстречу неистово и самозабвенно, что Николай однажды, уже став ее мужем, спросил в шутку, а может, всерьез, почему она так нежна к нему. «Потому, что я с родинкой родилась». — «С какой родинкой?» — не понял он ее, но тут же рассмеялся, вспомнив о родинке на груди, и обнял, и шепнул: «Какая ты у меня прелесть, Верушка». — «Правда?» — «Правда». — «Значит, я тебе нравлюсь?» В ответ он ее поцеловал.

Она говорила правду. Они оба были искренни. Когда чувства захлестывают с такой силой, люди не умеют лукавить.

Вера вдруг спохватилась: ее изумила и в то же время

озадачила судьба любви Никиты Фирсова и Любы. Что соединяло их?.. Она поняла, что когда-то в чем-то была обделена. Кем? Нет, Николай давал ей все, что мог, и она была этим счастлива. А может, не настала еще настоящая пора любви? Может, только теперь она, ее пора, настает? Не зря же такие страшные сны снятся...

Вера уснула и вскоре проснулась, вздрогнув от ощущения любви и желания любить, она даже вскрикнула. У меня когда-нибудь сердце во сне разорвется, подумала она.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В конце июля в совхозе спешно начали формировать бригаду косцов для переброски ее на отдаленное угодье, километров за двадцать от Крисанова-Пятницы. Местечко то называлось Хутором. Деревни там уже не осталось, хотя, Вера знала по рассказам Санечки Крылатки, которая тоже попала в состав бригады, деревня когда-то была, и хорошая, веселая деревня, «с гармонями». А теперь ничего там не осталось от прежнего веселья, кроме необкосных лугов, откуда, казалось, бери и вози доброе сенцо, бери и вози, покуда сила есть да старание, да погода терпит.

Отбыли в один из понедельников. Двумя же днями раньше на Хуторе разгрузили машину теса и бруса, а четверо крисаново-пятницких плотников заделали щели в трех последних уцелевших здесь домах, навесили сбитые прохожим людом двери, наново застеклили окна, сшили из струганой и фугованной доски нары.

В доме с кухней поселили женскую, меньшую половину отряда, а в двух других расположились мужики — трактористы и скирдоправы.

Мужики, отобедав и напившись из родника, в первый же день настроили роторную косилку. И Гришка Менек до сумерек успел отмахать порядочный кусок луга, самого ближнего, начинавшегося тут же, у родника, на месте бывших хуторских усадеб. Женщины, которых оставили отдыхать и обустраивать временное жилье, видели, как парень иногда высовывался из желтой кабины трактора, улыбался, что-то показывал рукой стоявшим поодаль мужикам, кричал:

— Во, елкина мать! Пошло как! Замри, мой дух! —

И еще что-то, чего нельзя было разобрать, потому что над лугом колыхался зной, придавливая и глуша звуки страды, так внезапно начавшейся здесь, в этих покинутых, казалось, навсегда и потому так быстро одичавших местах.

До вечера первые ряды провеяли, и запахло сеном. И так возбуждающе-радостно запахло, что люди, уже в сумерках выйдя из жилищ, жадно принюхивались к тягучему, как вечерний звук, аромату, сильному и неизбывному; одни присаживались на крыльцо, вздыхали, похоже, запах этот будил в них какие-то воспоминания, очень значимые для них, другие бросали в росу под ноги недокуренные папиросы и беспокойно молчали, глядя в густую темень, из глубины которой все шел, напирал на бывшую здесь когда-то деревню Хутор сенокосный дух. Он обещал людям долгую и трудную страду, и люди отвечали ему молчаливым согласием и были счастливы.

Звезды сияли низко над лугами, близкие, теплые. Казалось, вымечи стог повыше посреди вон той луговины, что на холме за болотом, и скирдоправы будут задевать Стожары длинными черенками вил. Никогда еще Вера не видела таких звезд. Даже в детстве, когда все казалось большим, не видела. И не предполагала, что они могут быть такими — как грозди осенних рябин. Дернул поодаль коростель, прислушался, но не дождался ничьего ответа, никто с ним не осмелился тягаться, и завел свою однообразную песню без перерыва, будто там, в росистой, покуда еще не тронутой траве, поставили какую-то деревянную машинку, завели ее хорошенько, на всю ночь, и запустили: кр-ра, кр-ра, кр-ра...

— Э-эт, едрит-твою, тоже работник! — не выдержал кто-то из мужиков. — Спал бы да спал.

— Природа так ему определила, — серьезно возразил другой, постарше, по голосу видать, что постарше.

— Это точно, естество свое берет, — поддержал третий голос.

— Ну уж — естество!.. Больно мудрено.

— Природа, брат ты мой, мудрее нас с тобою. А если по-твоему рассуждать, то и лягушкам бы незачем квакать весной, а вот, поди ж ты, квакают, и жизнь у них идет, длится своим чередом, продолжается. Все надо. Вот ты, Леник, человечий сын, Гале своей ласковое слово небось перед каждым вечером молвишь?

Тот, кого назвали Леником, усмехнулся, на этот раз как-то зло и с горечью, и ничего не ответил.

— А по-моему, — сказал новый голос, — так бабу надо каждый раз уговаривать, как в первый раз. Тогда она, окаянная сила, добрее и жарче.

— А как же! У меня вон дед печку растапливает и то какие-то слова приговаривает. Это дело такое... Сурьезное дело.

Все четверо или пятеро, сколько их там было, засмеялись, позабыв на минуту о предстоящей работе.

— Чем гадать, — неожиданно предложил кто-то, — давайте лучше Крылатку спросим. Вон она стоит, о Мендесе скучает.

— Что у нее спрашивать? У Санечки спрашивать нечего. Там статья особая. У них там с Мендесом и без бересты загорается.

Посмеялись опять, покачали головами. С лугов тянуло ветром, и снова у людей загустела от нетерпения кровь. Так молча и разошлись по домам. И наверное, каждый думал о завтрашнем дне, примерял к своим рукам и к своим плечам ту работу, которую ему определили выполнять и толк в которой он знал.

В доме, где разместилась женская половина бригады, свет погасили рано. Мужики еще бродили впотьмах, хлопали дверцами кабин стоявших неподалеку тракторов, налаживали что-то, тихо переговаривались и ко сну отходили постепенно, по одному, по два, а тут сразу улеглись, примолкли, будто устали больше других. Хотя, может, так оно и было: пока те разгружали провиант и бочки с горючим, пока возились с колодцем, пока нашли, где удобнее поставить технику, именно женщинам пришлось наводить порядок в домах: выскабливать затоптанные и загаженные крысами полы, протереть стены и потолки, вынести ненужный хлам.

Вера сбросила с себя одеяло, было душно, а может, просто казалось. Повернулась набок, стараясь не шуметь, открыла глаза. В доме было темно. Только смутно белели постели да тесовые нары. Нары пахли свежеструганым деревом и смолой, и этот ненавязчивый запах, смешанный с запахом луга, струящимся в раскрытые окна, немного успокаивал. Вера пробовала отвлечься от мыслей, которые измучили ее уже до такой степени, что в последнее время она просто стала бояться вечеров, но ничего не получалось. Дома она старалась лечь с книжкой и незаметно, покорившись усталости, уснуть под включенной лампой, а потом, ночью, внезапно проснувшись от холода, на ощупь, не открывая глаз, разобрать постель, выключить свет, залезть под одеяло; тогда сон не отпускал, надежно нес, баюкал, как дитя.

Вера закрыла глаза, поплыли, то медленно, то быстро, фиолетовые круги с белыми зернышками в серединках. Так с ума можно сойти, подумала она и вздохнула. И неосторожно вздохнула, забылась, потому что в дальнем углу кто-то вздохнул, а лежавшая на соседних нарах Санечка Крылатка подняла голову и сказала хриплым сердитым голосом:

— Да спите ж вы, девки!

— Спите, — ответили ей из темноты. — Поспишь тут...

— У самой-то небось пролежни уже.

— Правда, Сань, а чегой-то ты без Мендеса на косьбу подалась? В даль-то этакую? — спросила Санечку тетка Алена, и Крылатка пожалела, что начала этот разговор. Лежала бы себе, молчушко, глядишь, и уснула бы как-нибудь. А то сейчас начнут сечь своими тяпками...

— Ой, бабы, да он, гляди, завтра и приметохается! Будет он там чахнуть. А, Сань? Поди сговорился? Ну, чего молчишь? Посулился Мендес?

— У него там своя работа, — попробовала та по-доброму увернуться от наседавших.

Но где там! Самые говорливые да озорные на язык, такие, что и самой Санечке при случае не уступят, только, видать, того и ждали, кто бы начал. И уж раз начали, то теперь держись, пойдет изба по горнице, а сени по полатям!

— Ой, Сань! Какая ж у него там работа может быть, если ты здеся?

— А что ж ты своего Петюшку в Крисанове-Пятнице оставила? На вольных-то хлебах, а? — видя, что, нет, так просто от этих зубочесок не вывернешься, огрызнулась Крылатка. Да только больше масла в огонь подлила.

— Я его оставила дом караулить, — пояснила, с трудом сдерживая смех, тетка Алена. — Дом караулить да за детями доглядеть. Мой Петюшка там не один. Он у меня и там на глазах, как у Мюллера под этим...

— Под колпаком, — подсказали тетке Алене.

— Во-во, под колпаком. А твой Мендес сейчас в Крисанове-Пятнице казак вольный! Куда хочу, туда и скачу! Ты, Сань, гляди. Он с тобой и не расписался даже. Гляди... А то приедешь, а там одни стены голые да патреты твои. Все распродаст, а сам куда-нибудь с полным карманом к другой лызганет. Недаром у него обличие цыганское, и языком петляет, как турок некрещеный. И чего ты с ним не распишешься? Сводила бы в сельсовет, там бы вам печать, куда надо, поставили, и тогда бы ты, Сань, со своим Мендесом хоть куда!

— А я и сейчас с ним хоть куда! Расписаны — не расписаны, какая разница? И так хорошо живем, — не поднимая головы от ставшей горячей подушки, сказала Санечка.

— Ишь она, какая разница?! — атаковали ее с другого конца дома. — Большая разница. Пример вон молодым подаете... А потом бросит еще разутую-раздетую, случись между вами что?

— И правда, Сань, и правда. Это ж все так: сперва мила да мила, а потом — чтоб тебя баба-яга а ступе прокатила!

— Да не хочет он чего-то, — бесхитростно призналась Санечка. — Не хочет расписываться.

— А ты его, Саня, — опять подхватила тетка Алена, — на сухом пайке подержи. Вот откосимся, приедешь домой... Пускай попостится.

— Да ну вас, — усмехнулась Санечка Крылатка; ее и самое, похоже, проняло общее веселье. Она уже не сердилась на баб. Слушала, усмехалась. Пусть посокочат языками, жалко, что ли. Не убудет от меня, думала она, поправляя подушку.

— А дальше ж что, — не унималась тетка Алена, — дальше он к тебе и так и эдак, ну, как они умеют. А ты ему: только через сельсовет!

— У, врагова сила! — проснулась бабка Федосья Громова, робкий, прерывистый храпоток которой до этой минуты клокотал и вздрагивал в углу печи. — Языки дольше подолов распустили, окаянные. Молодые вон слухают, а вы, сивохвостые... Я вот погляжу, как вы завтра с сеном управляться будете. Я вас тогда накормлю! Вы у меня тогда живо свои мяса растрясете!

— Так их, так, баба Федосья! — подзадорил старуху кто-то из молодых.

— Да они, тет, нынче поболе нашего знают, — возразила бабке Федосье Громовой тетка Алена.

Но та, видать, уже поняла, к чему все идет, что желанного сна в такой суматохе не будет, и снова прикрикнула на расходившихся не ко времени:

— Эх, окаянные ваши души! Спите! Завтра день будет ясен, вот и договоритесь, у кого из вас мужик лучше.

— Ой, баба Федосья! Да мы не про это.

— Тебе, баба Федосья, и самой, видать, поговорить охота.

— Я свое отговорила, — ответила бабка Федосья Громова и села на парах, кряхтя и поправляя длинную исподнюю рубаху, и в темноте забелел орлиный профиль ее худого продолговатого лица.

— Ну так нам подскажи, — не отставали от старухи.

— В таковском деле подсказ не нужен.

— Как же не нужен? Нужен. Еще как нужен. Во всяком деле подсказ нужен. А в этом — тем более.

— Да что ж вам, врагова сила, до седых волос все подсказывать?

— Седина делу не помеха.

— Седина в голову, а бес в ребро, баба Федосья. И девки тоже послушают. Вон погляди на них, толстопятых. Как меда ждут.

— Наслушаются еще, — сказала старуха и повернула к окнам, бледнеющим квадратами задернутых шторок, свой орлиный профиль. — Сейчас вон про это лекции читают. В телевизере показывают, что да как. Мужик в желтых очках весной на крисановскую ферму приезжал, так два часа, как есть, бабам нашим рассказывал, что к чему. Должно, фершал какой-нибудь. Из города.

— И ты, тет Федос, слушала?

— И я, девк, послушала. Уж он им разъяснял, уж он, очкастый этот, распинался. И такие слова говорил, что девки мои, гляжу, носы в подолы опускают и красные сидят, как раки вареные. Ну, думаю себе, теперь они раздокажут, ребят нашвыряют по лавкам! А они вон все ходят, как ступы! Хоть бы одна начала. Да спите ж, черти!

Но немного погодя, поворочавшись с боку на бок, но так, видно, и не устроив как следует свое сухое щадноватое тело, бабка Федосья Громова сказала, снова при-

встав и пырнув острым кулаком такую же худую, как и сама она, казенную подушку:
— Эх, чтоб им, окаянным! Какие неловкие лежанки сгородили, врагова сила. Что ни сделают, все ни к черту не гоже! Ну что ты будешь делать!
— Ты, баба Федосья, на печи привыкла, вот и не изловчишься уснуть, не умнешь никак бока.
— С вами изловчишься, как же.
В ночь перед началом сенокоса женской половине бригады явно не спалось.
— Бабы, а бабы, а чью ж это мы хату заняли? — спросил кто-то, когда начатый разговор стал помаленьку иссякать.
— Федота Агафонова, — ответили из темноты. — Хороший хозяин был. Хлевы вон какие крепкие — как терема!
— Все теперь разорят. Все прахом пойдет.
— Кто разорит?
— Кто-кто, дед Пихто, вот кто. Люди разорят. Да время. Время, оно, девк, все разорит.
— Жалко. Добро ведь.
— Жалко, да ничего не поделаешь. Людей сюда уже не воротишь.
— Сколько деревень так-то вот в одной только нашей округе погинуло, боже ты мой!
— Да. Откуда ж ей теперича взяться, колбасе, раз деревень не стало? А в остатных деревнях люди скот не хотят держать? А, скажи ты мне?
Вера слушала говоривших, но часто не узнавала, кто говорит, так, догадывалась. Слишком необычна была обстановка, окружавшая их, и, казалось, ровно настолько изменились и сами люди.
— Ох, господи, Исусе Христе, вот погибель на нашу землю! — вздохнула бабка Федосья Громова. — Когда ж такое видано было, чтобы люди свои дворы кидали на произвол судьбы? Это ж только в войну такое было.
— То ж не по своей воле. Попробуй останься, жандармы каждую хату проверяли, всех в обоз сгоняли.
— А тут разве ж по своей воле?
— Правда, правда... И без войны, и без жандармов...
— Не говори, девк. Покатилась деревня под горку.
— Если б магазин не закрыли, то народ отсюда не стронулся бы. Это ж наш Нематодный выхлопотал в Городке, по начальству все ходил, чтобы тут магазин закрыли. Коров-то всех в новый скотный отсюда перегнали, а доярки далеко ездить не согласились. Да вон Санечка знает, как тута Пауков с ними воевал.
— Вот, а ты говоришь, — и без жандармов справился.
— Плохо держались за свои постройки да за землю, что Пауков с ними справился.
— Плохо держались... Хлеба негде стало купить, как же тут дальше жить было?
— Как ни держались, а держались. Пока не скопнули с корня. Ты, девк, вот про войну помянула. Да, было горюшко. Только мы на свои селища возвернулись, мужики, кто живой остался, попришли, строиться стали. А тут... Сюда уже, видно, никто не возвернется.
— Магазин закрыли, — отозвалась Санечка Крылатка, — мы прожили зиму без хлеба, да и стали помаленьку переезжать в Крисаново-Пятницу, в квартиры, пропади они пропадом.
— Разорил, дьявол, деревню. А нашто разорил?
— А так, чтобы начальству угодить. Тогда ж все укрупняли. Думали, что так коровы больше молока станут давать. А они, бедные, теперь вон болеют, в больших-то гуртах. На скотных полы каменные, стены каменные. Холодно. Зимой-то постой там, померзни. Ворота как следует не закрываются. У коровушек мастит. Ох, господи!
— А все почему? Да потому все это безобразие делается, что ничего ему, Ивану нашему Николаевичу, не надо. Он себе теплый дом построил. Небось в квартире не захотел жить.
— Будет он тебе в квартире жить. В квартиру так не притощишь, как в особняк. А так ему Грек каждую ночь и возит что-то, и возит, и таскает. Так-то вот он директорствует, грязные его глаза. А я пошла мешок пшеницы выписать, так он меня так-то из кабинета выпроводил, да таким словом обозвал, что я больше и разговаривать с ним, чертом поганым, не желаю.
— А сюда небось не отказалась поехать?
— Не отказалась! Сено ж не ему есть, а коровам. Вот и не отказалась.
— Ну, сейчас директору нашему все косточки переберем-перемоем. Икается, должно быть, сегодня нашему Ивану Николаевичу.
— Ой, бабы, да чтой-то вы так-то? Разве ж можно?
— Ладно. Хоть так на него набрешемся. В глаза-то попробуй — сразу премии лишит.

— Бабы, а знает кто, откуда он хоть на нашу голову свалился? Пауков-то? Из каких краев приехал?
— Известно из каких, райком привел. Забыли, что ли? Собрание было...
— Собрание!.. Из Калуги он, вот откуда! Брат мне говорил, что он там аптекарем, что ли, раньше работал. А потом вот к нам прислали.
— На исправление, что ли?
— А кто ж его маму знает.
— Бабы, нашли о ком на ночь-то.
— И правда, и правда.
Но говорить о чем-то надо было, раз завязалась ниточка, и вот пошло опять о брошенных хуторских домах.
— Куда ж он уехал, Федот-то Агафонов?
— В Спас-Деменск. Устроился там на работу.
— Это ж он, бабы, печки все клал ходил?
— Он. Он и печник, и плотник, и колодезник. Видишь, как ладно тут все поделал. Полочки везде, дверочки...
— Каково ему теперь, в городе-то? В каменных стенах?
— И не говори, и не говори. Я летось к сестре в Калугу ездила, так за неделю в этих панелях так нажилась, что не помню, как и домой приволоклась. И голова там у меня болит, и в сон все клонит, и аппетиту нет.
— А так-то все. Да. Где пуп зарыт, там и век вековать надо. Родная землица одна, нечего ее по свету искать. Так-то ж все...
Люди говорили и говорили. Говорили тихо. Как будто и устали, и спать бы пора, завтра день долгий, а все не смыкали глаз.
— Не одному Хутору такая судьба. Вон и Ковалевки уж нет, и Кожелуповка сселилась, и Ореховка, и Черенка, и Урядникова не стало, и Яглинки. Где они теперь, ковалевцы да яглинцы?
Некоторое время слышно было, как за окном ветер шумит, гнет траву, и поднявшаяся к наличникам крапива скребется в стекло, будто кошка-полуночница. Даже жутковато стало от этих звуков. Вера представила, что она одна здесь, в чужом, старом, покинутом навсегда доме...
— А раньше веселее в деревнях жилось, — сказала вдруг бабка Федосья Громова. Видно, ей все же хотелось поворотить разговор в свою сторону, да и молодым угодить — просили ж про то, что было, рассказать. — И работали раньше, и гульня куда веселее нынешней была. И водки не пили столько. А теперь вон с утра глазья

нальют... Никакие законы сухие не помогают. И молодые — туда же. Тьфу, врагова сила! Нет, девки, не так-то мы в молодости жили.
— Правда, правда, баба Федосья, — поддакнул старой кто-то из молодых. — Нынче и песен не поют. А в деревнях всегда песни пели. Что ж это за деревня без песен? А нынче, если запел, значит, не иначе как пьяный.
— Раньше ж как считали, чья свадьба веселее и богаче: где хор был больше, да песни дольше. Бывало, и просватанье, и девишник, и отъезд к венцу, и встречу от венца, и величания всем, — все, милые мои, обыгрывали. Без песни ни шагу. А там еще тысяцкий да сваха со своими прибаутками. О, и не говорите, куда как веселее было! А теперь как? Лишь бы водка рекой лилась. Вот и пошли все песни пьяные.
— Какой народ, такие и песни.
— Народ-то хороший, — сказала та, которая заговорила о свадьбах. — Чего наговаривать? Стратился малость, так это покуражится и опять, глядишь, опамятуется. Вот, бывало, как начнут жениха величать:

Как на Васеньке на Петровиче
Кудри русые завиваются...

— Кто это теперь помнит? — возразили ей, вздохнув.
— Э, девк, не говори так. Народ сложил, народ и помнит.
— Дак перезабыли ж все!
— Тридцать лет, как видел коровий след, а молоком все отрыгается.
— И то правда, и то истина. А вот послушайте, что брат мне весной рассказывал. Товарищ его, тоже на заводе в Калуге работает, ездил на сев в колхоз, шефом. Обратно возвращался, припозднился, автобусы не ходят, пошел пешком, до дома-то недалече было. На душе радостно, что отработал-таки в колхозе, что к жене, домой, что деньжат подзаработал.
— Дуже они тут, заводские эти, убиваются.
— Да погоди ты, не перебивай. И взял он это и запел. А тут, откуда ни возьмись, милиция.
— Неужто забрали? — вздрогнул в углу на крайних нарах чей-то сонный голос, дотоле не участвовавший в разговоре, так раззадорившем всех, ночевавших в этом доме.

— Забрали. За милую душу. А ты как думала? Там, в городе, чикаться не будут.
— Так ведь безвинного?
— Забрали. И разбираться не стали. В отрезвительный дом отвезли.
— Строго. Ой, строго. Слыхали, в «Большевике» председателя ихнего с должности сняли?
— Так «Большевик» же по всем показателям впереди нашего «Рассвета» идет! Видать, хороший председатель был.
— Говорят, тракторист тот, по ком поминки они справляли, товарищ его был, председателя-то. В школе вместе учились, в армии вместе служили.
— Там, видать, не в пьянке дело. Не угодил начальству, вот и перекобырнули.
— Хмурый народ стал, несердечный какой-то. Вот потому и живем так — безрадостно.
— Сытые, вот и хмурые.
— Что сытые, это хорошо. Вам-то, видать, лебеду с мякиной замешивать не пришлось, ваша семья побогаче, повольнее других жила.
— Работали с утра до ночи, вот и вся наша вольность.
— А то мы не работали.
— Все работали. Да по-разному.
— Бабы, будет вам. А то еще и побрешетесь. Вы еще вспомните, кого да как раскулачивали. Тет Федос, расскажи-ка лучше, как вы в старину гуляли.
— Как мы гуляли, теперешняя молодежь гулять не будет. Они вон, правда что, ни песен, ни припевок не поют. Новые не складывают, а старые перезабыли. На всем готовом привыкли. Они думают, раз покупное, так оно и лучше. Теперь вон даже песни покупные пошли. Что купили, то и слушают. Гордости в людях не стало. Нет, неправильно нынче в деревне живут. Если б свойский хлебушек сажали в печь, так небось в крисановский магазин по снегу не поперлись бы. Нет, что вы мне ни говорите, а нынче деревня живет неправильно. Только и думаете, окаянные ваши души, как бы рублевку лишнюю из государственной казны потянуть.
— Так мы работаем за ту рублевку. Вот как горбины гнем! Кое-кому и не снилась такая работа. И казна государственная законно нам деньги выдает. Лишнего не даст. Да и мы сами не требуем незаработанного.
— Да, денег нынче много надо, — снова заговорила та,

которая рассказывала историю, приключившуюся с товарищем ее брата Николая. — Мне вон на днях девка письмо из Калуги прислала: мамуль, пишет, купила штаны, как их, тьфу, черта в стуле, бананы, вот... Штаны эти заграничные, а заграничное, известно, все дорого. Что ж, пошла, с книжки сняла двести рублей как одну копеечку. Выслала телеграфом, заразе малахольной.
— У, врагова сила! — вздохнула, терпеливо дослушав рассказ соседки по нарам, бабка Федосья Громова. — Это ж что, выходит, все две тысячи за одни штаны?
— Каких две тысячи?
— По-старому если, так две тысячи и есть.
— А, по-старому! По-старому давно уж не живем.
— То-то, что не живете. Позабыли старые заветы. Все позабыли. И имена свои скоро порастеряете, и отчества перезабудете.
— Позавчера и послала. А теперь и не знаю, получила ли. Деньги-то немалые.
— Видно, получила уже. Чего ж, раз телеграфом. Это теперь скоро делается. Не скоро заработаешь такие деньги, а тратить... Шлык, во — и нету!
— И что за штаны такие дорогие? Заграничные. Вера, ты не знаешь? Ты у нас тоже модная. А?
— Обыкновенные, — ответила Вера; она была рада, что ее окликнули, что теперь можно поговорить, посмеяться вместе со всеми и не думать ни о чем. — На «молниях». Как джинсы, материал такой же, только книзу заужены. Очень модные.
— Это ж какие, как у киномеханика нашего?
— Да.
— Тьфу! Срамота! Это ж что она, зараза малахольная, в линючих штанах по городу ходить будет? Ой, мамушка моя родная!
— А ты думала, — поддела соседку бабка Федосья Громова, качнув своим профилем, будто отпечатанным на бледных занавесках, — что твоя Любка теперича нарядная, как княгиня египетская будет?
Все рассмеялись. Но старуха не поддержала мир.
— А ты ей поболе посылай, — сердито сказала она, дождавшись, когда смех поутих немного; похоже, ей действительно было жаль денег, потраченных на такую пустую, по ее мнению, покупку, денег, пусть и чужих, но ведь заработанных, уж она-то знала, каким нелегким трудом. — Вот они и приучаются смальству не считать

материну-то копейку. Мы тут хрип гнем на сенах да на посевных, пыль глотаем, такие измывательства от директора терпим, а они все наше наработанное на заграничные штаны и спускают.

— Ой, баба Федосья, будет тебе жаловаться. Ты и Паукова не больно-то бопшься, и сыпам своим тоже, поди, шлешь.

— Сыны мои сами хорошо зарабатывают.

— Ну так внукам?

— Шлю! Шлю, врагова сила! И я шлю. Такая же дура, как и вы. Истинно ж сказано: что в людях ведется, то и нас не минует.

— Рассовали своих сынов за городских свиристелок, — сказала Санечка Крылатка, опять нарушая согласие, установившееся было среди говоривших. — Кормите теперь, не гундите. То-то б сейчас народу было в совхозе! Глядишь, и Хутор бы не разорился. И сами бы хуторцы свои сена косили да метали.

— Это ж ты, Сань, у нас такая героиня. Все в городах своих поприткнули, а ты из города мужика притащила. Все — из дому, а ты — домой. Надо Паукову ходатайство написать, чтобы, значит, к премии представил. По всем швам достойна.

— Бабка Федосья, так ты и не рассказала, как вы раньше гуляли.

— Гуляли. Был конь, было и поезжено. По дворам не сидели.

— Так расскажи, баб Федос.

— Мы гуляли — по чужим деревням не хлындали. Тогда девке в чужую деревню пойти — все равно что к жениху в сваты поехать. Женихи все к нам шли. У нас в Крисанове-Пятнице девок много было. Ой, много! А ребят еще больше. Это уже потом — война за войной, война за войной. Всех женихов да мужиков молодых повыкосило. Тогда, девки, гармонист в каждом доме был. На гульбище-то не только парни да мы, девки, ходили, а и мужики молодые, и бабы-молодки. И гармонист гармонисту рознь: у одного гармонь голосисто-заливиста, а у другого рубаха хороша! А что до девок, то наши крисановские девки на всю округу славились. Самолучшие невесты были. И певуньи, и рукодельные, и работящи, и так хороши.

— И правда, тет, и правда, — поддакнули бабке Федосье Громовой сразу несколько голосов.

— Как же, девк, не правда? Все истинная правда. Гладкие да здоровые, верткие, не ленивые. Везде хороши — и на лугу, и на перине. Даром, что ли, ребята наши крисановские кольями бились за нас с борковскими да александровскими женихами.

— Неужто и правда дрались так жестоко?

— Ты, девка, будто только нынче на свет народилась. А сейчас они что, не дерутся? Только раньше — из-за невест, а теперь от дурости. Нехристи, врагова сила. — Бабка Федосья Громова высморкалась и принялась рассказывать дальше; теперь, похоже, сон и ее не одолевал больше. — Женихи-то наши крисановские что делали: деревню опахивали, чтобы невест на сторону, в чужие, стало быть, деревни, не увозили.

— Это как же опахивали, баба Федосья?

— Ах, господи, вам все в диковинку. Дожили. А опахивали, милые вы мои, так. Берут плуг конный, а либо соху, та полегче, и вот от околицы округ деревни ведут борозду. Ведут, ведут да приговаривают.

— Какие ж слова приговаривали, баба Федосья?

Спрашивали все молодые, видно, понравилась им старухина сказка. Бабы тоже лежали молча, и им хотелось послушать про молодость матерей и отцов своих. И Вера тоже слушала. Сон совсем отступил.

— Какие, девоньки, слова? Дай-то, бог, память. Ой, ты, рубеж-бороздушка, ты тянися-лети по лугам, по полям, по топким болотам. Ты замкни, борозда, нашу Пятницу. Замкни накрепко, замкни наглухо. От чужого глаза, от чужой руки. Та повейся да повейся ветром во поле, облети-лети луга перепелкою, а в болотах проползи ужом... И другое что-то приговаривали, да разве ж упомнишь все? Кто на что горазд был, тот то и плел. Молчать нельзя было, заговор не подействует. Паши и приговаривай, во всю бороздушку, от околицы до околицы.

— Что ж они, на коне, что ли, борозду ту пахали?

— Эко тебе, на коне! — Бабка Федосья Громова засмеялась хриплым смехом. — На коне, милыи, нельзя, заговор не подействует. То-то и оно-то, что сами впрягались. Сами, соколы ясные. Тогда ведь народ крепкий был, не чета нонешнему. Вон войну какую выдюжили.

— И что же, неужто действовало?

— А как же не действовало! Действовало. Вон сколь вас нарожали крисановским мужикам! Как же не действовало. А как было: отгонят наши драчуны борковских

да александровских за речку, мосток разберут, сторожей оставят, а сами разделятся на две ватаги и — одни на гульбище, к нам, а другие — за плугом. Мы гуляем, песни поем, пляшем под гармоню, а они тем часом, врагова сила, опахивают нашу волюшку.

— Что ж, вы и не знали, что они опахивают?

— Не знали, девонька, и не ведали, милая. А потом-таки дознались. Дознались мы это, зло нас взяло, из чужих-то деревень тоже ребята хорошие приходили, ага, и давай тые борозду запахивать.

— Как же ее запашешь, баба Федосья?

— А вот послушайте, милыи. Выследим мы это, значит, пахарей наших, подождем и следом борону тащим. Лямки приделаем, впряжемся вдвоем-втроем, кто посправнее да у кого интерес большой есть, и волокем, по́том обливаемся. И, верите, в поле так работали.

— И что ж, баба Федосья ночью все это было?

— А то когда ж? Ночью, милая. Днем-то тятька в другую борону впрягал.

— Ох, и страшно ж, видать, было?

— А как же, и страшно. И боле всего страшно, что ребяты про наши дела прознают. Да и так страшно. Ну-ка по болотам да по подгоречью. Как же не страшно? Страшно. А они еще, женихи-то наши, глы-ыбок-кую, врагова сила, борозду, бывало, ломят! Раз так прем свою борону, а попереди в кустах что-то мякнуло, вроде как вздохнул кто, так мы, дуры толстопятые, ни слова не сказавши, покидали лямки, подолы подхватили — и пошли кивать ягодицами. Ох, уже ж и бегли, уже ж и потрясли своими мялками! Возле дороги только и образумились. Юбки мокрушшия, хороши, и говорить нечего.

Чегой-то ты, спрашиваю Лушу Ковалиху, покойницу, царство ей небесное, не лихом будь помянута, ага, спрашиваю ее это. Мол, что ты, Луш, врагова сила, ошалела так, как все равно овечка благая по болоту шастнула? А она мне тем же медом по губам: а ты, говорит, чего же? Сама, говорит, как благая овечка летела. Луша, та передом бегла, так стежку нам и торила, только хряск стоял. А Фекла, вон, Санечкина тетка, Тетериха, та как захохочет, как задавится, ухватила так-то нас да и повалила. Луша вережжит под ей, не скоро, видишь, образумилась, боле всех напужалась. Вот уже ж и хохотали мы, вот уже ж катались! Поднялись, что делать, надо ворочаться, борону искать. Пошли. А все одно страшно. Друг дружку

так-то вперед толкаем. Говорим шепотом. Идем. А навстречь — так-то по стежечке ребяты наши. Галин вон дед, Фрол, да еще двое, не то трое. Фрол, тот, видать, у них за атамана. Ох, и боевой же Фролка парень был! Ох, и блазень же! Галюш, ты не спишь, детка? — спросила вдруг, прервав рассказ на самом интересном месте, бабка Федосья Громова, так что кто-то, настроившись на более-менее однообразный хрипловатый рокоток старухиного голоса и еще, видать, придремав немного, даже ойкнул испуганно.

— Не сплю, баба Федосья, — отозвалась девушка. — Слушаю.

— Слушай, слушай, девонька, слушай, милая. У бабки Федосьи сказки хорошие, не придуманные. А луна такая ясная над деревней, хоть гладью вышивай. Если б такая-то луна нынче, то и косить бы можно. Посмотрели они на нас и говорят: чтой-то вы, девки, как все равно снопы вязали? Так на смех нас и подняли. Тогда Фекла вперед выступила — востра на язык-то была, ох, востра! — и говорит им: мы-то что, а вот вы, ребяты, а в особенности вот ты, Фролушка, как все равно с пахоты. Переглянулись наши женихи, потоптались, как гусаки, на стежке и пошли себе молчушко.

— И что же, баба Федосья, так и не узнали они, что вы борозду бороной заравнивали?

— Как же не узнали! Тоже не лыком шиты. В другой-то раз мы новый наряд с бороной спровадили. Так они, окаянная сила, подкараулили их возле Скворцова леса, выскочили, выпугали и ну по кустам гонять! Кого поймали, кого что. То-то разговору потом было! А борону нашу они, врагова сила, на дуб заперли. Вот вам, дескать, чтоб нашу борозду не трогали. Так она там и догнила, на дубе. Раньше бороны деревянные были, только клецы железные.

И долго еще рассказывала бабка Федосья Громова, а они все слушали и слушали, пока сон не сморил их.

Утром первыми проснулись мужики. Гришка Менек, на ходу продирая глаза и ойкая от знобкой росы, босиком, в одних джинсах, подошел к раките и ударил шкворнем по подвешенному на куске проволоки черному, источенному ржавчиной лемеху. Лемех был треснут и отзывался нудным, коротким вибрирующим звоном.

После завтрака, который быстро приготовила на газовых плитах бабка Федосья Громова, всем миром вышли на луг.

Запустили косилки. До обеда напластали травы на нескольких гектарах. Солнце поднялось до полуденной черты и остановилось, как привязанное. Ряды скошенной травы взялись коркой, но ее тут же разламывали, разбивали граблями, и тогда сеном пахло так, что у людей першило в горле. Там, где не проходили трактора, траву выкашивали вручную и выносили на чистое, где солнце было жарче и вольнее.

Вера работала вместе со всеми. Расстановку сделали еще накануне, а утром все разошлись по своим местам, так что трогать людей было незачем, каждый и так знал, что ему нужно делать.

Часам к шести сено под граблями зашумело. Начали подбивать в валки, чтобы не пересушить.

На другой день к полудню начали складывать первую скирду. Разложили, размахали — сена-то много — такую, что и до вечера не закончили.

Бабка Федосья Громова едва дождалась к столу скирдоправов, налила им вермишелевого супа, заправленного тушеной говядиной, но те за еду взялись не сразу. Легли на траву под навесом и молча курили, поглядывая время от времени на недовершенную скирду. Стояла та на холме за болотом, как дом.

— Ладно, ребяты, не переживайте, завтра довершите. А дождя, даст бог, не случится в ночь. Вон роса какая взошла.

— Довершим, баба Федосья, — сказал кто-то из мужиков, нехотя поднимаясь с остывшей земли: полежал бы еще, покурил, спину расправил, да супу надо похлебать, а то завтра тоже денек будет веселый.

Остальные молча сели за стол, сколоченный из горбыля тут же под навесом, и так же молча и не спеша принялись за еду. Ели медленно, будто бы даже нехотя, даже ложки не гремели. Устали. К такой работе за день не привыкнешь, за одну упряжку не втянешься.

Машина из Крисанова-Пятницы на Хутор пришла только на четвертые сутки. Привезли продукты, кое-какие запчасти для косилок и письма для Веры.

Писем было два, от Николая, она сразу узнала его руку. Только штемпеля на них стояли почему-то не треугольные, как всегда, а обычные, круглые, какие ставят в любом почтовом отделении. Шофер, Мишка Хуланенков, высокий рыжеватый парень, вынул их из нагрудного кармана, протянул Вере и сказал:

— Если хочешь, пиши сразу ответ. Я подожду. Другая оказия когда еще будет. — И посмотрел ей прямо в глаза.

— Правда? Подождешь? Я быстро. Я сейчас, — сказала она и подумала: чего это он в глаза засматривает?

— Да ты не спеши, — остановил ее Хуланенок. — Пока мы с Мендесом ящики разгрузим, пока то да се... Тут вот одних только харчей, считай, полкузова. И неужели вы столько съедите? Так что не спеши.

Модест Изотович тем временем разыскал на лугу Санечку, а Хуланенок стал звать его помочь разгрузить ящики.

Прочитав письма Николая и перечитав их еще раз и еще, Вера решила ответ все же не писать. Ну что она ему напишет — наспех? Как-нибудь в другой раз напишу, подумала. Вот будет время, закончим страду, и напишу, как мы тут косим да стогуем. Вместо письма она набросала в блокноте сводку; столько-то скошено, поставлено столько-то скирд, столько-то примерно тонн будет, то-то и то-то вышло из строя, для ремонта нужно то-то и то-то, больных нет. Вырвала листок и подала его Мишке, сказала, что это сводка и что ее по приезде в Крисаново-Пятницу нужно передать директору.

— А письмо? — не глядя на нее, спросил Хуланенок и подергал рычаг коробки скоростей.

— Потом напишу.

— Что, с мыслями не собралась? — с усмешкой спросил Мишка.

— Не собралась. Тебе-то что? Поезжай. Когда теперь приедешь?

— Когда пришлют.

— Запчасти бы поскорее надо. Я там все написала, что надо.

— Да ладно, привезу, — сказал Мишка, нахмурившись, и Вера заметила, что не больно-то он торопится уезжать. А ведь вначале поторапливал и Модеста Изотовича, и мужиков, чтобы поскорее разгружали, сам потом обливался, а теперь...

Она еще раз напомнила ему про сводку. Хуланенок ничего не ответил. Он повернул ключ зажигания. Мотор не заводился. Тогда он выругался и вылез из машины.

Откинул капот. И, перегнувшись через радиатор, спросил вдруг:

— Вера, а Донец где служит?

— Под Крутогорском, — ответила она, и в груди у нее нехорошо вздрогнуло и потянуло, больно и мучительно. — А что? Почему ты о нем спрашиваешь, Миш?

— Так. Спросил, и все. Что тут такого?

— А ну-ка, посмотри мне в глаза. — Она с силой потянула его за полу пиджака.

— Да подожди ты. Подожди, — сказал он незло, виновато улыбаясь, и отнял ее руку.

— Ты что-то о нем знаешь? О Коле? Ты знаешь что-то о Коле?

— Я же сказал, подожди. На письмах какой адрес пишешь? — спросил Мишка.

— Крутогорский край, воинская часть номер... Да ты же видел обратный адрес.

— Видел. Потому и спрашиваю.

Хуланенок вытер ветошью руки, прибрал в металлический чемоданчик ключи и запасные свечи, завернутые в тряпочку, захлопнул капот и сел на подножку.

— Я вчера в Городке был...

У Веры перехватило горло: знает, он что-то знает о Николае, боже мой, он что-то знает о нем...

— Кассиршу за зарплатой в банк возил. Зарплата вчера была. Ну, пока она там все оформляла и получала, я в столовку заглянул. Соку стаканчик, это самое... Гляжу, солдат зашел. Узнал я его, из Милеева парень. Когда-то в училище вместе учились. Увидел меня, подсел. Что, говорю, только демобилизовался? Да, говорит, неделю, как из Афгана. На Саланге, оказывается, баранку крутил. Это у них там дорога через Гиндукуш в сторону нашей границы. Несколько раз под обстрелы попадал, один раз на мину напоролся.

— Зачем ты мне все это рассказываешь, Миша? — перебила его она.

— А затем, что там он твоего Донца видел.

— Как, видел?

— Так — видел. Как вот ты меня.

— Где?

— На Саланге. На перевале. Я ж говорю, дорога там из Союза через Гиндукуш. Милеевский этот в автобате служил, возил из Союза грузы.

— Какие грузы? Ты что, Хуланенков? Ты соображаешь, что говоришь? Николай служит в Крутогорском крае. Вот его адрес! — Она выхватила из кармана письмо. — Зачем ты меня обманываешь так? Так же нельзя! Ты что?

— Я тебя не обманываю. За что купил, за то и продаю. Я сам вначале не поверил. Лапшу, думаю, на уши вешает мне милеевский, да и сам, может, не дальше Саратова служил. А потом он про тебя начал рассказывать. Видно, Донец ему говорил что-то. Я ему тоже вот так, как ты сейчас мне: она ж, мол, в Сибирь ему куда-то пишет. Липа, говорит. Многие так делают, чтобы родственников не беспокоить, а письма им потом из воинских частей в Афган пересылают. Он, милеевский этот, тоже домой вначале писал, что в Монголии служит. Такие вот дела. — Он посмотрел туда, где гудели трактора, вздохнул. — Может, зря натрепался тебе? А?

Она ничего не ответила.

— Ты вот что, не очень... это... волнуйся. Наши там сейчас помаленьку сворачивают дела, пушки, в смысле, зачехляют.

— Что? — не поняла она. — Что ты сейчас сказал?

— Выводят, говорю, наши войска из Афганистана постепенно. Вот недавно сообщали, что возвратились домой несколько полков. Танкисты и зенитчики. Может, скоро всех выведут. Донец-то кто, десантник?

Она кивнула.

— Ничего, ты, главное, не вешай носа. Скоро, раз начали, и их выводить начнут. Вот удивишь.

— Ты так думаешь?

— А чего тут думать? Все идет к тому. В газетах пишут, по радио говорят, по телевизору показывают, что дела там налаживаются.

— Ой, да хватит тебе! Как же так? Ну как же так? Он же на севере служил. Писал даже, какие там, под Крутогорском, места красивые.

— Служил, может, и на севере, а теперь там, в Афгане. Служба дело такое: сегодня здесь, и сыт, и спишь на белых простынях, и нос, как говорится, в табаке, а завтра черт знает где, и спишь вприглядку, и сухпаек в вещмешке на двое суток, и курить нельзя — не разрешают. Тем более в десантных войсках. Видел я раз на учениях, как они действуют в наступлении — у-у, сила! Да ты, честное слово, не переживай так. Не один твой Донец там.

Глядишь, еще и героем вернется. А что? Он у тебя тихий, тихий, а плечи широкие!

— Ты можешь подождать минут двадцать?

— Подожду. Давай собирайся.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Дорога от Хутора до Крисанова-Пятницы была гиблая. Да и не было ее, по существу, дороги. Была когда-то убогая, разбитая, а теперь, когда Хутор забросили, и того не стало: заросло все частым молодым осинником да березняком. Местами, в лощинах и низинах, колеи расплылись в жирной болотине, лоснившейся даже после недельной жары черными с перламутровым отливом прохудинами среди обширного кочкарника, обросшего густой ярко-зеленой травой. Гиблые те места при нужде кое-как гатили, благо, березняк вокруг рос вольный. Трактора проходили туда, потом пробивались обратно, ну и ладно, ну и до следующего раза. Сено же вывозили зимой, на дизелях, по льду да по снегу. Так что о дороге не пеклись особенно.

Вначале ехали лесом, потом миновали лощину, березы замелькали реже. Стекла в низине зашвыряло жидкой грязью, щетки «дворников» не справлялись, когда снова въехали в лес и дорога пошла поспокойнее.

Долго ехали молча. Ветви деревьев хлестали по капоту и крыльям машины, щелкали по стеклам и, роняя листву, с упругим гулом уносились назад. Пахло нагретым металлом, смазкой. Вера держалась вначале одной рукой, а когда их начало мотать в душной кабине так, что головами они доставали обшивки, нащупала на двери другую ручку и крепко ухватилась за нее.

— Полдороги позади, — вздохнул Мишка, утирая со лба грязный пот.

Вера посмотрела вперед: там показалось чистое, лес кончался.

— Знаешь, как место называется? — спросил Мишка. — Черенка. Деревня раньше была. Мать моя отсюда родом. Говорит, чтобы хоронить сюда привезли. Кладбище еще цело, во-он там, видишь, в березняке на горке. Кресты видны. Там и дед мой, и бабка, все деды и прадеды. Родовой курган. Когда сюда, к вам на Хутор,

ехал, заходил. Листья разгреб, крест поправил. Новый крест надо рубить. Мать просит.

Пошел песок, и машину уже не подбрасывало, не трепало их в кабине, как там, в лесу.

— А зря я тебе, Вер, про Донца твоего трекнул, — снова заговорил Хуланенок. — Теперь я точно знаю, что зря. Вон ты похудела даже.

— Ты лучше на дорогу смотри, — упрекнула его Вера.

— Да тут-то дорога нормальная, — ответил Мишка. — Дорога, сама видишь, хоть боком катись. А вот про Николая я тебе зря... Скоро переезд. Вот там дорожка да-а — фронтовая. Не застрять бы.

И снова, гремя бортами и густо пыля, машина нырнула в вялую тень нагретого за долгий день леса, снова в лобовое стекло хлестанули зеленые, распаренные на жаре, как банные веники на каменке, ветви придорожных деревьев, снова Вера ухватилась за металлические ручки.

— Ты только назад меня потом... Ладно, Миш? Чтобы сегодня же в бригаду. Чтобы вовремя...

— Надо вначале проскочить туда.

Они подъехали к переезду через Вертун. Когда-то, когда жив был Хутор, здесь стоял мост. Потом настил его прогнил, обвалился, бревна занесло песком и илом, и только черные сваи, дубовые, стянутые коваными обручами, торчали тем порядком, который когда-то давным-давно определили им хуторские и черенские строители, никак не предполагавшие, что их на совесть сработанная и на долгие годы рассчитанная постройка придет в такой унылый вид.

Объезд был рядом. Две занесенные илом колеи темнели на дне.

Вот тут-то, на переезде, и застряли они, возвращаясь из Крисанова-Пятницы на Хутор после того, как Вера около часа просидела возле телефонного аппарата, но так и не смогла дозвониться до Милеева — где-то возле Городка была порвана линия связи... Мишка Хуланенок взял немного правее глубоко прорезанной колеи, и колесо, шедшее по целику почти на ощупь, неожиданно стало проваливаться, машина вздрогнула, накренилась на правый бок, будто свалилась с настила. Мишка переключил скорость, рванул было машину назад, но было уже поздно, она осела так сильно, что лопасти вентилятора стали цеплять воду. Мотор заглох.

— Все, приехали, — сказал Хуланенок и, сняв ботинки, засучив штанины, спрыгнул в воду.

— Ну? Что там? — спросила Вера, все еще надеясь, что это всего лишь минутная, ну в крайнем случае получасовая задержка, что Мишка сейчас решит, как быть дальше, что-нибудь придумает, заведет заглохший мотор, побуксует немного, и они поедут.

День таял, солнце уже цеплялось за верхушки берез и расстилало по луговине длинные косые тени.

— Что, застряли? А, Миш? — не дождавшись ответа, снова спросила Вера и вздохнула беспокойно: а ведь обещала Ивану Прокоповичу вернуться до наступления вечера.

— Дело дохлое, — ответил Хуланенок откуда-то снизу, из-под накренившегося набок борта. — На мосты сели.

— Это серьезно?

— Вполне. Надо ж, хотел по бровке проскочить, а тут — прорва.

— А может, еще побуксовать? — осторожно спросила она.

— Попробуем, — согласился Мишка. — Все равно другого выхода нет. Только вряд ли выберемся.

Хуланенок поднял сиденье и вытащил оттуда обмотанный ветошью топор.

— Вера, ты это... — Он махнул топором за переезд. — Иди. К вечеру как раз до Хутора дойдешь.

— Неужели так безнадежно засели?

— Похоже, что основательно.

— А как же ты?

— Побуксую еще. Может... Веток пойду нарублю, под колеса положу. Надо же! Иди по дороге, никуда не сворачивай. Вылезу — догоню. Или одна боишься?

— Давай помогу. Ведь все из-за меня.

Она наклонилась и подхватила один из березовых кольев, которые в охапке тащил к машине Хуланенок. Тот ничего не сказал, только посмотрел вслед.

Они нарубили, натаскали кольев, веток, подсунули все это под задние колеса. Но выбраться из ручья так и не смогли. Вначале машина вроде бы подалась немного вперед, правый бок стал подниматься, но потом вдруг осел еще ниже, и, когда лопасти вентилятора снова начали бить по воде, Мишка заглушил мотор и выругался. Вот тогда-то Вера окончательно поняла, что он не придумает уже ничего, что машину так просто из этой трясины не

вырвешь и что вернуться на Хутор до окончания работ она уже не успеет. Вода стала затекать в кабину, откуда-то выплыли и закрутились под ногами ржавые окурки, грязные куски поролона, сенная труха.

Мишка открыл дверцу кабины, нащупал босой ногой залитую мутной водой подножку, встал на нее, прислушался.

— Невезуха полнейшая. За трактором надо идти. Сами теперь уже точно не выберемся.

Поднялся ветер, нагнул верхушки берез и погнал по воде зябкую рябь. Но вскоре утих, словно вздохнул, окинул взглядом свои владения и замер, и все потонуло в вязкой лесной тишине. Только вода позванивала под ногами да птицы возились в ветвях деревьев, будто дня им было мало.

— Все из-за меня, — снова сказала Вера.

— Да ладно тебе. Ты за меня не переживай. Не в таких передрягах бывали.

— Ну как же...

— Да и вообще — не переживай.

— Солнце вот-вот зайдет.

— Да, на Хуторе, видать, уже закончили. Ужинают. Без начальства пораньше.

— У нас в бригаде на начальство не оглядываются. Работают и работают. Да и Иван Прокопович, если к тому дело пойдет, не позволит.

— Это что у вас, как при коммунизме, — работают и работают?

— У нас, как у нас. По совести работают.

— Вот я и говорю, что как при коммунизме. Хотя совесть разная бывает.

— Разная, — согласилась Вера и спросила: — А до Крисанова-Пятницы сколько отсюда?

— Столько же, сколько и до Хутора. Полпути. Знаешь, как место это называется? Половитное.

— Половитное? Тоже, что ли, деревня когда-то была?

— Нет, деревни не было. Просто зовут так — Половитное. — Мишка сел за руль, вытащил ключ зажигания, сунул его в карман. — А может, когда-то и была. Когда меня еще и на свете не было. Раньше деревень тут много было. Много народу вокруг жило. А теперь на помощь позвать некого.

— Выморочная земля, — сказала Вера, глядя через стекло на пологий склон, на сростки берез, вольно белев-

ше там и тут, на ровную отвесную стену леса поодаль. Она вспомнила ночной разговор в агафоновском доме, таком прочном и таком сиром теперь.

— Что ты сказала? — спросил Мишка.

— Земля, говорю, без наследника осталась. Сиротой.

— Почему без наследника? — вяло возразил Хуланенков, видимо, он и сам верил в то, что говорила Вера.

— А потому, что вот раньше здесь люди жили, хозяйствовали, а теперь не живут. Потому что сиротство — это не только когда родителей надежных нет, но и когда — детей.

— А, да, ты права. Никто не поможет. — Мишка ударил кулаком по баранке и, увидев в руках у Веры радиоприемник, спросил: — Средневолновый? Включи, музыку послушаем. Подумаем, что дальше делать.

— На, включай сам. У меня нет настроения.

Она протянула ему маленький радиоприемник. Мишка торопливо вытер о рубашку руки и долго с интересом рассматривал его. Потом покрутил колесико: щелкнуло, зашипело, и за облаком помех послышались знакомые позывные «Маяка».

Передавали сводку погоды. Они молча прослушали ее.

— Как ты думаешь, — спросила погодя Вера, — почему нарушилась связь?

— Кто ее знает? Может, траншею где копали и кабель перервали.

Мишка настроил радиоприемник и положил его Вере на колени.

«Как сообщило сегодня агентство Бахтар...» — послышался голос диктора.

— Тихо, из Афгана передают. Во, слышишь? — Мишка схватил Веру за локоть.

Вера замерла, в горле у нее сразу пересохло, защипало.

«...в провинции Кандагар отряды самообороны совместно с подразделениями из ограниченного контингента советских войск в Афганистане ликвидировали крупную банду душманов, долгое время бесчинствовавших...»

— О, господи! Когда же это все кончится! — вздохнула Вера. Слезы подступили так близко, что, казалось, ничто уже не удержит их. Но она все же взяла себя в руки.

«...а также большое количество стрелкового оружия американского и английского производства. Новости культуры. В Париже открыта выставка картин известного русского советского художника...»

— Вот видишь, — сказал Мишка Хуланенок, — поприжали там наши ребята басмачей. Глядишь, порядок наведут — и домой.

— Слишком долго наводят.

— Что ж ты хотела, у них там революция. А революции скоро не заканчиваются. У нас, в России, как было: революция, потом другая, потом гражданская война на несколько лет, да еще интервенция.

— Ты что, ночевать здесь собираешься? — спросила вдруг Вера.

— А что? Боишься?

— Не боюсь. Кого мне бояться? — Вера посмотрела на Мишку так, словно хотела сказать: ну, не тебя же бояться. Но сказала другое: — За трактором надо идти.

— Успею. До утра времени еще ого-го! Я вот думаю: припрусь сейчас на Хутор, а ребята усталые...

Пока собирались, пока решали, что делать дальше, совсем стемнело. Верхушки деревьев, казалось, еще выше поднялись над оцепеневшей землей, ушли в небо, замерли. Птицы, накричавшись и навозившись, слетели в подлесок и тоже уснули. Только филин ухал где-то неподалеку.

— Куда же мне ему теперь писать? — сказала Вера, когда они отошли уже с километр от переезда; похоже, вырвалось это у нее случайно — подумала и сказала. И Мишка Хуланенок это, видимо, понял, потому и ответил не сразу.

— Куда-куда... Куда писала, туда и пиши. Перешлют. Раньше пересылали и теперь перешлют. Значит, у них там эта система отработана.

Мишка Хуланенок шел впереди, она следом. Из лощин на дорогу наползал туман. Холодная болотная влага, будто изморось, оседала на одежду и лица. Приторно и сильно пахло какими-то цветами. Но вот вышли на открытое, дорога твердела, белела, и здесь было тепло, даже душно. Кое-где, в траве, в придорожных кустах, все еще всхлипывали, перещебетывались птицы, но уже не так заполошно, как на закате, устраивались на ночлег.

Вера вспомнила разговор с Санечкой Крылаткой и, чувствуя, что вот сейчас, в эту самую минуту, между нею

и Мишкой Хуланенком исчезла какая-то преграда, спросила:

— Что ж ты Таню обижаешь?

Мишка хмыкнул и остановился. Он остановился так неожиданно, что она налетела на его плечо, туго обтянутое пахнущей потом и бензином рубашкой, и отскочила назад, испуганно охнув. Еще днем она разглядела на нем эту заношенную донельзя одежду и подумала, что за такую рубашку Николай ей бы выговорил.

Но Мишка ничего такого не подумал. Видимо, сильно уязвила она его своим вопросом. Кашлянул в кулак. Спросил:

— Тебе это очень интересно знать? Или так, к слову пришлось?

— Я тоже женщина, вот и спрашиваю, — сказала Вера, чувствуя, как горячая волна заливает шею и дергающим шумом отдается в висках.

— Нету любви у нас, — сказал Мишка. Он сказал свои слова не сразу. Он вообще говорить не торопился. И потом долго молчал. — Ладно, пойдем. Нашли о чем говорить. Вон уж смерклось совсем, не видно ни черта.

Я совсем не умею разбираться в людях, подумала она с досадой.

Плоть больше не будила ее долгими бессонными ночами. Вера заметила, что что-то в ней такое произошло, и она уже не боялась так, как прежде, как всего несколько ночей назад, сладких и волнующих грез, которые зарождались не в сознании, а где-то в потемках бунтующего тела.

— А у тебя с Донцом как, с любовью? Или тоже так, по привычке? — неожиданно и довольно грубовато спросил Хуланенок.

Он снова остановился перед ней, и она, как и в первый раз, отступила от него и испуганно метнулась по сторонам взглядом: если сейчас начнет приставать, что я смогу с ним поделать? Нет, подумала она в следующее мгновение, уже успокаивая себя, Мишка не позволит.

— С любовью, — ответила она и почувствовала, что тот ей не поверил, потому что услышала, как он хмыкнул. А потом долго ничего не говорил, шел молча, словно минуту назад его решили провести, а он обо всем догадался, но пока помалкивал.

— Значит, любишь своего Донца? — зачем-то переспросил он погодя, и она вдруг поняла, зачем.

— Да, — сказала она, уже зная, как сложится их разговор и чем все кончится.

— Любишь... А с корреспондентом зачем же?

— Что? Что с корреспондентом?

— Что... — усмехнулся Хуланенок.

— Ну? Договаривай, раз начал.

— Не кричи. Раскричалась... Разве ничего?

— Чего... Ничего... Эх, ты! Бабьи сплетни собираешь. Знать бы мне, кто ж это обо мне слухи распространяет.

Он остановился. Но Вера на этот раз прошла мимо, и ему не оставалось ничего другого, как пойти следом. Всю остальную дорогу до Хутора Хуланенок молчал. А она думала о том, что ее вина уже в том, что дала повод для сплетен.

Вера вспомнила, как однажды перед свадьбой поехала домой, к матери в Курск. Как всегда, купила билет в купейный вагон. Поезд отправлялся ночью. Она оказалась в одном купе с мужчиной лет сорока. Она запомнила его. У него были аккуратно, как на витрине парикмахерской, подстриженные и уложенные густые волосы, отливающие синевой, карие глаза с каким-то нездоровым маслянистым блеском и большие волосатые руки. Особенно почему-то запомнились руки. И еще черные волосы, торчащие из-под белоснежных манжет рубашки. Он церемонно поклонился, улыбка блестела на его полных подрагивающих губах, и представился не то Аркадием, не то Аликом, и сразу принялся ухаживать за нею.

Поезд мягко поплыл вдоль перрона, мимо закрытых киосков, привокзальных построек и, поскрипывая и стуча на стыках, стал набирать скорость. Никто к ним в купе больше не сел ни сразу, ни потом. Аркадий, или Алик, достал коньяк, завернутую в фольгу тонко порезанную осетрину, какие-то другие изысканные яства, чуть ли не насильно усадил Веру за столик, когда она попыталась отказаться. Тогда Вера попросила проводницу принести чаю и взяла со столика бутерброд с ветчиной. Аркадий, или Алик, долго и навязчиво предлагал ей коньяк, но, видя, что она без особого восторга восприняла все его ухаживания и что дорога обещала быть скучной, пробормотал что-то, Вера не поняла, что именно, поняла только, что не по-русски, выпил подряд две рюмки и улегся спать. Она разобрала постель, погасила свет и тихо, чтобы не разбудить явно обиженного и, к ее удовлетворению, уже захрапевшего соседа, забралась под простыню.

В поездах Вера засыпала крепко и сразу. Так было и в этот раз. Но вскоре она очнулась от резкого металлического щелчка. За окном мелькали фонари, видимо, поезд шел мимо какого-то полустанка, и она при свете их увидела своего соседа, нагнувшегося у двери, и сразу поняла, что тот запер дверь. Она невольно натянула на себя одеяло. Тот, не меняя позы, пристально смотрел на нее. «Ты что, дядя?» — прошептала она, чувствуя, как страх проникает вовнутрь и сковывает всю ее. В следующее мгновение, она даже не успела ничего сообразить, он нагнулся к ней, сорвал одеяло, обхватил за плечи, придавил к матрасу... Ну, все, подумала она тогда, ошеломленная и беспомощно распластанная, сейчас всю изломает, истерзает. Закричать? Но кто услышит? Кто придет?

И тогда она решила пойти на хитрость: кое-как поборов страх и отвращение, она высвободила руки, запустила пальцы в его густые жесткие волосы, погладила затылок, изображая искушенность видавшей виды женщины, и, выждав мгновение, зашептала: «Не спеши, дядя, а то все испортишь. Мне надо сходить... Ты полежи тут, а я сейчас, я скоро...»

Похоже, вначале тот немного растерялся, возможно, что-то почувствовал, какую-нибудь фальшивину в ее голосе. потом придавил еще сильнее, и Вера подумала: нет, не отпустит, надо кричать, биться головой о стенку, кусаться, брыкаться ногами, попытаться вырваться и открыть дверь. Но Аркадий, или Алик, вдруг разжал руки, сунулся еще несколько раз влажными губами в плечо и шею, вздохнул протяжно и сел рядом. Она неторопливо, насколько это было возможно для нее в ту минуту, опираясь на его плечо, встала. Она понимала, что сейчас все нужно сделать так, чтобы он не почувствовал ничего, кроме того, что она согласна, что она сама хочет э т о г о и что через несколько минут она придет. Когда она встала, ноги держали ее с трудом и сильно дрожали. Он обхватил ее снова. «Я жду с нетерпением, крошка моя. Умница моя. И не сомневайся, я отблагодарю тебя так, как тебе и не снилось. Не пожалеешь. О, какая ты хорошенькая!» Наконец он отпустил ее. Свет в коридоре был приглушен. Нужно, решила она, найти проводницу и все рассказать — пусть принимает меры. Купе проводников оказалось запертым. Она постучала в дверь вначале тихо, потом сильнее. Никто не открывал. Вера подождала

еще немного и, оглянувшись, ушла в другой вагон и просидела там до утра.

Потом, уже прошло тому полгода, а может, и побольше того, она все же рассказала о своем дорожном приключении Николаю. Тот буквально взбесился. И тогда она решила впредь не говорить мужу ничего такого.

— Ну, вот и пришли, — услышала она за спиной голос Мишки Хулапенка; шаги его уже не так торопливо и громко гремели в ночи. — Огней-то вон уже нет. Спят.

Хутор спал, утонув в тумане, поднявшемся из болота. Дома проступили из темноты брошенными посреди дороги черными глыбами и казались нежилыми.

— Будить ребят неохота. Ну как их будешь будить? Прокопыч разгундится. Мораль начнет читать.

— А мы и не будем их будить, — сказала Вера. — Ложись спать — там у них нары свободные есть. А завтра утром я пошлю Гришу. Утром и вытащите машину.

— Да нет, так не пойдет. Мне все же домой надо заехать. А утром — в Городок. За шифером. Я ж тебе говорил. У меня уже и путевка выписана. Надо ехать.

Вера подошла к окну, постучала в нижнюю шипку. Шипка задребезжала, и Вере показалось, что она вот-вот вылетит. Она даже придержала ее пальцами. Никто не шевельнулся там, за непроницаемым окном, как они ни вслушивались, никто не отозвался. Не отозвались и минуту спустя, и после.

— Знаешь что, — сказала Вера. — Заводи Гришкин трактор. Я с тобой поеду. Вытащим твою машину, трактор назад я пригоню сама. Я на нем уже ездила.

Вскоре Мишка Хулапенок завел трактор. Вера забралась в кабину, села рядом, и они поехали к переезду. Ночью, в свете фар, дорога казалась однообразной и, наверное, потому более утомительной и долгой, чем днем. Вера держалась за спинку сиденья и напряженно смотрела вперед, на белую дорогу, вьющуюся под черными неподвижными сводами деревьев, на ослепительные хлопья летящей навстречу мошкары. Иногда все пропадало, исчезало куда-то, будто трактор, а с ним и они беззвучно ныряли в черную воду, и Вера вскидывала голову и, чувствуя боль в шейных позвонках, будто за ворот плеснули кипятком, понимала, что засыпает с открытыми глазами. Оказывается, чтобы не уснуть, мало просто найти силы не закрывать глаза. Вот она не закрывает, и сил хватает не закрывать, а зрение само отключается — и трактор,

и Мишка, и белая дорога впереди, и мошкара в свете фар, и она сама нырнют в черную воду. Теплую, липкую.

Вера очнулась оттого, что в кабине больше не швыряло, что расслабленное, вконец обессиленное борьбой со сном тело удобно привалилось к прохладной обшивке, а вокруг стало тихо. Вначале Вере показалось, что с нею что-то случилось, уши заложило, что ли? Потом встрепенулась:

— Приехали? Уже приехали? Половитное?

На приборной доске горела лампочка. Ее подслеповатый, ослабленный треснутым зеленым плафончиком свет брезжил в кабине, Мишка посмотрел на Веру, вздохнул.

— Половитное, — ответил он и засмеялся.

— Ты чего?

— Так, ничего. Говорила, что не уснешь, а сама спеклась, как блин в постном масле. — Он открыл дверцу; сразу толкнуло свежим, прохладным ночным воздухом, легче стало дышать. — Даже вон лоб где-то измазала. Нигролом. И где ты его только нашла?

Мишка по-прежнему говорил медленно и все усмехался. Должно быть, подумала Вера, и ему не меньше, чем мне, хочется спать. Хочется. Конечно, хочется. Не железный ведь. Да и голодный. Каши бы сейчас. Бабки Федосьиной каши. Гречневой. Холодной. Без хлеба.

— Ну как, проснулась? — спросил Мишка.

— Проснулась, — ответила Вера.

— Тогда садись на мое место. Заводи и потихоньку сдавай назад. Только в воду не заезжай. Там с краю топко. Заедешь — хана. Поняла? Давай, действуй. Я — за тросом.

Мишка спрыгнул вниз и, выглянув из темноты бледным усталым лицом, сказал:

— Я накину трос, а ты подашь немного вперед. Когда трос натянется так, чтобы не соскочил, притормози. Сумеешь так?

— Сумею. Невелика мудрость.

— Ну, гляди. Вот сейчас и узнаем, какой из тебя тракторист. А тащить я сам буду.

— А я?

— Ты в машину сядешь. Руль вывернешь влево и газ на всю.

Вначале все шло хорошо. Мишка пересел в трактор, включил оба моста и полегоньку, качками, начал тащить. Машина подалась метра на три вперед. Но потом трактор начал зарываться задними колесами в рыхлой разъезженной колее. Вера выворачивала руль, давила акселератор, машина послушно отзывалась надсадным ревом мотора, она делала все так, как велел Мишка, но ничего не получалось. Было видно, как впереди вздрагивала, белея в напряженном свете фар, тетива троса, как с нее веером осыпался белый иней грязи и воды и как трактор, оседая с каждым мгновением все ниже и ниже, выбрасывал протекторами задних колес черные ошметки влажной земли, а передними беспомощно елозил то в одну, то в другую сторону, как провалившийся в полынью конь. Мишка отцепил трос, выгнал трактор на целик, снова накинул петлю троса на крюк и снова начал рвать машину из трясины. Снова колеса трактора гребли рубчатыми протекторами черную пойменную землю, и машина немного продвинулась вперед. Через полчаса трактор неожиданно заглох.

Вера убрала ногу с педали — мотор заработал на малых оборотах — и высунулась из кабины. Машина стояла в каких-нибудь двух-трех шагах от берега, здесь было не так глубоко, как на середине, и лопасти вентилятора уже не били по воде. Машину все-таки не смогли вытащить на колею.

Пришел Мишка, захлопнул за собою дверцу и закурил.

— Ты чего? — спросила она.

— А ничего. Все, отбуксовались. Солярка в баке кончилась. Вот гадство так гадство! И как я не посмотрел, когда выезжали из Хутора? У него ж там все приборы работают, все показывают. А я не посмотрел.

— Что ж теперь делать?

— Ничего. Вот теперь ничего не надо, — спокойным голосом ответил он. — Ночевать будем. Переночуем, а там... У меня в кузове брезент есть, я сейчас залезу, подам тебе его. Вода ушла, сухо. Завернешься, согреешься и будешь спать не хуже, чем на нарах на Хуторе.

— А как же ты?

— Ну, не спать же мне рядом с тобою, правда?

Он сделал очередную затяжку, и Вера увидела на его губах усталую усмешку.

— Знаешь, Миша, я сама пойду в трактор. Так будет справедливо. Виновата во всем я, и я страдать больше должна.

— Да перестань ты. Какие ж это страдания? Это, Ве-

ра, не страдания. Это так, неудобства временные. Ты будешь спать здесь, — в голосе его появилась та твердость, возражать которой Вера просто не решилась. И все же она сказала ему:

— Брезент возьми. Мне, правда же, и так будет хорошо.

— Ничего, Вера, пробьемся. Кому-нибудь сейчас, возможно, и похуже нашего.

Вера кое-как расстелила на сиденье пахнущий солидолом и хлебом брезент, легла, завернулась в него, как советовал Мишка, подоткнула уголки, стало сразу действительно тепло, и попыталась уснуть. И вдруг поняла, только теперь поняла, что тот давеча сказал ей о Николае. Он сказал: «Кому-нибудь сейчас, возможно, и похуже нашего». Значит, Мишка понимает, что я о Николае думаю. И чувство досады за случившееся смешалось сразу с чувством благодарности к этому парню, которого она почему-то всегда сторонилась, избегала встреч с ним, разговоров.

Вера просунула из-под брезента руку, нащупала под боком у себя приемник и включила его. «Маяк» передавал концерт скрипичной музыки.

Она покрутила колесико, ничего хорошего в эфире больше не было. В эфире было так же пусто и одиноко, как сейчас на дороге, посреди которой они так глупо застряли.

— Сколько же можно, господи! — вслух подумала она и хотела было поплакать, тихонько, в тепле пахнущего солидолом и хлебом брезента, поплакать, как в детстве, как во сне, но услышала, как стукнула дверца кабины трактора на берегу.

— Миша! Иди в кабину, сюда, а то простудишься! Слышишь?

Но никто не ответил ей с берега, будто там никого и не было.

Она подумала: это ничего, что у трактористов вся одежда пропитана разными смазками, что если бы она была трактористом, то и у нее была бы фуфайка, как у Ивана Прокоповича. Но мысль рвалась, как нитка в усталых неловких руках, и она уже думала о другом, потом перескочила на третье, на четвертое. Это состояние длилось недолго, и она опрокинулась в пропасть сна.

Вере показалось, что она еще не долетела до дна, она даже не успела подумать о том, что, какое же это надувательство и издевательство — купила билет, полетела, а дальше-то что? Почему нет покоя? — когда ее довольно грубо стали тормошить за плечо.

— А! Донцова! Вот ты где! А ну просыпайся! Да просыпайся же, черт тебя возьми! Ты что, пьяная, что ли? Дон-ц-цо-ва!

— Иван Николаевич? Это вы? — засипела она спросонья.

— Да, я. Разве не видишь? Что, не вовремя? Х-ха, работнички! — орал Пауков.

— Иван Николаевич, простите меня, — залепетала она. — У меня муж в Афганистане. Я хотела поехать... Я только вчера узнала, что Николай там. Там, понимаете?..

— Николай Донцов — в Афганистане? Какую чушь ты несешь. Нам бы сообщили.

— Кому это — нам? — наконец стала оправляться она от замешательства.

— Нам! На-ам! И вот что: не пытайся уйти от ответственности. Безобразие! Бросить бригаду в такое горячее время! Что ты здесь вообще делаешь?

— Будто не видите. Застряли. К тому же я бригаду не бросала. Там Иван Прокопович, там все идет так, как нужно. Да отвернитесь же вы, мне нужно встать!

— Нет, это просто преступление! — рявкнул Пауков и с силой захлопнул дверцу, так что металлической скобой ручки Веру больно ударило по руке.

— Я вам повторяю: бригаду я не бросала. — Голос у Веры западал, в горле пересыхало, першило: она почувствовала себя загнанной в угол, откуда выход только один — вперед, напролом, или нет его вообще. — Я прошу вас выслушать меня и потом делать выводы.

— Выслушать... Что мне тебя слушать? Я все вижу.

— Я же сказала: Николай в Афганистане. Я вчера только узнала. Совершенно случайно. Хотела позвонить.

— Ты мужем не прикрывайся! Как тебе не стыдно! Там!.. — Пауков указал рукой за переезд, где стоял, зевая и щурясь на яркое молодое солнце, Мишка Хуланепок. — Там, понимаешь, люди с утра до ночи... в поте лица своего... А она тут... Они тут... Бордель устроили. Ну, я вам покажу! Я вам, мать вашу, ночные прогулки покажу! Мне давно говорили, Донцова, что ты неправильно ведешь себя. А теперь я сам увидел.

— Замолчите! — крикнула Вера. — Замолчите!

Но Пауков уже повернулся к ней спиной, всем своим видом показывая, что не желает больше с нею разговаривать.

Поодаль, возле директорского «уазика», до самого тента заляпанного серой грязью, начавшей уже подсыхать, стоял неподвижно шофер Боря Гринькевич, прозванный крисановцами Греком или Грекой, и усмехнулся, глядя на Веру. Вере даже показалось, что раза два он подмигнул ей.

Вера отвернулась, прижала к дрожащим губам кулак, ушибленные пальцы саднили. Подумала с горечью: а надо было напролом. Не сумела. Характера не хватило. Стала зачем-то оправдываться. Он только того и ждал. Кому ты хотела доказать, что ты не виновата? Он же рад до чертиков, что поймал тебя здесь. Поймал. Конечно, поймал. Разве он упустит такой случай, чтобы приструнить меня? Вон как его холуй ухмыляется. Рады...

— Хуланенков! — кричал Пауков уже на Мишку. — Я не знаю, каким образом ты вытащишь отсюда машину, но чтобы к десяти часам был на базе в Городке. Понял? Ты понял меня, я спрашиваю? И еще вот что: горючее, которое вы тут сожгли, будет учтено, и принесенный совхозу ущерб удержан из заработной платы. Будет издан соответствующий приказ. Понял?

Мишка что-то отвечал: вначале тихо, согласно, видимо, еще надеялся как-нибудь, пока еще не зная, как, сгладить обострившуюся ситуацию, но потом тоже закричал; стоявший возле «уазика» Гринькевич перестал ухмыляться, вытянул шею, и Вере показалось, что они там сейчас подерутся.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Через неделю на Хутор прислали смену — не смену, а пополнение, потому что приехали шесть человек, а уехали всего-то двое: тетка Алена и один из трактористов, у которого заболела дома пятилетняя дочь. Пятеро из приехавших были городские, шефы, а шестая — Ира.

— Слушай, старушка, — сказала она, когда они остались наедине, — там, в Крис-Пятнице, народ шумит: молвились, твой Николай в Афганистане воюет. Правда, что ли? А молчала. Ой, ой, а молчала. Еще подруга называется. Или это военная тайна?

Сердце Верино так и встрепенулось. После происшествия на переезде ей казалось, что пока о Николае знают лишь она, Мишка Хуланенок и еще двое-трое людей, то это как бы и неправда, жестокая ложь, придуманная кем-то, чтобы разорвать ей сердце, но когда вот-вот кто-нибудь непосвященный может прийти и сказать, что он действительно т а м, и тогда все рухнет.

— Ну, чего молчишь? Что ты, на самом деле, скрывала, как будто он у тебя в тюрьме?

— Не воюет, а служит, — осторожно поправила ее Вера.

Но лучше бы и не поправляла, потому что в ответ услышала то, чего панически боялась все эти дни. И опять задергало под левой грудью и больно потянуло вниз.

— Ничего себе служба! — выкруглила глаза Ира. — Там же настоящая война! Служба — это вон в Городке. Видела, ходят в штанах зауженных? А там... Это только в газетах пишут да по телеку показывают, что они там в кишлаках кульки с продуктами раздают.

— Помолчи, а?

— Ой, да пожалуйста, — сделала вид, что обиделась Ира. Но долго не выдержала молчания и снова заговорила: — Верунь, да ты не расстраивайся. Ну? Уже меньше года осталось ему там... — и чуть было не ляпнула опять: «...воевать», но вовремя осеклась.

— Ладно, хватит об этом. Пойдем траву таскать.

— Подожди. Сразу и таскать. Может, вначале отдохнем? А? С дороги-то? Да пообедаем? У вас, кажется, скоро обед? Больно вкусно пахнет. — Ира подняла голову и подергала носом.

— Обед еще не заработали, а отдохнем потом — ночь целая впереди.

— О! Ночь! Ночью спать надо. А ты, старуха, тово, начальница, в смысле, еще та-а, — засмеялась Ира.

В эти дни они вручную выкашивали болото и накошенное тут же вытаскивали на луг. Мужики нарубили молодых березок, связали поперечинами, и вот на таких приспособлениях отряд вытаскивал с обширных луговин, разлегшихся посреди болота и по всей пойме, куда невозможно было заехать на тракторе, вязкую, как гречишная солома, траву. На сухом они растрясали ее, через

час-другой подбивали в валки, потом грузили на тракторный прицеп и свозили к недовершенной скирде.

Вечером, задержав на несколько минут машину, на которую грузили поломанную роторную косилку, пустую тару из-под продуктов, а также тюки с бельем, Вера набросала на листке сводку: луга Хуторские, все три, а также Ореховенский, Будылевский и Степановский, скошены, сено застоговано, всего столько-то стогов; Тихвин луг добиваем, одновременно выкашиваем пойму; через три-четыре дня, если вытерпит погода, закончим полностью.

Когда, отужинав, повалились спать и сон успокаивал усталые тела покосчиков, Ира потихоньку встала, спустила босые ноги на приятно прохладный пол, подкралась к Вере, наклонилась к ней, шепнула:

— Спишь?

— Уснешь... — вздохнула та.

— И мне что-то не спится. Пойдем покурим?

— Ой, ну ты совсем сдурела. Хоть бы тут, на людях, потерпела.

— Мужики в таких случаях знаешь, что говорят? Курить охота — уши пухнут.

Они вышли на улицу. Потоптались, наступая друг дружке на босые захолодевшие пятки и подталкивая одна другую вперед, у крыльца подождали, пока обвыкнутся в темноте глаза, подобрали подолы длинных ночных рубах, саванно белевших в ночи, перебежали через дорогу и уселись на таком же белом, как и их рубахи, бревне под ракитой.

— Тишина здесь какая-то... — сказала Ира, шурша полупустой сигаретной пачкой. — Ужас. Как до сотворения мира. Так и кажется, что сейчас что-то произойдет.

— Хорошо, что тишина. Покой. — Вера поежилась, плечи и колени ее под тонкой материей ночной рубахи начали понемногу вздрагивать. — Вот бы тут и прожила до весны.

— На. — Ира поднесла к самому ее лицу шуршащую и пахнущую табаком сигаретную пачку. — Покури. Если хочешь. Согреешься.

— Да ну тебя. Мне и так не холодно.

— Дрожишь.

— Сейчас пройдет.

Неподалеку стояли тракторы, и от них пахло соляркой и всем тем, чем пахнет день на лугу, когда работы непочатый край. На болоте, где в тот день они выкосили последние луговины, кричала какая-то птица. Она кричала так, как будто у нее что-то отняли. Вера подумала об этом и прислушалась. Она уже слышала этот крик несколько ночей назад, когда ходила на болото мыться, вот такой же глухой ночью. Но никого там не увидела, даже шума крыльев не услыхала, как ни прислушивалась. Наверное, подумала она сейчас, это и есть та птица, которую можно лишь услышать, и то издали, но увидеть — никогда. Птица на минуту-другую умолкала и снова кричала, кричала, кричала... Кого она звала? О чем хотела поведать миру? Вот бы спросить ее сейчас о своей судьбе, подумала Вера. Но тут же устыдилась, а вдруг печаль птицы еще горше, чем ее печаль? А может, вовсе и не птица там кричит, мечется? Может, это сама судьба моя стенает так?

— Ира, ты что-нибудь слышишь?

— Не-ет, — ответила тем же полушепотом Ира. — Что здесь вообще можно услышать?

— На болоте птица кричит. Вот, слышишь? Ну вот же. Нет, теперь молчит.

Вера взяла Иру за руку — та вздрогнула, потянула к себе ее руку.

— Вот, слышишь, опять! Ну? Неужели не слышишь? Кричит как...

— Перестань, старушка, пугать младенцев. Или тебе уже чертики мерещатся?

— Кричит. Почему она грустно так? А?

— Не знаю, — ответила Ира, украдкой, чтобы Вера не подумала, что она боится, осмотрелась. И убедившись, что бояться действительно нечего и некого, снова чертыхнулась, встряхнула за плечи Веру.

— Я вот думаю, говорить или не говорить...

— Коля? — сразу встрепенулась Вера. — Ты знаешь что-нибудь о нем? Что? Что с ним?

— Ой, да господи, успокойся ж ты. Там, понимаешь, другое... Там про тебя невесть что уже... В общем, что тебя с Хулапенком тут застали.

— Говоришь: невесть что, а сама повторяешь.

— Да я просто спросить хотела. Я думала, что ты, как всегда, взбросишься, глаза вырвешь, а ты... Наврали, значит.

— А тебя это, никак, расстроило.

— Да, но там, видишь ли, вся Крис-Пятница, как у нас выражаются, гудет.

Птица на болоте больше не кричала. Видно, потеряла все надежды. Хуже всего, подумала Вера, потерять надежду. Когда веришь, легче. И снова, в которой уж раз, спросила Иру, действительно ли она не слышала, как кричала птица, там, на болоте?

Ира в ответ лишь зевнула.

— Да, вот так сплетни рождаются. Чем чудовищнее вымысел, тем легче в него верят. Ужас какой-то. Я поехала, чтобы позвонить в Милеево. Там живет парень, который недавно вернулся из Афганистана. Служил там. Так вот он виделся с Колей. Разговаривал с ним.

— Откуда ты это знаешь?

— Мишка Хуланенков рассказал. Он того парня, милеевского, знает, видел его в Городке. Тот и рассказал. Ну, как бы ты поступила на моем месте? Ведь точно так же бы и поступила. Все мы, бабы, на один манер, когда мужиков наших дело касается.

— О, это тебя не иначе как Санечка Крылатка научила таким словам. Браво, старушка!

— Иронии твоей не понимаю совершенно. И вообще, как ты можешь мне сейчас такое говорить?

— О, как будто у тебя что-то особенное случилось! Да их там, мальчиков наших, тысячи. И все они — чьи-то мужья, братья, сыновья.

— Утешила, спасибо. Там, может, и тысячи, а он у меня один-единственный.

— Погоди, вот вернется — вся грудь в медалях и орденах. Залюбуешься! Тебе еще все завидовать будут. Да и льготы там разные, и всякое прочее...

— Ой, Ира, да помолчи ты, честное слово. У тебя одно на уме. Перестань, я же тебя просила.

— Могу и перестать. Уже перестала. Но ты тогда хоть про Половитное расскажи. С Пауковым кто-нибудь был? Ну, там, на переезде.

— Да, шофер его, Гринькевич.

— А, Грека! Ну вот он и разнес по совхозу! А знаешь, что тебе Нематодный ту статью дурацкую, про огороды да про бригады, не простил, чтоб ему сейчас поикалось!

— Почему дурацкую?

— Потому что нужно было вначале как следует подумать, а потом писать такое. Ты их, их вот, защищала! — Ира махнула рукой в сторону спящих домов. — А они храпят себе, и на все, кроме заработка и домашних забот, им решительно наплевать.

— Так я и хотела облегчить их домашние заботы. Да и заработки на подряде станут больше. Наверняка больше.

— Это еще бабушка надвое гадала. Им нужен заработок сегодня: полмесяца прошло — получил. Вот так, старушка. Вот ты, это ж точно, ночь не спала, когда писала эту свою дурацкую статью, а может, и не одну ночь. И теперь не спишь. А они храпят и в ус не дуют. Слушай, старуха, уезжай-ка к матери. Донцу твоему напиши: так, мол, и так, тяжело одной, тоскливо, решила к матери... А?

— Ох, трепа! Ох, Ирка, ты и трепа! И никуда я отсюда не поеду. Я Николая здесь должна ждать. Вот и примета есть такая: откуда солдата проводила, там и назад дожидайся.

— О, как это романтично! Это тебя, наверное, Санька Крылатка научила или бабка Федосья Громова наплела.

— Да, ты угадала, бабка Федосья. У нее муж и два брата с войны не вернулись. Она в беженцы ушла, многие уходили, а вернулась, когда на двоих уже похоронки в сельсовет пришли. Младший ее брат погиб прямо здесь, недалеко отсюда. Когда наши войска деревню Борок освободили, он и погиб. Теперь в нашей братской могиле лежит. Бродин Иван Митрофанович. Может, обратила внимание, на первой плите третья сверху фамилия.

— Не обратила, Верунь. Я ж не знала. Да и нет Бродиных сейчас в деревне. — В голосе Иры была растерянность. — Ты меня, Верунь, прости. А я думаю, чего это бабка Федосья все к памятнику ходит.

— Ну ладно, посидели, поговорили, а теперь спать идти надо. Мы тут рано встаем. Не выспишься — плохо работать будешь.

— Верунь, миленькая, давай помиримся. Я тебе тут намолола... Ну, прости меня.

— Да перестань, мы и не ссорились.

— Правда? Ну, пусть будет так.

Они тихо прокрались в спящий дом, залезли под одеяла, которые после зябкой росы казались такими теплыми и нежными, что сразу захотелось спать. И они вскоре действительно уснули крепким сном, как спят после большой работы или больших слез.

Быстро пролетели последние дни покоса. Тихвинское сено пришлось скирдовать вручную — поломался стогометатель. Вот уж где повытягивали жилы! Молодые охали, бранили трактористов, которые молча потели тут же, с вилами, под скирдой, вконец отчаявшись отремонтировать стогометатель. Кто постарше, тоже охали и ворчали, но и посмеивались: а как же, говорили, мы раньше все так скирдовали, да солому тоже? Это теперь, мол, тракторы, техника. Но потом отступились перед доводами молодых: да и вправду раньше-то вон сколько народу было. Разойдутся, бывало. по полю, поднимут по навильнику, несут; первые принесут, вниз на жердп положат, а последние, когда подойдут, уже наверх подают. Вот сколько народу в Крисанове-Пятнице было. Да и на Хуторе тоже.

Закончили поздним вечером. Скирда получилась ладная, ровная, стройная. ну прямо девка на выданье! От Тихвина до Хутора километра полтора-два. Иные пошли пешком, а кого уже ноги не держали, полезли на прицеп Гришкиного трактора. Собрались к жилью потемну, еле живые, и ужинать не стали, ушли отдыхать. Все было как в первый день страды. Только запах сена не волновал так сильно, оп будто даже ослаб немного, а может, просто всем хотелось домой, к семьям, к привычной жизни.

В тот вечер Вера зачеркнула в календарике, приклеенном к обложке блокнота, пятнадцать чисел кряду. На Хуторе прожила она больше двух недель. Уезжать отсюда не хотелось. Она заметила в себе некоторую странность: раньше время шло медленно, тоскливо-медлепно, а теперь — словно под гору. Да, подумала она, время и впрямь пошло быстрее. К чему это?

Ощущение быстро потекшего времени не покидало Веру и по возвращении с Хутора. Однажды, как всегда, на ходу, оглянулась на себя в зеркало, ахнула: боже, ужаснулась, на кого я стала похожа! Ведь просто пугало огородное! Трактористка! Ира ей как-то сказала, а она тогда впопыхах не обратила внимания на ее слова: старая, ты претерпеваешь поразительные превращения — стала похожа на трактористку. Дожила. Непременно как-нибудь надо выкроить день и привести себя в порядок, постричься, ногти обработать. Съездить в Городок, купить кое-что из белья, а то все заношенное, застиранное, как у старой девы. Да материала какого-нибудь подороже и сшить приличное выходное платье. Да, как же я забыла, спохватилась она, увлеченная своими мыслями, у меня ведь нет ни одного приличного платья.

Вспомнила, что, когда в последний раз была в Городке, видела в универмаге хороший материал — велюр, импортный, широкий, и цвета приятного — бежевого с зеленцой. Такой цвет ей пошел бы. Теперь пожалела: вот зря сразу тогда не купила. И деньги ведь были. Может, уже и не осталось там больше такого — разобрали. И юбку не мешало бы новую, из шотландки, расклешенную. И шерсти бы купить несколько мотков, кофту новую связать. Недавно в журнале нашла хороший образец и спицы купила, а ни шерсти, ни времени нет.

Вера вдруг поняла, что теперь ее ожидание не такое, каким жила она весной и в начале лета, — теперь она готовилась к встрече. Она боялась думать о встрече, о том, как все произойдет, но мысли сами толкались в голову, стерегли малейшее воспоминание о Николае, одно цеплялось за другое. И вот уже мелькало в воображении, как в кино: она на станции в Городке, в руках цветы, поезд подходит, она видит Николая, он на подножке, улыбается ей во весь рот и тоже машет цветами... Страшно же было оттого, что сомневалась: вдруг все будет не так? А как? И от этого почти беспомощного: «А как?» — становилось еще страшнее и хотелось заплакать.

В конце августа письма от Николая вдруг прекратились. Вера места себе не находила. Ходила зареванная, потерянная. Появилась Ира, и она, вопреки своим сомнениям, начинала жаловаться той, что больше так не выдержит, что надо ехать к нему или срочно написать на имя командира части. Ира ее успокаивала, выдумывала какую-нибудь чепуху, и Вера верила ей и смеялась сквозь слезы, зная, что та говорит вздор, и говорит его скорее от скуки, чем из сострадания. Но все равно так было легче, чем одной.

Третью неделю шла уборка. Вера работала на току. Забот хватало. Зерно с полей шло и шло. То, которое было посырее, тут же засыпали в сушилку, другое, посуше, которое терпело, не сгоралось в ворохах, ссыпали на разостланные брезенты под навесы и прямо на луговины. На солнце зерно тоже сохло хорошо, время от времени его ворошили лопатами. Да и на небо поглядывали: наволочет тучку, брызнет дождик, хоть и маленький, в три слезы всего, может, а дел наделает на полдня. За работой Вера немного забылась, сама и у сортировки стоя-

ла, и на ворохах потела — не больно-то затоскуешь. Но сжимало сердце, когда рабочий день подходил к концу и нужно было передавать смену.

В один из дней пришло распоряжение срочно отправить в Городок в Заготзерно несколько тонн пшеницы. Совхоз еще не рассчитался с госпоставками, время истекало, и нужно было срочно закрывать план. Ей в помощь выделили Санечку Крылатку и Мендеса, а на погрузку машин четверых студентов из приехавшего недавно в совхоз сельхозотряда.

Санечка и Мендес затаривали пшеницу прямо из вороха, завязывали мешки бечевой, студенты таскали на весы, а с весов прямо на машины.

Когда отправили очередную машину, а последняя еще не подошла, и студенты, пользуясь коротким перерывом, повалились на разостланные на штабелях фуфайки и затихли, к Вере подошла Санечка и сказала:

— Вот старики говаривают: два раза в году лета не бывает.

Вера удивленно посмотрела на нее, подумала: и сколько же в ней жизни, сколько азарта! И самой как-то теплее возле нее сделалось.

— Нынче какое число? — спросила Санечка.

— Одиннадцатое, а что?

— А то, что по старому календарю это Иван Предтеча. Иван Предтеча гонит птицу за море далече. Журавлей-то нынче видела ли?

— Весной видела.

— Я тебя про сейчас, про осень, спрашиваю.

— Нет еще, — ответила Вера, все еще не понимая, к чему клонит Санечка.

— Вот то-то и оно. Тепло потому что. Ластушки вон еще дома, на родные гнезда никак не насмотрятся. А уже скоро им, жалким, на чужбину лететь. И то сказано: глупа та птица, которой гнездо свое немило. Небось-то там, в землях тех египетских, ох как родная сторонушка во сне мается! А журавли ка-ада еще полетят. Через три дня бабье лето настанет. То есть Семены. Если на Семены ведрено, то и осень теплая будет.

И Вера подумала, что и впрямь не надо бы теперь чаять дождя, овес почти весь еще в поле, гречиха на Любовцовском тоже стоит. Все равно ведь время своим чередом пойдет: осень, зима и весна. Только потом — весна. А она, глупая, вот уже поистине глупая, думала, что

если осень раньше наступит, то и зима скорее придет, а раз зима скорее, то и весна... Ой, глупая! Ой, до чего же додумалась!

— А ты к чему это, Александра Филипповна, о втором лете?

Та в ответ засмеялась, закраснелась и сказала, отвернувшись и полушепотом, чтобы не услышали студенты:

— Ты нас завтра после обеда сразу отпусти на часок-другой. В сельсовет пойдем — расписываться.

— Правда, что ли, Александра Филипповна?!

— А что ж мы, хуже людей, что ли?

— Ну и правильно. Ну и молодцы.

Вера оглянулась на Модеста Изотовича, тот сидел неподалеку и делал вид, что ничего не слышит. Санечка подмигнула Вере и, наклонившись, шепнула:

— Сказал, к Октябрьской кольцо обручальное мне купит. — И засмеялась счастливым, глуповатым смехом. Счастье всегда глуповато, особенно со стороны.

А ведь и верно, подумала Вера, что бывает, когда и не одно лето в году. Год на год не приходится.

— Пальцы-то у меня больно толстые, много золота надо, — снова зашептала Санечка. — Сроду кольца не нашивала. — И засмеялась, зажимая рот ладонью.

Студенты подняли головы, переглянулись и снова залегли на штабелях.

Так вот сидели на незавязанных мешках, переговаривались. Санечка вначале о себе рассказывала, молодость вспоминала. Кому-кому, а ей-то было что вспомнить о своих буйных годах. Тут только имей терпенье — слушай. Потом хуторской покос вспоминали и то, как за сено директор обещал к концу года всей бригаде премии. И не знала Вера, что сейчас подъедет машина, Мишка Хуланенок остановит ее перед воротами, выскочит из кабины, как будто его там кипятком обварили, закричит, выкруглив глаза:

— Вера! Вера! Что ж ты тут сидишь! Там Донец твой приехал! Во дает! Она тут сидит, а муж домой приехал!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Поезд в Городок никогда не приходил по расписанию. Чаще всего опаздывал, на полчаса, на час, а то и на час с лишним, и начальник станции по нескольку раз выхо-

дил из дежурки и, сложив рупором ладони, объявлял, что «вот-вот должен прибыть, уже отправился с соседней станции». Не изменил он своему обычному правилу и в это утро.

Пассажиров, сошедших в Городке, было мало. Может, потому, что было воскресенье. Да и уборка шла вокруг, даже на станции пахло хлебом. Видимо, от стоявших в тупике товарных вагонов. Так что некогда было разъезжать. На перрон выкатились две старушки с рюкзаками, набитыми туго, под самые завязки, и так же торопливо покатились к привокзальной площади, вышла еще женщина с двумя детьми и солдат в форме десантника. Солдат вышел вслед за старушками, помог женщине снять с тамбурной площадки сумку и коляску с малышом, потом, когда и те ушли в сторону автобусной станции, а пригородный, дав короткий в два приема сиплый гудок, дернул и медленно поплыл вдоль перрона, огляделся, щурясь болезненно, отчего еще резче обозначились острые скулы на его исхудалом лице и нездоровая бледность кожи, взял небольшой чемоданчик из черной кожи, на ручке которого болтался ярлычок Аэрофлота, и, опираясь на костыль, не спеша пошел к вокзалу.

Пройдя еще сотню шагов, он почувствовал, что устал, как уставал только в горах, когда вслед за майором по нескольку часов — вверх по крутой тропе под душным чужим солнцем, когда... На лбу выступил пот, он вытащил из кармана гимнастерки платок, вытер лоб, шею и почувствовал, что майка захолодела, прилипла к лопаткам и пояснице. Он сел на скамейку, приставленную к тополю, пристроил между колен костыль с прилипшим к гофрированному наконечнику желтым березовым листком; откинув руку на ребристую с выпавшими планками спинку и опершись на нее, принялся разглядывать листок. Он был не совсем желтым, серединка еще не выцвела, зелеными крапинами были обметаны и жилки, с удивительной симметрией расходящиеся в разные стороны к резным закраинам.

— Так что же это я, домой приехал, что ли? — сказал солдат, разорвав плотно сомкнутые до сей поры губы, тонкие, с нехорошей синевой, какая бывает обычно у стариков или хронических больных.

«Приехал, — успокоил он себя. — Домой. Все нормально. Осень вот уже. На родине-то осень. Хлебом пахнет. Сейчас отдышимся и пойдем искать машину. Автобус-то,

видать, ушел уже. Все нормально. Или, может, позвонить в контору? Нет, звонить-то как раз не надо. Надо найти машину — и как снег на голову. Из «Рассвета» машины должны быть. У нас зерна много. Возят, должно быть. Надо ж, хлебом пахнет как».

— Здоровенько, гвардеец!

Солдат поднял голову и увидел перед собой старика, одетого в серый с засаленными полами пиджак, из-под которого выглядывала такая же заношенная фланелевая рубаха, заправленная в темно-синие штаны с манжетами, забитыми песком и дорожной пылью. Старик снял белую кепку и, отдуваясь и сопя, утер ею лоб. Лоб у него был примечательный, просторный, как поле, загорелый крепко, до черноты, но только наполовину, от бровей на два пальца выше, дальше же оставался нетронутым солнцем, младенчески-розовым. Старик посмотрел на небо, подергал белесыми бровями, похожими на седые мухры выжженного солнцем и вымытого к осени дождями застарелого белоуса, что на обойденных косою кочках.

— Дак а что ж, и хорошо, что погодится, — сказал он, видимо, отвечая на вопрос, самим себе и заданный. — Хлебушек с добром уберут. С хлебушком будем. Может, и у американцев покупать не станем. Ну их, капиталистов этих. С ними только свяжись, спекулянтами...

— Здорово, дед, — ответил солдат, глядя в выцветшие слезящиеся глаза старика. — Ты откуда будешь?

— Аньки? — Старик сложил ладонь ковшиком и поднес к заросшему белесыми кустами волос уху. — Ты, гвардеец, погромче мне, а то я на ухо туговат.

Старик был из Студенца. Солдат кивнул ему: как же, мол, знаю твою деревню, бывал. Он и вправду бывал там раза два, еще до призыва. Знал кое-кого из студенецких. Но старика этого видел впервые. А может... Да нет, я все помню. Помню я все. Голову-то, к счастью, не задело. Из Студенца... Так это ж недалеко от Милеева, кажись.

— Милеево от вас далеко ли? — спросил солдат.

— Недалече. Километра два так, не больше, большаком если.

— Ну, значит, Генку Никитенкова знаешь. А? Знаешь такого парнягу, дед?

— Знаю. Как же, знаю Генку Никитенкова. Он теперь там у нас герой. Со службы недавно пришел.

— Как он там? Герой, говоришь?

— А как... — Старик помолчал немного, посмотрел сно-

ва на небо. — Запил он крепко. Пьет. Стратился. Нервы, видать, порвал. А какой парень был!

Солдат еще плотнее сжал синеватые губы, покачал головой.

— А ты ж как, — спросил старик и кивнул на костыль, — отслужил? Или по комиссии? Вроде не в срок едешь?

— По комиссии, — разлепил он вздрогнувшие губы.

— Уж не оттуда ли, откуда и Генка? Не из Афганистана?

— Оттуда, дед.

— Значит, и тебе довелось пороху нюхнуть. — Старик щурился на него выцветшими глазами, по виску его стекла, блеснула в небритой седой щетине капля пота. — Горький, поди, дымок-то пороховой?

— Несладкий, — ответил солдат и нахмурился. Разговаривать об этом ему, как видно, не хотелось.

Старик достал из кармана клетчатый платок, высморкался и сказал:

— Э, браток, не переживай. Ноги-руки целы?

— Целы. Заросло, как на собаке. Грудь только вот немного...

— Что, в грудь угораздило?

— В грудь. Болит, собака, — признался солдат и, стиснув зубы, отвернулся.

— И крепко?

— Да так... Пуля. Болит вот. Из винтовки «бур». Саднит иногда. А так ничего, жить можно.

— Это пройдет. Пройдет, попомни мое слово. Ты вот послушай-ка меня, старика. Это ведь я теперь старик, а когда-то тоже молодой да лихой казак был. В сорок третьем в танке горел. Горел, да не сгорел, видишь. Оконтузило сильно. Когда в Студенец вернулся, так меня баба моя, веришь — нет, не признала. Два года на печке лежал. Хворал. Совсем плох был. А потом ничего, поднялся. Косить, помню, пошел. Покос наш в лесу был. Пройду ряд, ноги трясутся, руки трясутся, кровью харкаю. Повалюсь в траву и думаю: ну вот, видать, и не встану уже, и найдут меня не сразу, и, может, вороны к тому часу уже и глаза выклюют. К осени все ж хату рубить начал. А то ж в землянке жили: Студенец сожгли. Ничего, браток, жизнь на ноги поставит. Ты, главное, только от нее не отлынивай. А то вон Генка... Это только кажется, что от нее, от жизни, схорониться можно. Баба-то есть? Жена?

— Есть.

— Ждет?

— Ждет. Ты, дед, подскажи мне лучше, как до Крисанова-Пятницы добраться.

— Подскажу, — живо согласился старик. — Сейчас прямо идти в Заготзерно. Знаешь, где Заготзерно? Ну вот. Нынче там целое вавилонское столпотворение, машины с утра до ночи вьются. Нынче наша земля, сынок, хороший хлеб родила. Везут, и везут, и везут — по всем дорогам. Может, я говорю, и перестанут у американцев покупать. Своего хлеба пропасть. А там, за морями-то, хлебушек кусается, за золото надо покупать его. И чего они там, в Москве, министры наши, чешутся? Будто державе золота некуда девать. Политика, ядрены кудри!

Старик встал, поправил белую кепку, закрыл незагорелую часть просторного лба, утер пальцем слезящиеся глаза и подал солдату руку.

— Пойду я. Магазин, гляжу, открыли. А мне бабка мясорубку купить заказала. Зубы наши теперича известно какие, мяса ни шута не кусают. А тут, в Городке, Петровна, соседа моего дочка, говорила, что есть они, мясорубки. Каклеты теперича с бабкой есть будем. — Старик засмеялся.

— Прощай, дед, — сказал солдат, подал старику руку и, подавая, заметил, как дрожит она у него и какая бледная по сравнению с загорелой жилистой ладонью старика.

— Да и ты не кручинься. Твои-то годы сами тебя вывезут. Эх, да мне бы твои-то годы! Дер-ржись! Ну! Примкнуть штыки! Была такая команда?

— Была, дед.

Старик ушел. Солдат снова принялся разглядывать прилипший к костылю березовый лист. Затем он пошел к площади, за которой виднелось двухэтажное деревянное здание старой постройки. Первый этаж здания занимал райвоенкомат. Солдат направился туда: нужно было доложить о прибытии и стать на воинский учет — последнее требование устава, которое он обязан был выполнить.

А через полчаса он уже стоял возле моста и поджидал попутку в сторону крисаново-пятницкой повертки. От Городка до той повертки километров шесть, дальше нужно

было сворачивать с шоссе вправо и, если и дальше повезет, ехать по грунтовой насыпной дороге.

Он прошел с километр, может, больше, когда его догнала попутка. Он сошел на обочину, пропуская ее вперед, но машина резко затормозила, так что хлопнули борта и в кузове стукнул, раз-другой перевалившись, какой-то груз. На дорогу выскочил Мишка Хуланенок и, вглядываясь в лицо солдата, закричал:

— Донец?! Николай?! Ну ты даешь! А тут про тебя уже легенды рассказывают. Домой? Совсем? Садись давай, поехали. Тебе помочь?

Когда они въехали в лес, Николай Донцов опустил боковое стекло. В кабину ударило сквозняком, запахло палой листвой и грибной прелью.

— Что, — спросил Николай улыбающегося Мишку, — и грибов, видать, много нынче?

— Много, Коля, много! И грибов много, и хлеб вот возим — не перевозим. План выполнили, а теперь обязательство закрываем. А может, — вдруг засомневался Мишка, — кто-нибудь из соседей подкачал или, так тоже бывает, занижает урожайность, вот мы и отдуваемся за район. Ты ж директора нашего знаешь: блесной перед райкомом вьется.

— Себя-то обеспечили?

— А как же! В первую очередь. Сев уже ведем. Закрома полны. Зимой теперь хоть коровам посыпки вволю будет.

— Брось, — усмехнулся скептически Николай. — Вволю...

— Ну, не вволю, конечно... Так все равно будет что в кормушки посыпать. Хотя, если рассудить правильно: сейчас хлебушек отдаем, свой, кровный, а потом это же зерно Пауков будет выклянчивать, ездить по начальству, мясо совхозное развозить. За все, говорит, платить надо.

— Это точно, — сказал Николай, но видно было и по отрешенному лицу его, и по тому, как отвечал он, что томило его сейчас другое.

— А на току сейчас навалили! Под навесом уже места не хватает, по лугу зерно рассыпают, под брезенты. И знаешь, кто сейчас на току всеми делами заправляет? — пытаясь угладить его печаль, спросил Мишка, и снова лицо его размазало такой улыбкой, что и Николай, мельком взглянув на него, усмехнулся. — Жена



твоя! Вера! Слушай, а она хоть знает, что ты — домой? А?

— Никто не знает, — ответил Николай. — Никто. Вот только ты и знаешь.

Дорога до Крисанова-Пятницы от повертки не ближний свет. Пока ехали, успели о многом поговорить. И помолчать тоже успели. И подумать. Перед деревней большак с километр где-то тянулся краем Любовцовского поля. На одной половине поля, той, которая сливалась с деревенской околицей, желтели копны, пшеничные, а может, ячменные, издали-то не определишь, а на другой, рдяно-бордовая, густая, еще стояла гречиха. Кое-где она еще цвела, белела, островками и одинокими метлами, словно лета ей было мало.

— Останови-ка мне тут, — попросил Николай, когда машина выскочила на горбовину поля и впереди показались крыши дворов. — Дальше хочу пешком пройтись.

— Вере-то что сказать? Я ж сейчас на ток еду, и что

ж мне, хорониться, что ли, от нее? Я ж не утерплю. Как же я могу промолчать, что тебя видел? Да у меня на лбу будет написано, что я тебя до деревни вез!

— Скажи, что... — Николай осекся, долго молчал, молча смотрел на палевую, будто выгоревшую закраину неба над гречишным полем; Мишке в какое-то мгновение показалось, что Николай прислушивается к чему-то, он и сам затаил дыхание и прислушался, но ничего, кроме рокочущих, вздрагивающих звуков мотора, не услышал.

— Так что ей сказать? — окликнул его вопросом Мишка.

— Что иду, скажи.

— Может, еще чего?

— Больше ничего. Только это. Домой, мол, иду. Домой. Поезжай. Спасибо тебе.

Они встретились за деревней в поле.

Если выйти за околицу Крисанова-Пятницы и глянуть на дорогу, то видна она далеко. Так далеко, что человек в конце ее — с былинку, и не понять, идет он, рукой ли машет, стоя, или это дерево на ветру качается. Вот там, в той дали, и увидела Вера одинокую фигуру посреди белой, будто мелом усыпанной, дороги. Она побежала навстречу, она уже точно знала, что о н и д е т. Она бежала, и то ли от ветра, то ли от быстрого бега, глаза застилали слезы, и ничего нельзя было с ними поделать. Она смахивала их, но они появлялись снова, холодили щеки и виски. Она хотела закричать: «Родной мой!» — но не смогла; она лишь хватала ртом воздух и сквозь слезы смотрела, как навстречу ей неторопливо идет высокий худощавый человек в солдатской форме, опираясь на костыль. Будто чужой. Будто слепой. Или он меня не видит, в отчаянии подумала она, вглядываясь в его походку. Что это у него, костыль? Почему у него костыль? Почему у него костыль? Господи!

Она упала бы, обессилев от бега и счастья, прямо на дорогу, если бы он не подхватил ее под руки, бросив на землю чемодан и костыль.

Дул свежий ветер, задирал пыль на дороге и гнал вязкий, немного приторный запах свежеобмолоченного зерна — где-то там, куда не достигало око, шла, подергивала тишину мощным гулом жатва.

Николай стащил с головы берет, ему не хватало воздуха, ему казалось, что так, с непокрытой головой, легче будет дышать.

— Вот мы и встретились, — шептал он, наклонившись к ней, целуя ее волосы. — Вот и встретились. Не думала ты, наверное, что так встретимся. Что вот так...

— Ну и хорошо, — шептала она в ответ так же сбивчиво. — Ой, надо ж, пришел... Коленька... Вот и хорошо. — И все хотела заглянуть ему в глаза, но так и не смогла и подумала: куда он смотрит? Почему он смотрит куда-то?

А он смотрел на палевую закраину неба, откуда дул ветер и пахло свежеобмолоченным зерном и влажноватой соломой, словно силился заглянуть, что там, вдали, за этой палевой дымкой, делается, словно ничто больше не волновало его так сильно, как гул дальней страды, похожий на то, как будто там шла нескончаемой вереницей колонна автомашин.

...Они не заметили, как наступил вечер, а потом ночь. Как будто открыли глаза, а окна, забытые — незашторенные, захлестнуло синеватой, почти непроницаемой волной тишины. Окно было приоткрыто, в комнату затекала свежая осенняя прохлада, и редкий звук доносился откуда-нибудь с другого конца Крисанова-Пятницы, так что нельзя было разобрать, то ли это собака где тявкнула, то ли гусак проснулся в сонном сарае, то ли совсем близко, может, под самым окном, кто-то вздохнул устало.

Вера и Николай лежали, накрывшись простыней, одеяло валялось на полу, и все еще, казалось, не верили в то, что они вместе, что жизнь опять потечет по-старому, что не нужно будет ждать писем и мучиться, когда их подолгу нет, что ночи теперь станут спокойнее и темнее, и желаннее, а дни радостнее и светлее. И они снова и снова прикасались друг к другу. Может, потому, что не верилось и что хотелось убедиться, в который уж раз, что нет, это не бред и не сумасшествие — это явь, и ее, такую, невозможно выдумать. И сливались воедино, и растворялись друг в друге и в ночи, в стоне, в шепоте, в дыхании, и снова не верили, что да, так оно и есть — вместе.

Но возможно ли такое счастье, думала она, целуя шершавый, похожий на большую родинку бугорок на его груди. Она знала — сюда Николая ранило. Она еще днем увидела этот шрам, когда Николай снял полосатую майку, чтобы умыться с дороги. От майки пахло так, как пахнет в приемных покоях старых больниц. Она хотела сказать ему об этом, но побоялась — обидится. Спроси-

ла, не болит ли. Он поморщился и ответил, что иногда болит, особенно к перемене погоды, и отвернулся, и долго ничего не говорил. Теперь думала она о счастье и пугалась: возможно ли такое? Вера много раз мысленно представляла, как наконец муж вернется и как счастлива тем будет она, как будет с ним переживать, делить свое счастье, как пройдут их первые ночи и дни. Она в какой-то мере уже прожила то, о чем думала и чего ждала, и боялась, что настоящая встреча будет уже не так остра и нежна. И хоть встреча оказалась действительно не такой, о какой мечталось и не спалось, пришло такое, от чего Вере хотелось вскрикнуть от восторга и умереть, потому что такое не может длиться вечно.

Ночь длилась и длилась, и все же она была короткая, как страда в конце лета. И такая же душная. И все в ней было знакомым и в то же время неожиданным.

— Ты устал? — шептала она.

— Да.

Она улыбнулась в темноте и чувствовала, что он тоже улыбается.

— А ты здорово изменился, — сказала она уже погодя, с трудом разлепляя пересохшие губы.

— Ты тоже, — ответил он, приваливаясь плечом к полированной спинке кровати, гладя ее голову.

— Разве? — сказала она, хотя и сама знала, что да, изменилась. Она изменилась.

Губы ее пересохли. Как земля, когда долго нет дождя, подумала она и вспомнила, как ждала сама, сгорая от нетерпения, чтобы пролился дождь. Теперь он пролился, напитал ее всю, проник в каждую жилочку. Ну, чего же тебе еще хочется?..

Николай притянул к себе ее голову и поцеловал в висок.

— Ты стала чертовски красивой. И откуда в тебе это все взялось? Нет, ты правда здорово изменилась. Если бы я знал, что ты стала такой красивой, я сбежал бы из армии.

Она засмеялась и тут же насторожилась: она хотела спросить его, почему он не улыбнется, или не рад, что вернулся домой, почему мало говорит, ни о чем не расскажет, не спрашивает, неужто не интересно, как она жила тут без него все это время. Она вдруг спохватилась, что почти всю ночь они промолчали. Ей даже стало обидно: ждала, ждала... А теперь вот прорвало. И она с тем

большей жадностью стала прислушиваться к каждому его слову.

— Почему сразу не написал, что ты — там? — спросила она.

— Зачем? Чтобы тебе тут думалось... Читал я, что в газетах о нас и вообще о том, что там и как там, пишут. К тому же не я один так делал.

— А ты не думал обо мне, когда решил — туда? И когда правду решил не писать? Подумал ты обо мне?

— Подумал. Без правды тебе было легче. Разве не так?

Он потянулся за папиросами, которые лежали на столике.

— Я закурю? А? Курить охота.

— Кури, если хочешь. Раньше не курил.

— Хочу. В госпитале начал. Доктор сказал — нельзя, легкие задеты. А мне легче, когда закурю.

— Ну как ты можешь так рассуждать? Легче... Если доктор сказал, значит, действительно нельзя. Коля? — Она заглянула ему в глаза с болью. — А ты вот не послушался. Зачем ты куришь?

— Мне, правда же, легче так. Как закурю, грудь не жмет. Это не баловство.

Он закурил. Откинув голову, выпустил дым. А Вера в это время увидела у него на шее, там, где вздрагивал кадык, еще один шрам, совсем маленький и уже побелевший.

— Боже мой, и здесь — тоже? — сказала она, вздохнув, и потянулась, и потрогала кончиками дрожащих пальцев белую полосочку шрама на шее.

— Тоже, — ответил он не сразу и, тоже вздохнув, отвел ее руку.

Веру обидел его жест. Она отдернула руку и долго молчала. Николай попыхивал папиросой. Но он молчал не от обиды.

— Коля, — сказала она, когда в окна вместе с осенней прохладой поплыло, цепляясь за тюлевые шторы, ленивое, неразворотливое сентябрьское утро, — почему ты не расскажешь о том, как ты служил? О том, как там?

Он резко повернулся к ней.

— Расскажи, — попросила она.

Он молчал. Она не заметила, как побледнело его лицо, а пальцы, теребившие мундштук папиросы, мелко задрожали.

— Ты меня слышишь, Коля?
— Слышу.
— Я просила тебя...

И вдруг он вскочил, швырнул в сумрачную глубину комнаты спичечный коробок; коробок ударился о стену и, загремев остатками спичек, шлепнулся на пол. А Николай схватил Веру за руку выше локтя и, сжав крепко и больно, зашептал, видимо, чтобы не закричать:

— Что? Что тебе хочется услышать? Ну что тебе хочется узнать? Тебе хочется, чтобы я рассказал тебе, как пахнет жареное человеческое мясо, когда из гранатомета подбивают бронетранспортер? Это тебе хочется услышать? Или как метко они стреляют из ущелий? И как это страшно, когда не знаешь, откуда стреляют, а ты, как идиот, лежишь на дороге? Или о том, что, когда подбивают танк, почти никто из экипажа не успевает выбраться наружу, а если и выбираются, то живут от силы несколько часов? Это? Или еще что-нибудь?

Сердце ее вздрогнуло и запало, губы сразу одеревенели, так что она долго ничего не могла вымолвить, хотела хоть как-то преодолеть оцепенение, но и для этого сил не нашлось.

— Ты прости, я не хотел тебя обидеть. Просто я все еще не могу опомниться. Прийти в себя не могу.
— Я понимаю, — всхлипнула она.
— Не могу поверить, что выкарабкался. Был момент, когда я думал, что уже все...
— Я понимаю, Коля.
— В это действительно трудно поверить.
— Я все понимаю, миленький мой.

Она плакала. Плакала тихо, будто и не плакала вовсе, а так, сидела, уткнувшись лицом в колени. А он курил и курил, докуривал папиросу до мундштука и начинал новую, и смотрел в бледнеющее окно. Там, за холодным потным стеклом, зарождался новый день.

— В нашем взводе долго не было потерь. Сколько раз вылетали по тревоге в горы, сидели на перевалах, сопровождали караваны из Союза, и ничего. Раз только сержанту в бронежилет пуля ударила, с ног сбила, ребра помяла. А тут наверстала судьба. На дороге... Неразбериха... И, как всегда, не понять, откуда стреляют. Справа ущелье. Вначале загорелась одна машина, потом другая — наливники с нефтью. Капитан дал команду залечь за дорогой и вести огонь в сторону ущелья. Вспышки заметили там. Мы разделились. Втроем побежали по тропе, вскарабкались на уступ, залегли. Там была небольшая площадка. Залегли так, чтобы в случае чего подстраховать друг друга. Внизу из крупнокалиберных пулеметов палили по ущелью и куда-то вдоль дороги и вверх, и пули летели через наши головы. Потом опомнились немного и начали освобождать дорогу, чтобы ликвидировать пробку.

Откуда-то из середины колонны вышел танк и «рогом» начал сталкивать наливники в пропасть. Это очень непросто. Машины горят — издали жаром обдает. Танк хоть и железный, но каково там, в нем, когда рядом нефть горит.

Мы лежали и следили за тропой и за ущельем. Тропу мы почти миновали, а ущелье было напротив. Там ничего подозрительного вначале мы не нашли, так что и стрелять-то толком некуда было... А потом мы их увидели. Когда дорогу немного очистили и колонна пошла, они, гады, занервничали, повылезали из нор. Их было очень много. С такой крупной бандой мы еще не встречались. Машины прошли, а мы остались. Так надо было. Вначале справа от меня стрельба прекратилась, я подумал, что Миша автомат перезаряжает и что-то замешкался. Миша лежит на спине, весь в крови, и в небо смотрит.

Теперь забыть не могу, глаза другой раз закрою: лежит Миша, весь в крови, и в небо смотрит... Потом Руслана ранило. Стрелять он уже не мог. В руку попало и в живот. Я расстрелял все патроны. Пополз к Руслану. Головы не поднимаю, так, на голос его ползу. Он стонал сильно, меня все звал. Он тоже весь в крови. Целая лужа натекла. Страшное дело. Никогда не видел, чтобы у человека столько крови вытекло и он еще жил бы. Он корчится, живот рукой зажимает, а из раны вместе с кровью течет что-то. Взвалил его на плечи и бегом к дороге. Там наши броники стояли, из пулеметов лупили. А духи нас уже засекли. Первая пуля была в ногу, я сразу и упал. Как падал, не помню, ничего не помню, даже боли не помню. Ребята нас вытащили. Потом вертолеты прилетели и забрали нас. У меня в руке граната была с вырванной чекой. Так вот они еле пальцы мне разжали. Зря я побежал, и Руслана не спас, и себя загубил. Руслан умер в госпитале. В живот — самое плохое ранение. Мучился долго.

— Зачем тебе была нужна граната? — спросила сквозь слезы Вера.

— Зачем? Граната всегда нужна, — ответил Николай.

Окна обозначились, забледнели — совсем рассвело. По дороге промчалась легковая машина, затормозила неподалеку, и голос Паукова позвал властно, нетерпеливо:

— Хуланенков! Подойди-ка сюда! Да побыстрее! Побыстрее!

Дальше говорили тише, ничего нельзя было разобрать. Только один раз голос Мишки Хуланенкова взвился над пустынной улицей:

— Да пошел ты!.. — и снова опал.

Николай потянулся к окну, дернул штору, она качнулась и закрыла ясную полоску утра. Сказал, кивнув на зарозовевшую штору:

— Этот-то все командует?

— Командует. Что ему сделается? — И она, мельком взглянув на мужа, спросила осторожно: — Ты ж с ним вроде бы ладил?

— Был грех — терпел. Теперь некогда. Эх, жаль, не придется мне с ним больше работать вместе!

— Почему не придется? Мы ведь никуда не собирались уезжать. Ты всегда писал мне, что скучаешь по Крисаново-Пятнице. Или это тоже неправда?

— Правда, Вера, правда, хорошая моя. — Он обнял ее за плечи, прижал к себе. — Не работник я теперь. Инвалид второй группы. Ты же сама видишь, какой я. Тяжелое ранение. Может, еще и пройдет. Вот тогда группу снимут. Только когда это? Работать охота. Во как работать охота, Вера! А Пауков... Что он мне предложит? Сторожем на ток? Или кладовщиком? Метлы скотникам выдавать? Нет, Вера, ты же меня знаешь, мне на землю хочется, в поле. Ладно, оклемаюсь малость, на комиссию съезжу, а там видно будет, что и как. Только в сторожа я, Вера, не пойду. Пусть там пока дед Пахом делами заправляет.

Он погладил ее волосы.

— Самое страшное уже позади. Я деда на станции в Городке встретил. Мудрый дед. Из Студенца. Так он, дед этот, знаешь, что сказал?

— Что?

— Ничего, говорит, солдат, держись. Нашему брату,

мол, похуже еще приходилось. Примкнуть, говорит, штыки.

— Какие штыки?

— Есть такая команда: примкнуть штыки. Это — когда в атаку или когда уже все, до предела дошло.

— Господи, почему ж нам так не везет в жизни!

— Разве? Перестань, все нормально. Нормально, Вера. А ну-ка прекращай. Посмотри на меня. Посмотри и скажи прямо, может, я тебе, такой вот, с костылем, с дырявой грудью, в тягость?

— Что ты говоришь?! Что ты такое говоришь?! Кто тебе позволил так говорить со мной?!

— Хорошо. Больше об этом — ни слова. Только, давай сразу договоримся, и ты обо всем этом — ни-ни. Чтобы я ничего такого не слышал. И не жалей меня. Противно, когда жалеют. И об Афгане тоже не надо больше. Не надо. Как-нибудь сам расскажу все. А что касается работы, то я еще поработаю. В совхозе давно пора порядок навести. Пауков-то, по всему видать, зажирел на государственных пайках. С народом вон как разговаривает: «Подойди-ка!» да «Побыстрее!» Народ тут податливый, терпит. Пауков это чувствует. Что-что, а психолог он хороший. Он знает, где нажать, а где и подождать можно.

Она не хотела рассказывать ему о недавней истории, думала, как-нибудь потом, но, может, потому, что именно Мишку отчитывал за окном директор, может, просто оттого, что никогда и ничего не умела таить и оставлять на потом, — вспомнила она ту кошмарную ночь и то, что было потом — сплетни, насмешки и намеки директора — и рассказала обо всем.

— Ладно, разберемся, — ответил Николай; голос его сразу стал глуше, резче. — Разберемся и с этим.

— Но ты-то хоть мне веришь?

— Чего бы мы стоили — без веры.

— Я не понимаю, зачем ему это нужно? Небылицы. Не понимаю.

— Зачем... Ты ведь как огонь — спокойно жить не можешь. И ему покоя не даешь. То там подпалишь, то здесь обожжешь. — И спросил неожиданно: — Отчитываетесь сейчас как?

— Как и всегда — набавляет процентов на тридцать. Проценты могут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от времени, ситуации. Точнее сказать, все за-

висит от настроения и желания директора. Если в районе в целом дела плохи, то «Рассвет» всегда готов выручить. «Рассвет», ты же знаешь, никогда не подведет.

— Зарывается Пауков. Это ж подсудное дело — недостоверная отчетность. Вот он тебя в руки взять и решил. Чтобы попокладистей была. Вспомни, как ты со сводкой о весеннем севе нервы ему потрепала?

— Знаешь, я тут еще статью в районку накатала, — призналась Вера.

— О чем?

— Обо всем понемногу. О бригадах подрядных, о том, что они существуют у нас только на бумаге. О том, что огороды людям нужно обрабатывать совхозной техникой и в первую очередь. Ну, в крайнем случае, одновременно вести работы и там, и там. Количество тракторов и прицепной техники это позволяет. Привела необходимые цифры, расчеты и прочее. На вот, почитай.

Вера вытащила из тома Сельскохозяйственной энциклопедии вырезку из районной газеты и подала ее Николаю.

— А еще хочешь, чтобы тебе теперь спокойно жилось, — прочитав статью, сказал Николай. — Да ты теперь заклятый его враг. Иван Николаевич таких поступков не прощает. А это — поступок ого-го! Ты здорово написала. Ты и письма мне хорошие писала.

— Тебе нравились мои письма?

— Некоторые из них я привез, — ответил он.

— Зачем?

— Не знаю.

В семь часов Вера ушла на планерку. Даже чаю не успела попить. Но вскоре вернулась, сказала, улыбаясь:

— От-пус-тил! Представляешь? На два дня отпустил. Я и не просила. Сижу в уголке, молчу, а он: на два дня, говорит, по случаю возвращения мужа из рядов нашей Советской Армии домой.

— Прямо так и сказал?

— Прямо так.

Николай усмехнулся.

Вера повесила в прихожей куртку и задержалась возле зеркала: взглянула по привычке на свое отражение и удивилась тому, как блестят у нее глаза. Как трава после дождя, улыбнулась она и снова повторила мысленно: как трава после дождя.

— Он тебе сейчас позвонит. Планерка закончится, и

позвонит. Поговорить с тобой хотел. Обиделся, что ты к нему не зашел.

— Зайду еще. Успеется.

И действительно вскоре зазвонил телефон. Николай снял трубку. Разговаривал сухо и скупо: здравствуйте, Иван Николаевич, да, ничего опасного, нет, с работой пока придется подождать, нет, ничего не надо, все есть, вечером зайду, да, надо поговорить.

Вечером Николай оделся в солдатское и вышел на улицу.

На скамейке под черемухой сидели старухи. Он поздоровался, и они ответили:

— Здравствуй, сынок. Доброго тебе, милок, здоровьица. Отслужился?

— Отслужился, — сказал он и по тропинке, белевшей в черемушнике и акациях, захромал в сторону директорского дома.

— Вернулся. Ну и слава тебе, господи. То-то радость бригадирке нашей, — вздыхали вслед ему.

Вера включила телевизор и забралась на софу, поджав под себя ноги. Передача оказалась скучной, она выключила телевизор и в отстоявшейся тишине почувствовала сразу, как пусто в доме без Николая. И подумала о том, что теперь она и дня, пожалуй, не сможет прожить без него — одна. Она побродила по комнатам, включила в прихожей свет и снова постояла возле зеркала. Глаза все еще светились, но уже не так, как утром. Она себе не нравилась.

Зачем он пошел к Паукову? О чем ему с ним разговаривать? Мог бы и по телефону поговорить, в крайнем случае, зашел бы в контору. Резким стал каким-то, несдержанным. То молчит, то вдруг начинает взахлеб все рассказывать, объяснять. А Пауков, если Николай начнет ему рассказывать что-нибудь наперекор, сразу обо мне станет докладывать. Что было и чего не было — все в дело пойдет. Вера вспомнила, как вспыхнул тогда, на переезде, всегда такой сдержанный и терпеливый Мишка Хуланенок, и ей стало неспокойно за Николая. Уж если Мишка не вытерпел, а мой же и подавно... Она встала, походила по кухне, от окна к двери, от двери к окну, постояла над чайником, подержала над ним ладони, будто они мерзли. Вода в чайнике стала робко посвистывать. Но Вера выключила газ, прошла в прихожую, накинула на плечи куртку и торопливо сбежала по лестнице.

Возле калитки у директорского дома Николай остановился, постоял немного, затоптал недокуренную папиросу, во рту от табака стало горько, расстегнул верхние пуговицы гимнастерки, потер вспотевшую грудь и шею. В госпитале, особенно перед выпиской, он тщательно скрывал от врачей свои недомогания, держался, хотелось поскорее домой, а теперь будто караулит, настигает эта противная слабость. Да, видно, и вправду караулила, подумал он, ждала, когда приду домой. Чтобы больнее было. Может, действительно курить бросить? Или хотя бы — поменьше? Во рту горько...

Николай посмотрел на освещенные окна, свет горел даже на веранде, и, поднявшись на крыльцо, нажал кнопку звонка. Когда он собирался идти к Паукову и когда уже шел сюда, даже минуту назад, когда курил и смотрел на освещенные окна дома, не знал, как поступит, что скажет, и вообще, зачем идет, хотя с самого начала ком злобы лежал на дне души и давил, жег, а теперь, когда где-то там, в тишине дома, потревоженного его звонком, услышал звуки шагов, сдерживаемое покашливание, понял, что, если выйдет жена Паукова, Нина Николаевна, или дочь, он уйдет отсюда, так ничего и не разрешив. И злоба измучит, задавит его. Потому что, так складывалась в последнее время его жизнь, разрешением проблемы для него было сиюминутное действие. И только действие. Вариантов не было, варианты предполагали выбор. А на него попросту не оставалось времени.

Дверь уже отворяли и, когда он увидел в дверном проеме лицо Ивана Николаевича, его коренастую, заметно прибавившую вширь фигуру, подумал удовлетворенно: ну вот и хорошо, вот и добре, как сказал бы наш прапорщик Нечипоренко.

— Николай! Донцов! — Пауков вскинул руки, засмеялся громко, но в глазах его Николай заметил настороженность. — Ну, проходи в дом. Проходи. Гостем будешь, герой Афганистана. А мы тут тебя, понимаешь, к весне ждем. Молодец, молодец, ничего не скажешь.

Николай стоял молча. Пауков же говорил и говорил, размахивая руками, приглашая его войти:

— А в контору-то почему не зашел. Я, признаться, немного даже обижен.

— Ничего, переживешь, — сказал Николай, и ему захотелось опереться на что-нибудь, будто земля под ним шатнулась, напомнив о том, что он забыл даже костыль. Слабость теперь подалась в ноги, он почувствовал, как задрожали колени. Рано, рано тебе еще без костыля. Споткнешься где-нибудь и не поднимешься.

— Н-не понял. Что ты, Николай, сказал?

— Переживешь, говорю. Невелика беда. А вот зачем ты, Иван Николаевич, солдатку обидел, за это я хочу спросить.

— Солдатку? Какую солдатку? Николай, ты, видимо...

— Знаешь, какую солдатку. Тут она одна была на всю деревню.

— А-а, — натужно засмеялся Пауков, — так это ты о Вере Александровне?

— Эх, нехорошо это, Иван Николаевич, солдатку обижать.

— Постой, Николай, что это у нас за разговор? Ты проходи. Проходи, там и поговорим обо всем.

— Некогда мне.

— Некогда? А, да, понимаю. Вера Александровна, видимо, уже ждет. Угадал? А? Да, Николай, наговорили тебе, вижу, с три короба наговорили. Что ж, на чужой роток не накинешь платок. Но, Коля, дорогой, если обращать внимание на все, что о нас говорят, то как же жить? Деревня... В деревне, брат ты мой, живем.

— Я тебе не брат, — оборвал его Николай.

Но Паукова, казалось, ничуть не смутили его слова. Переждав мгновение тяжелого молчания, он снова заговорил ровным, спокойным голосом:

— Деревня, Коля, без слухов и сплетен не живет. Тут это вместо театра и кино. Вот обо мне, например, так и вовсе невесть что...

Николай уже не слушал его, он сосредоточил все свое внимание на подрагивающем подбородке Паукова, и в следующее мгновение тот уже падал, тяжело и грузно, на табуретки, в глубину веранды. Николай ожидал, что на шум сейчас кто-нибудь выйдет из дому. Если дочь — испугается. Надо было, промелькнуло у него в помутневшем сознании, хотя бы отвести его от крыльца. Если жена, тоже испугается. Но из дому никто не вышел. Видимо, там никого не было. Николай ждал, когда Пауков зашевелится. Вскоре тот действительно повернулся на бок, так же молча подполз к стене и привалился к ней плечом.

— Ну, Иван Николаевич? Почему же ты не смотришь мне в глаза?

Пауков дышал тяжело, похоже, он не вполне еще пришел в себя. Он ничего не ответил Николаю.

— Коля! Что ты наделал! Ты ударил его? — услышал Николай испуганный голос Веры. Он оглянулся: Вера стояла по ту сторону штакетника и испуганно смотрела на него.

Да, теперь пора было уходить. Николай еще раз посмотрел на Паукова, спросил:

— Может, тебе помочь встать? Или воды принести?

— Сам. Сам. — Пауков замахал рукой, и, глядя на это, Николай едва не рассмеялся.

— Вот ты тут у нас, Иван Николаевич, — сказал он, нагнувшись к Паукову, — и царь, и бог. Все тебя боятся. Все делают по-твоему и только по-твоему. Глаза боятся на тебя поднять, когда, не дай бог, провинятся в чем-нибудь. И уж тогда ты их терзаешь! Унижаешь! Уничтожаешь! А какое ты на это имеешь право? А? Ты же трус еще, как выяснилось. Ну, воды дать? Да ты не думай, что насмехаюсь, мне тебя и вправду жаль, сволочь такую. Ладно, полежи, подумай, как тебе дальше нами править.

Поговорили, подумал с усмешкой Николай и носком сапога резко захлопнул дверь. Он ни о чем не жалел.

Он взял Веру за плечи и отвел в тень акации.

— Зачем ты ходила за мною? Ты что, следила? Глупо. Больше не делай этого.

— Но ты ведешь себя как-то странно. И я боюсь...

— Чего ты боишься?

— Что ты натворишь чего-нибудь такого, что потом невозможно будет поправить.

— Ты боишься, что я кого-нибудь убью? Успокойся, я никого не убью.

— Я не об этом... Я хотела сказать, что ты стал каким-то другим. Совсем другим. — В голосе ее был страх. Страх и отчаяние. — Раньше ты был не таким, я теперь боюсь за тебя. Ну что такое с тобой, миленький? А?

— Да, возможно, я изменился. — Николай отпустил ее плечи и полез в карманы за куревом. — Прошло время... Вера, ты понимаешь, время прошло! Того, что было, уже не будет. И вспомни, как ты раньше упрекала меня за мягкотелость, за бесхарактерность.

— Ой, что ты наделал! Что ты наделал, Коленька!

Спички в его пальцах ломались, и он никак не мог прикурить. Он сунул папиросы обратно в карман и сказал, что раньше все мы были другими, что с этим нужно смириться, что иного выхода просто нет.

— Дай-ка я тебя обниму как следует, — засмеялся он. — Все? Успокоилась?

— Успокоилась. Ты весь в поту. Дрожишь. Господи, ну зачем ты его ударил? Он же завтра в милицию сообщит, что его избили. Он, может, сейчас уже звонит. У него везде друзья. Тебя могут забрать. Он на все способен, ты еще плохо его знаешь.

— У него — друзья? Успокойся, Вера, это не друзья. Он и все они и знать-то не знают уже, что такое — друзья. Що це таке, как сказал бы наш старшина. У него есть небольшая упряжка шакалов, которые везут только тогда, когда их хорошо кормят. Когда им, к примеру, каждому, по полтуши свеженькой говядинки к праздничку подбросит наш начальник или по паре баранчиков. Разумеешь? Сам-то он, Пауков, тоже — в упряжке. Только в более солидной и выносливой. И хозяином у них товарищ более представительный. И я вот своим крестьянским умом думаю: а что, если у него возможность-то эту — подкармливать шакалов совхозным добром — отнять? Если ему взять да по рукам?

— Если бы. Да он не дурак, все хитро делает. Так что нам с тобою революции в совхозе не сделать. А я вот попыталась. Нужно, чтобы люди сами все поняли, чтобы все разом заговорили.

— Люди молчать будут. Даже если им будет совсем плохо. Люди все будут думать, что кому-то еще хуже, что, ладно, мол, потерпим, что ж поделаешь. Чего-чего, долготерпения у них хватит на двоих Пауковых. Ты не сделала, а я сделаю. А уж за сплетню я с него в любом случае спрошу.

— Что ты еще собираешься делать? Ой, не надо бы ничего, а?

— Почему ж не надо? Надо. Очень даже надо. Зло должно быть наказано. Разве не так нас в школе учили? Как он вас всех тут запугал. Коллективно дрожите. Великолепное зрелище. А почему дрожите, и сами толком не знаете. Давай-ка сядем, посидим немного. А в милицию он не сообщит. — Николай усмехнулся. — Не такой он дурак, верно ты заметила. Он теперь ждать будет. Удобного случая. Когда, к примеру, я оплошаю. Или ты — где-нибудь в чем-нибудь. Вот тогда-то он и вынырнет.

— Давай я тебя согрею, — сказала Вера, ей уже не хотелось ни говорить, ни думать о том, что случилось. Обняла за шею. — Может, за фуфайкой сходить?

— Не надо, так хорошо.

Ночь легла на деревню тихая, густая. Такие ночи бывают разве что осенью — гулкие, покойные. И коротать их нужно вдвоем, иначе крепко затоскуешь, волком завоешь. Такие ночи и страшны и хороши одновременно.

— Ну? — Николай поцеловал Веру в висок. — Не журись. Это прапор наш, Нечипоренко, говорил так. Хороший мужик был. Ну, чего ты зажурилась, хорошая моя? Не надо. Видишь, жизнь-то наша налаживается помаленьку.

Он снова поцеловал ее, теперь в щеку и в уголок полураскрытых губ. Она ответила, будто только того и ждала. Да уж верно, ждала. Она ответила и еще крепче прижалась к его груди. И горечь таяла, таяла оттого, что счастье было так огромно, и это невозможно было так вот, сразу, омрачить даже тем, что произошло полчаса назад. Она и с Николаем хотела поделиться своим счастьем; и она зашептала ему, потом вдруг поняла, что не то говорит, не то совсем, и замолчала. Но зато уж целовать стала крепче. Но сдержанность Николая в конце концов остудила и ее горячие губы. Да, подумала она, как здорово он изменился. И спохватилась сразу, словно бы защищая его: да ведь и я прежней не осталась. Да, теперь надо жить тем, что есть. Да и что мы такое потеряли? Ничего ведь не потеряли. Главное, что друг друга не растеряли.

Окончание на стр. 161



ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Товарищ

«ЭТО ВСЕ ПОТОМ БУДЕТ ХЛЕБОМ...»

ГОРОДОК, где он родился,— деревянный, одноэтажный. Впрочем, и не городок это даже, а поселок. Рабочий поселок Солгинский, что на самом стыке архангельских и вологодских земель в темных лесах затерялся. А Витька все же больше любил Пежму — за неохватный простор, за светлые холмы. А может, потому Пежма ему так мила, что отец родом оттуда. Отработав на своем кране две смены, отец за полночь добирался до дома и, едва перекусив, усаживался у Витькиной постели. Ах, какие книги пересказывал он сыну: «Капитанскую дочку», «Дубровского», «Овода»... Отец умер совсем еще не старым — сказалось военное детство. Если положить рядом фотографии отца и сына — очень похожи.

Перечитаю записки и письма,
Старые фото пересмотрю —
И ты придешь ко мне, памятью высвеченный,
И я пойму, почему так люблю
Этот домик, в черемухах спрятанный...

И мама войну захватить успела тоже...

Мама девочкой пятнадцатилетней
Из чердачного смотрит окна...
Беломорье. Холодное лето.
И Отечественная война...

А они еще девочки-школьницы,
И в косичках у них еще бантики,
Но уже — защитники Родины:
И ремни по уставу, и ватники...

Впрочем, непростое детство своих родителей он до конца поймет и оценит, лишь став солдатом. Там, на границе, в дозоре, и отец, и мать, и вообще многое привычное вдруг высветилось совсем по-новому...

ИЗ СВОИХ дальних краев он приехал в Ленинград, определился на Кировский завод.

Направили парня в центрально-ремонтный, грузчиком. Конечно, «перебрасывать железки» — занятие не самое интересное. Хотя и зарабатывал новичок вполне прилично, однако заскучал. Перевелся на участок нестандартного оборудования, стал ремонтировать мостовые краны.

В бригаде оценили быстро: Бовыкин — работник стоящий, так подшипник отмоет от грязи, что любо-дорого! Да, проверку «на грязь» он выдержал. Особенно трудно было осенью, во время профилактического ремонта стана в прокатном: буквально тонны грязи снимать пришлось. Зато, когда наконец-то стан запустили, получился такой праздник: сталевары — «при галстучках», к слесарям — чуть ли не по имени-отчеству... И, глядя на новорожденный металл, к которому он, Виктор, теперь тоже имел отношение, парень подумал о поле, о хлебе: ведь предназначен этот металл для тракторов — так что связь получается самая прямая...

Этот пышущий жаром металл,
неподвластный руке человечьей,
возмущенно в груди рокотал
темноликой мартеновской печи.
И рычал, точно загнанный зверь,
грудью бился своей многотонной.
Но лежит покоренный теперь,
тяжко замерший перед разгоном...
И пошел... Нарастающий ход...
И прокат прогибается стеблем...
Это все непременно взойдет,
Это все потом будет хлебом!

Захотелось освоить новую профессию — и пошел в фасонно-литейный, обрубщиком. Знал, что дело обрубщика — не для слабых, но все равно привыкал с трудом. Напряжение при общении с вибрационной машиной такое, что, случалось, проснется утром, а пальцы — не разогнуть. Ничего, освоил и это.

И вдруг выясняется, что надо начинать все сначала: в так называемом ШИПе, цехе штампов и приспособлений,— острая нехватка рабочей силы. Цех после реконструкции, оборудование новое, люди здесь в основном молодые. Так вот, Бовыкину предложили перейти именно сюда. И стал комсомолец упрямо постигать очередную специальность — газорезчика.

Не так много времени с той поры минуло, но Лев Ильич Трелин, мастер, называет уже Бовыкина асом. «Ну уж ас,— смеется Бовыкин. — Вот Володя Козлов — это действительно ас!» Однако вообще-то Виктор молодец. Хитрое ли это занятие — резать болванки? Оказывается, очень хитрое. Первым делом надо уточнить марку стали, с которой предстоит работать. Затем, исходя из этого, выбрать режим резки, то есть подобрать нужный мундштук, определить оптимальное давление кислорода. От тебя зависит, как ты разогреешь металл, как заведешь машину, как задашь ей движение. Причем трудно еще и потому, что постоянно приходится смотреть на пламя: очки тут не помогут, так как надо действовать по разметке, обозначенной мелом. Конечно, пыль, копоть, шум... И физические нагрузки — ого: попробуй-ка хотя бы болванку закатить на поддон! Но, бывает, выведет Бовыкин свой газорезательный полуавтомат на контур и, если

контур не очень сложный, книжку открывает. «На книгах,— смеется,— помешан я давно...»

В четырех библиотеках записан: в заводской, общежитской, на улице Циолковского и у Балтийского вокзала. А иначе разве мог бы приносить в свою комнатку сразу и Лермонтова, и Грина, и Рубцова, и Симонова, и Хемингуэя, и Бальзака, и Стендаля, и Бернса... Снова и снова вслушивается в Заболоцкого: «Тот, кто жизнью живет настоящей, кто к поэзии с детства привык, вечно верует в животворящий, полный разума русский язык...»

В его общежитской «келье» на проспекте Огородникова — кроме книжных залежей, взятая напрокат пишущая машинка и велосипед. Велосипед — для поддержания спортивной формы. Но вообще-то Бовыкин бегает, в неделю — десятки километров. Конечно, и на завод бегом, и обратно, причем в любую погоду, хоть и тридцатиградусный мороз: натянул тренировочный костюм, кеды — и в путь! Так пятикилометровая дорога до проходной укладывается в двадцать минут. А перед этим «кроссом» в соседнем сквере непременно обтирается снегом. Даже в столь обожаемой бане («Баня — моя слабость») не столько парится, сколько стоит под ледяным душем...

Да, на работу — бегом. А вечерами и в выходные по городу предпочитает бродить не спеша...

Вздыбленные кони над Невой.
Снег Сенатской от заката ал.
Пушкин с поседевшей головой
С пьедестала на меня взирал...
Я бродил весь вечер напролет,
Бормотал беспомощно стихи —
И кружил меня водоворот
Человечьих и иных стихий...

В цехе мне сказали: «Бовыкин? Мировой парень, страхделегат!» Однако, услыхав от меня про «страхделегата», Виктор удивился: «Это они, наверное, имеют в виду, что я ходил в больницу к Ивану Ивановичу. Так ведь вовсе не по какой-то там «общественной» линии, а по нормальной, человеческой...»

По человеческой... обрадовался старый рабочий и неожиданному гостю, и апельсинам. Расчувствовался, вспомнил войну. Про войну у них зашел разговор еще и потому, что в газетах — снова и снова тревожные вести...

Уже привычно: третья полоса —
И кровь сочится между строк упрямо,
И веет от газетного листа
Прогорклым тяжким запахом напалма...

КОЕ-КТО из сверстников считает Виктора странным. Почему? Ну, во-первых, в отпуск на Черное море ни разу не ездил. Только домой, чтобы маме помочь: летом — на сенокосе, зимой — дров наколоть (самое любимое занятие!). Во-вторых, потому странный, что не понимает, как это можно пойти в театр без галстука. В-третьих, очень уж пунктуален: ни на работу, да и вообще никуда ни разу не опоздал.

В общем, много знают в цехе про Бовыкина. А вот про то, что он пишет стихи, понятия не имеют.

Лев ИСАЕВ



МЫ КУЗНЕЦЫ!..

ДОВОДИЛОСЬ ли вам видеть девушку в фартуке, с инструментом в руках, у кузнечного горна? Вряд ли... И все же, несмотря на всю кажущуюся парадоксальность такого факта, в дружном коллективе кузнецов-любителей Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина худенькая, отнюдь не отличающаяся атлетической силой студентка четвертого курса Дина Мясникова, как говорится, «свой парень». Но о Дине и ее коллегах-кузнецах, будущих школьных педагогах, несколько позже.

Сначала о таком необычном явлении на сегодняшний день, как сочетание: педагогический институт — кузница.

Все начинается с идеи. Она вынашивается, оформляется, и, казалось бы, остается только воплотить ее в жизнь. Но, оказывается, воплотить бывает труднее всего. Кто-то в идею не верит, кто-то верит, но ссылается на «объективные трудности», а кто-то и верит и не ссы-

лается на трудности, однако просто отмахивается от нее рукой как от назойливой мухи — дескать, не до идеи сейчас... Идея угасает, затем ее попросту выбрасывают на свалку.

Тут-то и нужны особые качества носителя, точнее — «родителя» идеи: он должен быть не только энтузиастом своего дела, не только одержимым, он должен быть ЛИДЕРОМ — пусть сначала даже небольшого коллектива единомышленников. Он должен показать, на что способен сам, зажечь других своей идеей, а уж потом... «Если дружно навалимся, то...»

Выпускник художественно-графического факультета МГПИ Владимир Сидоренко защищал свой диплом на заводе «Серп и молот». Тема диплома выходила за рамки обычного: «Уголок отдыха на заводе».

Что тут необычного? А то, что декоративные панно, перегородки, столики, стулья и прочие атрибуты уголка были... коваными

Дипломная работа получила оценку «Отлично с похвалой» — оценку весьма редкую, а самого Сидоренко пригласили работать на родной кафедре декоративно-прикладного искусства.

Судьба не баловала Владимира. До поступления в вуз он успел поработать и осветителем на киностудии, и в мастерских худфонда, и на заводе. Только после всего этого он пришел к убеждению, что нет ничего прекраснее и благороднее, чем быть учителем, воспитывать молодое поколение.

Еще студентом четвертого курса Сидоренко увлекся кузнечным горном. Огонь делал неподатливое железо мягким, «послушным», из него, как из пластилина, можно слепить все что угодно. Часами простаивал он в кузнице «Серпа и молота», любуясь работой кузнецов. И вот тут-то пришла идея! А что, если? Поначалу он даже усомнился: нет, не выйдет. Но если попробовать все-таки?

И Сидоренко, никогда не державший в руках молота, не обладавший большой физической силой, решился. «Это то, о чем я мечтал»,— признавался он позже.

Так он стал лидером.

Ему повезло. Его идеи встретили понимание и поддержку в ректорате, получил он «добро» и на своей кафедре.

Кузницу строили, как говорят, всем миром. Ректорат предоставил в распоряжение энтузиастов бывшую котельную института. Сейчас, когда смотришь, как полыхает огонь в обоих горнах, трудно даже представить, какую многотрудную подготовительную работу провели здесь ребята, сколько всякого мусора было извлечено отсюда, сколько завалов было расчищено... Сделали один горн, потом второй, поставили две наковальни, обзавелись инструментом, получили уголь, металл...

Известно, что законченность изделию придает не что иное, как ручка,— будь то ручка входной двери, шкафа или электронного устройства. Представьте: дверцу инкрустированного секретера вы открываете при помощи торчащего ржавого болта... Нелепость!

Так вот, процесс обучения новичка в кузнице начинается именно с ручки. Ему показывают эскиз изделия, выполненный студентами кафедры декоративно-прикладного искусства. Чтобы не гасить в начинающем кузнеце творческое начало, в его работу никто не вмешивается: делай все сам! делай как подсказывают тебе твое чутье, твоя интуиция!

Естественно, теорию ковки, практические навыки, технику безопасности новичку преподносят наставники. Сидоренко с первых дней



Ольга Макарова.

Занятия со студентами ведет Владимир Сидоренко (в центре).





Светец. Работа А. Ладыгина.

Вот такой меч отковал Игорь Волков...



работы кузницы поставил перед собой задачу: не навязывая своего мнения, научить, как профессионально, с высоким качеством выполнить работу. И непременно после завершения работы следует творческий анализ, обсуждение, разбор. В небольшой комнатке, примыкающей к кузнице, разбираются все достоинства и недостатки выполненного задания.

Сидоренко, между прочим, сам прошел хорошую школу мастерства, постигая азы кузнечного дела, перенимая полезный опыт у знаменитых кузнецов-профессионалов. Он встречался с ними на фестивалях кузнечного мастерства, ездил к ним на стажировку. С них охотно делились своим умением, своими «секретами» В. И. Басов из Суздаля, А. И. Бушмелев из Пскова, В. П. Мокеев из Архангельска.

Он начал собирать литературу по кузнечному делу, сейчас у него уже приличная библиотека, которой могут пользоваться все, кто всерьез увлекся художественной ковкой.

Продолжим, однако, рассказ о Дине Мясниковой, девушке-кузнеце. Поначалу она и не помышляла о ковке. Разрабатывая те или иные эскизы, иногда заглядывала в кузницу, где хозяйничали парни. Кузнечное дело так увлекло ее, что спросила себя: «А чем я хуже мужиков?» В детстве отец одобрял любое ее хорошее начинание, но вряд ли и он мог предположить, что однажды его дочь встанет у горна в кузнице...

Свысока, со снисходительной усмешкой смотрели «мужики», «кузнечных дел мастера» на нежное создание, подошедшее к пылающему горну. Что-то будет?

А было вот что. Дина отковала волюту — спиралевидный завиток идеально правильной формы. Усмешки мгновенно исчезли. Расходились парни молча.

На следующий день, придя в кузницу, Сидоренко застал такую картину: все «мастера» трудились над завитками, перед ними, как эталон, лежала волюта, сработанная Диной...

ПРОБЛЕМА творческой личности всегда была и остается актуальной. Сейчас в ряде стран создаются центры по изучению творчества. Человека важно не только обучить мастерству, но и пробудить в нем именно творческую личность.

Известно, как положительно влияет на творческий процесс конкуренция. Не надо бояться этого слова, слишком долго оно было запретным. Ведь речь идет о конкуренции в лучшем смысле этого слова. Если ты выполнил изделие с каким-то хитрым завитком или оригинально решил композицию, то другой мастер непременно захочет сделать что-то более интересное. Это психологически объяснимо, и от этого не уйдешь. Но повторяться в творчестве нельзя, можно использовать опыт, метод, но в итоге должно быть сделано что-то свое, особенное, не похожее на прежнее.

Дать путевку в жизнь творческой личности... Этой цели подчинен весь процесс обучения в пединституте в целом и на кафедре декоративно-прикладного искусства в частности. Коллектив кафедры прекрасно отдает себе отчет в том, что студенты, получив дипломы, станут работать в школе. И, кроме занятий, например, живописью, они смогут многому научить школьников: познакомить их с миром вещей, на первый взгляд самых бросовых (банки, тряпки, палки), но пригодных для изготовления замечательных изделий. Из кусочков разноцветной материи, например, создавать оригинальные аппликации или куклы, жестяные банки использовать для чеканки, а из дере-



Знак визуальной информации. Работа Б. Скоморовского.

ва мастерить множество разнообразных поделок, — была бы фантазия! Будущие педагоги могут воспитывать в школьниках не только эстетические вкусы, но и уважение к материальным ценностям.

Становлению творческой личности способствует и работа мастерской художественной ковки, которой руководит Владимир Сидоренко. Для него педагогика и искусство — единое целое. Он обладает редким талантом — увлечь людей делом. Он помогает ребятам увидеть красоту огня, красоту раскаленного металла, красоту кузнечной работы. Сейчас Сидоренко мечтает о том времени, когда будет построено новое здание факультета и начнется строительство новой кузницы с тремя горнами. Он мечтает создать на базе новой кузницы центр молодежной инициативы, который работал бы на основе самоокупаемости, центр, где собирались бы люди, исповедующие добро и красоту.

Уголок отдыха на «Серпе и молоте» — дипломная работа В. Сидоренко.





Украшения. Работа О. Макаровой. Медь, стекло.

Всего четыре года существует мастерская художественной ковки, но знают о ней уже многие. Представители педвузов Семипалатинска, Полтавы, Уфы, Витебска, побывав в кузнице, увидев увлеченных работой ребят, решили создать кузницы и в своих институтах. Кое-кто мечтает строить кузницы не только при городских школах, но и при сельских, где они особенно нужны.

ШКОЛА И ЖИЗНЬ... Много лет они были оторваны друг от друга. Очень хочется представить их в виде буксируемого и буксирующего автомобилей. Буксирующий — это жизнь. Между ними сцепка. На каком-то этапе пути она разорвалась. Жизнь ушла вперед. Школу пытались подталкивать плечами, а разрыв тем не менее увеличивался. Давно уже пора связать трос, уравнять скорости, сократить дистанцию и идти колесо в колесо. И должны это сделать педагоги — энтузиасты, одержимые люди, смотрящие вперед.

Статья эта называется «Мы кузнецы!». Многим захочется продолжить: «И дух наш молод». Да, дух настоящих и будущих педагогов молод, и среди молодых они всегда будут молоды сами.

О. ЛОБАНОВА
Фото А. ЕГОРОВА

А. БЕДЕРОВ

ДИАЛОГ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО...

НАЧИНАЛОСЬ как обычно. Сверялись графики дежурств в Шереметьево-2, составлялись списки переводчиков, собирались на «летучки», ежечасно утрясались сложности в общей массе проблем... Телефоны не замолкали даже за полночь, штаб работал круглосуточно.

Ответственный за авиатранспорт Коля Родин никак не мог связаться с Аэрофлотом и устало набирал один и тот же номер. Наташа Афанасьева заполняла карточки аккредитованных журналистов. Саша Самошкин терпеливо объяснял сопровождающим делегаций, что и как они должны делать. Галя Карпова «колдовала» над культурной программой. Словом, атмосфера была деловая и достаточно напряженная.

Вот уже несколько дней шла работа по проведению и организации первого в нашей стране Международного фестиваля молодежной прессы.

Возникает вопрос. Молодежная печать в нашей стране существует с первых дней революции. Почему же до сих пор ни разу у нас не проводилось подобных встреч! Почему только сейчас возникла идея проведения международного молодежного форума! На этот вопрос мне ответил «шеф-распорядитель» фестиваля Михаил Гусман:

— Главный аргумент в пользу фестиваля — возросшая роль молодежной печати в нашей стране. За годы перестройки наши газеты и журналы стали авторитетными источниками массовой информации не только в Союзе, но и за рубежом. Возникло немало проблем и вопросов. Потому и решили мы встретиться в Тбилиси — городе, объявленном ООН «посланцем мира», чтобы вместе с коллегами поразмышлять, о чем-то поспорить, обсудить проблемы, представляющие взаимный интерес... Работая над организацией фестиваля, мы сразу же отказались от слова «мероприятие». Необходимо на деле изжить дух юбилейщины и показухи. Мы не писали традиционных докладов для тех, кто должен был выступать, не составляли сценариев фестиваля с обязательными «раскадровками». Главное, чем занимается штаб,— четкая координация всех служб фестиваля, который должен стать ярмаркой журналистских идей, диалогом единомышленников.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

В МОСКВЕ было солнечно, но по-осеннему прохладно. На бульварах и скверах толстым слоем лежали опавшие листья. Возле светофоров вспыхивали табло «Осторожно, листопад!», и колонна автобусов, направлявшаяся аэропорт Внуково, замедляла ход.

Тбилиси встретил гостей летним зноем, сокрушительным солнцем, белесым, выцветшим небом. Глаза щурились от ярких красок. С лиц не сходили улыбки.

Разместились в гостинице, осмотрелись и, засучив рукава, отправились на площадь Рике, где на берегу стремительной Куры раскинулись шатры фестивального городка. 20 человек в течение 20 дней возводили его на этой площади, а в этот вечер сюда прибыли участники, чтобы украсить свои павильоны, разместить экспозиции. До позднего вечера не смолкал шум в этой части старого Тбилиси. И, отправляясь домой, оглянулись, еще раз отметив, что и при свете полной луны не исчезла атмосфера праздника.

Опустел городок. Только шелестели на ветру плакаты, хлопали флаги и каменный Вахтанг Горгасали, основатель города, невозмутимо восседал на коне, словно напоминая, что пока он здесь — мир и покой будут царить в округе.

НАЧАЛО

С УТРА ТОЛПЫ горожан шли по спуску Бараташвили на набережную Куры, где раскинулся фестивальный городок. Ступив на улицу, посетители оказывались на оживленной выставке, где свою продукцию представили 500 издателей из 70 стран мира.

Трудно было определить, какой из павильонов пользовался большим вниманием. Каждый был интересен по-своему. Монгольские журналисты показали любопытную фотовыставку. Павильон Украины был увенчан традиционным венком, укрепленным под потолком,— венок создавал неповторимый колорит республики. Газета «Молодежь Грузии» расположилась в старом тбилисском дворике, где росло символическое дерево, на листьях которого каждый мог оставить автограф и пожелание. Перед входом в павильон «Комсомольской правды» стоял большой стеклянный шар, в который опускались пожертвования на программу «Долг» — они должны пойти на строительство реабилитационного центра для воинов-интернационалистов. Стенд издательства «Молодая гвардия» напоминал открытую книгу, каждая страница в ней была отведена отдельному журналу. Поляки в оформлении сделали основной акцент на традиционных молодежных плакатах, а немецкие журналисты оформили свой павильон как книжную лавку с витриной, где стояли популярные издания, а на прилавке лежали всевозможные сувениры. Кстати, деньги, вырученные от продажи сувениров — две тысячи рублей,— полностью были внесены на счет 708.

ДИАЛОГИ И МОНОЛОГИ

МНОЖЕСТВО встреч, множество впечатлений. Но не только в фестивальном городке проходило общение коллег. В разных концах города открылись дискуссионные центры. Те, кого волновала проблема охраны окружающей среды, встретились в клубе «Экология: ответственность перед будущим». Тема «Новое политическое мышление: идея и практика» привлекла журналистов, пишущих об участии молодежи в жизни общества. Немало интересных вопросов для обсуждения предложили и такие центры, как «Права молодежи — государственная защита или защита от государства!», «Общечеловеческие и национальные ценности — противостояние или единство!». В дискуссионных центрах встре-

тились журналисты и писатели, ученые, молодежные лидеры и общественные деятели.

Пожалуй, самую большую аудиторию собрал клуб «Свобода слова. Как мы ее понимаем?». Что есть гласность и должен ли ей быть предел? Достаточно ли полно отражается общественное мнение на страницах массовых молодежных изданий? Насколько независимы в своих оценках и суждениях журналисты и редакторы газет и журналов? Как пресса влияет на государственные решения? Всех вопросов и ответов не перечесть. Запомнились слова ливанского журналиста Али Хасана:

— В лондонском Гайд-парке есть такой уголок, где каждый может выступить и сказать все, что ему вздумается. И никто не может запретить. Это — свобода слова. Но есть различные уровни этой свободы. Можно ругать во всеуслышание правительство и его решения, но этим все и ограничится. Нужно найти такую форму, когда каждый человек будет иметь не только возможность высказаться, но и гарантии того, что его мнение будет учтено. Только при условии соблюдения этого требования может быть найдена надлежащая форма обеспечения свободы слова.

Радушные хозяева справедливо решили, что журналисты из других стран с интересом познакомятся с жизнью сельских районов республики. Накануне открытия фестиваля делегации разъехались в грузинские села. Кому-то были в диковинку традиции, быт и труд крестьян, а для кого-то участие в празднике сбора винограда — ртвели — было делом привычным. Журналистка из Франции Ариэль Дени, побывавшая в селе Чандари, рассказывала о своих впечатлениях, энергично жестикулируя руками:

— Нам, французам, понятен труд грузинских виноделов. И заботы и работа одинаковы. Глядя на труд гурджаанцев, полнее ощущаешь прелесть мирной жизни. И мы, молодежь, должны сохранить планету от любой катастрофы.

Матти Ниираиен из Хельсинки, представлявший газету «Тасавалта», лукаво блеснул глазами из-за стекол очков:

— Виноградная лоза — символ жизни! Не знаю, сколько винограда я собрал, но съел я его очень много... И не потерял охоты к спорам со своими коллегами!

Здесь, в Тбилиси, часто приходилось сожалеть о том, что не имеешь ста ног, ста глаз. Хотелось побывать на вернисаже молодых художников из клуба «Пиросмани», встретиться с кинематографистами творческого объединения «Дебют», увидеть выступление грузинских фольклорных ансамблей, но... приходилось лишь завидовать тем, кто сумел это увидеть и услышать. И все-таки мне удалось побывать на фестивальной свадьбе, которая стала «венцом» праздника. Кристиана Кауэр и Фредерик Кювийе встретились в столице Грузии. Она из Австрии. Он из Франции. А бракосочетание состоялось под сводами Тбилисского Дворца бракосочетаний. Надолго останутся в памяти молодожвнов торжественный зал, украшенный витражами, старинные грузинские свадебные песнопения и букеты роз, не умещавшиеся в руках.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

ФЕСТИВАЛЬ закрылся. Отзвучал прощальный гала-концерт. Пришло время расставаться с Тбилиси и радушными шефами. Стоя возле автобусов, обменивались адресами и приглашали в гости: «Будешь в Варшаве, обязательно заходи!», «Следующим летом жду в Париже!» В ответ слышалось неизменное: «Мадлобт, генацвале! Жди в гости!»

В самолете я разговорился с Мареком Сивецом, редактором популярного польского молодежного журнала «ИТД».

— Подобные фестивали должны стать традицией. Можно встречаться в СССР, можно в Польше или Бельгии... Не так важно, где они будут проходить. Главное, что станет возможным постоянный диалог единомышленников со всего мира...

Фестиваль завершился. И, подводя его итог, можно привести слова первого секретаря ЦК ВЛКСМ Виктора Мироненко:

— Самое необходимое — надо учиться думать, что говоришь, и говорить то, что думаешь!

ПЕСТРАЯ СМЕСЬ

ЮБИЛЕЙНОЕ ПУГАЛО. Приближается 500-летие открытия Нового Света. По этому случаю американский художник-модернист Рей Лихтенштейн создал скульптурную композицию в честь Христофора Колумба. Он запаковал ее в огромный ящик и переслал в дар городу Колумбусу.

Городские власти, увидев шестиметровую нелепицу, окрашенную в ядовито-желтый цвет с черными крапинками, пришли в неописуемый ужас. Проведенный референдум чиновников утвердил постановление: «Немедленно уничтожить это огородное пугало, дабы не осрамиться на всю Америку».

Авангардистский шедевр уже готовили к отправке на свалку, но тут главный судья города вынес «соломоново решение»: переподарить нежелаемый «подарочек» итальянскому городу Генуе, где, как известно, родился Христофор Колумб.

Интересно, как прореагируют генуэзцы на желтую статую из-за океана. Выбросят в Лигурийское море или тут же переподарят кому-либо еще!

ШУТОЧКИ СОВРЕМЕННЫХ ВАНДАЛОВ. Примерно пятнадцать тысяч лет назад на территории Испании и Франции обитали племена, оставившие после себя память в виде удивительных по выразительности наскальных рисунков. Древние люди рисовали бизонов, оленей, фигуры охотников, символы небесных тел. Рисунки открыты во многих пещерах по обе стороны Пиренеев. Археологи и палеонтологи продолжают свои исследования. Открываются новые шедевры, публикуются научные труды.

И вот теперь всем этим редкоствм первобытной живописи грозит серьезная опасность. Ученые бьют тревогу. И дело тут не в сырости пещер.

Ученые столкнулись с гримасами западной цивилизации. Оказалось, что во многие из пещерных залов проникают туристы и устраивают там пикники с музыкой. После себя они оставляют кучи мусора и кострища. Кроме того, «весельчаки» пририсовывают к бизонам и диким лошадям фигуры космонавтов, парашютистов и мотоциклистов. Малюют они там свои имена и площадные ругательства. В дело идут фломастеры, куски фруктовой пастилы, губная помада и гвозди.

Причина подобных безобразий кроется, кроме всего прочего, в отсутствии государственных заказов, защищающих неприкосновенность древних рисунков, об историческом значении которых не раз напоминала ЮНЕСКО.

ПРИБОР СТАВИТ ДИАГНОЗ



Профессор В. В. Мурашко

ЧУТЬ БОЛЕЕ года тому назад «Товарищ» рассказывал о разработках новых приборов для ранней диагностики раковых заболеваний и ишемической болезни сердца, которые проводились на кафедре пропедевтики внутренних болезней Второго московского медицинского института. Речь шла о приборе ЯМР, который диагностирует онкологические заболевания в ранней стадии, и вскользь упоминалось о приборе РИТМ-1 для ранней диагностики инфаркта миокарда.

Итак, прошло чуть более года. Какие работы ведутся на кафедре сейчас, как проявили себя уже созданные приборы! С этими вопросами мы обратились к заведующему кафедрой профессору Владиславу Владимировичу Мурашко. Вот что он нам рассказал.

— Вначале несколько слов о приборе РИТМ-1. Прибор предназначен для так называемого картирования сердечной мышцы. Изображение появляется на экране цветного дисплея в виде шестидесяти пяти квадратов и представляет собой как бы развернутую мышцу. Электрический потенциал снимается с больного при помощи манжеты с электродами — их столько же, сколько и квадратов. Манжета накладывается от груди к спине больного. Цвет квадрата указывает на состояние сердечной мышцы: зеленый цвет — норма, красный — ишемия, черный — некроз. Кроме визуального контроля, номера квадратов фиксируются на бумажной ленте. Главная особенность прибора состоит в том, что он расшифровывает картограмму автоматически, без участия врача. Все операции выполняет электроника... Стоит отметить, что самым сложным моментом в создании прибора явилось составление программы для мини-ЭВМ. Ученому-математику потребовалось на это три года! Сейчас изготовлено несколько приборов РИТМ-1, они проходят клинические испытания в различных клиниках Москвы и во Всесоюзном кардиологическом научном центре. Прибор дает исключительную точность и надежность информации. Простой пример: во ВКНЦ мы подобрали группу больных, уже обследованных, с подтвержденным диагнозом, локализация очага поражения сердечной мышцы была выявлена с очень высокой точностью при помощи современных обычных методов исследования. Напомню, что такие методы занимают достаточно большое количество времени. РИТМ-1 в течение нескольких секунд точно подтвердил диагноз, четко указывая локализацию и степень поражения сердечной мышцы. Без ошибок. Но это прибор будущего десятилетия. Пока что трудно наладить его крупносерийное производство, так как «начинка» прибора РИТМ-1 требует особо точной регулировки, а наши электронные приборы, к большому сожалению, оставляют желать много лучшего.

Сейчас ведется разработка прибора РИТМ-2, он позволит диагносцировать поражения сердечной мышцы у больных с аритмией.

Приборы РИТМ-1 и ЯМР «Пальма» на выставке «Вузы здравоохранения — народному хозяйству» были удостоены двух золотых и трех серебряных медалей.

С помощью прибора ЯМР «Пальма» в результате клинических испытаний мы обнаружили рак в 75 процентах случаев на самой ранней стадии заболевания, когда он еще не проявлялся клинически. Этот метод позволяет быстро провести массовое обследование людей, подверженных факторам риска. Весь анализ занимает несколько минут. И опять серийный выпуск этого крайне необходимого прибора тормозится отсутствием электроники...

На кафедре ведется много актуальных разработок. В частности, разработаны лекарственные формы. При нанесении на кожу практически в любой точке организма препараты снимают спастические боли в сердце, головные боли, боли при заболевании сосудов в ногах. Сейчас их наша страна покупает за границей, на это идет валюта. Разработанные нами препараты гораздо эффективнее импортных. Но вот парадокс: внедрение их в практику задерживается из-за бюрократических проволочек. Как это ни парадоксально, для налаживания выпуска препаратов в небольших количествах пришлось прибегнуть к помощи... кооператива. После утверждения Фармакологическим комитетом будем выпускать их в тюбиках, которые очень удобно носить с собой. Десятки тысяч больных, страдающих атеросклерозом и ишемической болезнью сердца, ждут их. Действие этих препаратов будет бо-

ВЕРФЬ НА ОЗЕРЕ МЮРИЦ

О немецких шоссейных дорогах писали так много, приводя их в пример нашим разбитым большакам, выворачивающим душу наизнанку, что мы ограничимся лишь тем, что назовем конечный пункт одного из наших многочисленных маршрутов по округу — Рехлин. Южная оконечность большого красивого озера Мюриц — одного из сотен живописных озер округа — с лебедями, осокой, чистой водой, без пятен мазута и сиреневой пленки аварийных выбросов. Вместилище чистейшей воды посреди самой развитой страны Восточной Европы. Не чудо ли! Особенно когда ежедневно узнаешь о бесчисленных атаках «волшебницы химии» на Ладогу и Днестр, Волгу и Байкал. Значит, все-таки можно в условиях индустриального общества жить в мире с природой, не портить ее!

Но целью нашей поездки были все-таки не лебеди и чайки озера Мюриц и не быстроходные яхты отдыхающих здесь рабочих и служащих окрестных предприятий, хотя все это само по себе заслуживает самого внимательного изучения — на предмет того, чтобы создать грамотный досуг — рекреацию — у нас, как у них. Мы ехали на верфь, в первичную организацию Общества германо-советской дружбы, а всего таких организаций в округе насчитывается 2200. Общее число членов — 236 тысяч человек! Это в одном округе.

Итак, судостроительная верфь Рехлин. Уникальное, ведущее предприятие ГДР, где изготавливаются спасательные плавсредства. Целый городок на берегу озера, с ангарами, наполненными невообразимым шумом. Глядя на заготовки, вряд ли можно понять, что из них получится — то ли это остовы будущих подводных мини-лодок (но тогда почему такие яркие!), то ли гигантские садки для рыбы, то ли емкости для купания...

Отзываю в сторону молодого рабочего Клауса Хайнриха. Он активист Общества германо-советской дружбы. Вопросы приходится задавать урывками, с перерывами между стуком и визжанием инструментов — от этого здесь никуда не денешься. Моему собеседнику 35 лет, у него двое детей — дочки. Средняя зарплата — 1200 марок в месяц плюс пособие на детей: 50 марок в месяц за первого, 100 — за второго. Пол-литра молока в день за вредность. Работа трудная, особенно для женщин. Курить строго запрещено. Есть и пить можно только в отведенных специально местах. Это и понятно — повсюду летает стеклянная пыль. 10 раз в год помещение полностью продувается.

— Конечно, условия не райские, но текучесть кадров не такая уж высокая. Чувствуем ли мы себя здесь, за «лесами и долами», уединенными! Да нет. Много путешествуем. Даже в Берлине бываем. Существует обмен отпускников с Польшей и ЧССР. Кстати, паспорт мы не меняем, когда выезжаем за границу,— он у нас всегда один.

Главная задача предприятия— изготавливать корпуса для спасательных подок из пластмассы и стекловолокна. Сами знаете, наверное, сколько судов тонет (о, мы знаем, подумалось мне): за последние 20 лет утонуло 3621 судно. Каждая операция у нас тысячекратно опробована, на любую деталь можно дать гарантию. Шлюпки изготавливаем из стекловолокна и полиэстра, они практически непотопляемы.

Другой важный аспект — как не дать организму переохладиться в студеной воде. Для этого создан новый тип шлюпки с раздвижными люками. Температура внутри быстро повышается с минус 15 до плюс 25 градусов.

— А кроме шлюпок! Есть ли еще новинки для спасения на воде!

— Делаем спасательные воротнички — индивидуальное средство, изготовляемое из синтетических материалов, устойчивых к бензину и маслам. Поддерживающая сила — 16 килограммов. Есть еще спасательные поплавки, они бывают готовы через 25 секунд. Надуваются автоматически.

Новинка верфи — самовыпрямляющийся катер, который обеспечивает надежную защиту от ветра, морской воды, холода и дождя. В него удобно проникать через люки в бортах и днище. Пассажиры пристегиваются к сиденьям ремнями. Катер возвращается в обычное положение из любого состояния — с пассажирами и без них. Вот он как раз на стапеле — оранжевый элегантный красавец, готовый к отправке в Росток.

И, наконец, спасательный костюм. Надувной воротничок за пять секунд переворачивает на спину выбившегося из сил и потерявшего сознание человека и поднимает его голову из воды. В течение шести часов поддерживает его на плаву.

Клаусу Хайнриху пора на работу, ну а мы выбираемся из ангара и как бы между прочим спрашиваем у наших немецких коллег об очистных сооружениях. Они удивляются нашему вопросу: «Полная очистка всех отходов предприятия! А как же иначе!!» Бредем по берегу озера, разглядываем белые паруса яхт, и к нам безбоязненно подплывают белые лебеди, выжидающе посматривают на наши карманы. Хотя они явно не голодны — рыбы в озере сколько угодно.

Н. НИКОЛАЕВ

лее мягким и продолжительным, чем набивших всем оскомину таблеток.

...Наша информация не исчерпывает полностью всего объема научно-практических работ, которые ведутся на кафедре. Сам заведующий кафедрой Владислав Владимирович Мурашко — генератор интересных идей. Жаль только, что все эти ценные идеи медленно реализуются — по разным причинам.

Сегодня наше здравоохранение имеет много болевых точек. Они хорошо известны. И надо всем миром помочь сдвинуть медицину с мертвой точки. А за разработками дело не станет. Один из примеров этому — деятельность кафедры пропедевтики внутренних болезней Второго московского медицинского института.

ОЧИЩЕНИЕ,
ИЛИ
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПАССАЖ

РАССКАЗ

В ЖАРКИЙ воскресный полдень на базарной площади поселка Сиреневые Столбы встретились трое мужиков. Они молча поздоровались, вяло пожав друг другу ладошки, и тяжко вздохнули.

Тяжко вздохнули они оттого, что у каждого в башке стоял треск, а душу изводила безмерная тоска, избавиться же от треска в башке и очистить душу от безмерной тоски было нечем. Пивной павильон, невесть когда увенчанный фанерным щитом с изображением граненой бадьи до оранжевого суперрака, был закрыт по случаю воскресного отдохновения, а на дверях единственного в Сиреневых Столбах магазина, располагающего похмелительными снадобьями, вторую неделю болталась картонка с отвратительным до тошноты и пугающим, как пасть акулы, словом:

УЧОТ

Закадычными друзьями эти встретившиеся на базарной площади мужики не были и быть ими не могли, поскольку знакомство их оформилось накануне, то есть в субботу, да и то на исходе дня.

Как уж повелось на Руси с незапамятных времен, оказавшихся соседями у пивной стойки любителей ячменного отвара интересует самая малость анкетных данных: как звать, ну, на худой конец, звать-величать. А был ли ты за границей, какое имеешь образование или, тем более, обрел ли семейное положение — все это считается ерундой, никому не нужными деталями, и попытки высветить указанные неясности, как правило, заканчиваются возбуждением чувств, а возбуждение чувств, как известно, вызывает неизбежный наплыв суровых дружинников.

В субботу в павильоне, оприходовав по паре кружек янтарного отвара, оказавшиеся рядом наши мужики приготовились было к третьему заходу, и тут один из них — высокий, нескладный, при реденькой бородке, улыбнувшись, вынул из-под мышки небольшой, всего граммов на двести пятьдесят, пузырек — с фирменной, впрочем, этикеткой.

— Позвольте угостить по случаю снятия дачи... Обмоем, как говорят славяне,— стеснительно предложил высокий и нескладный.

Двое других вначале недоверчиво покосились на фирменную этикетку, потом кинули любовные взгляды на доброжелателя.

— Дачник, значит?

— Он самый. Люблю природу!.. Ну, флору, там, фауну...

Он расплескал по кружкам содержимое пузыря, и, не чокаясь, мужики молча припали губами к обжигающей смеси.

— Порядок,— крякнул черноволосый, коренастый сосед благодетеля слева.— Тебя звать-то как?

— Евстигнеичем.

— Годится. А меня — Пашей.

Третий, стоявший от Евстигнеича справа мужик неопределенного возраста, оказался Христофором.

— Вообще-то имя редкое в наших краях,— заметил он.— Батя у меня чудак был...

И пояснил: по случаю появления на свет первенца отец, возликовав, хватил лишнего, а когда перебрал, настоял на том, чтоб нарекли новорожденного Дипом, что, как известно, означает «догнать и перегнать». И только потом, когда подоспело время ученья, по настоянию участкового, увлекавшегося историей Великих географических открытий, нелепого Дипа все же заменили благозвучным Христофором.

— Чудак был батя,— подтвердил Евстигнеич.

Знакомство состоялось.

Откуда-то из-за пазухи, что ли, дачник извлек еще одну емкость помянутого объема, содержимое которой с завидной точностью также было поделено на равные части. Третий и четвертый сосуды отметили тихим возгласом ликования...

Произошло это, как уже отмечалось, в субботу, на склоне дня. И вот они встретились на базарной площади в расстроенных чувствах...

— Что-то надо изыскивать,— скорбно проговорил Паша, разминая дрожащими пальцами сигарету.

— Может, тархунчиком обойдемся? — застенчиво осведомился бывший Дип.

Евстигнеич брезгливо сплюнул:

— Ты еще скажи — минералкой, будь она неладна.

И тут случилось невероятное. Какая-то неведомая силища заботливо, даже деликатно, развернула мужиков лицом к лесу, начинавшемуся сразу за поселком, и, легонько подтолкнув в спины, повлекла их к зеленому массиву. Паша кинул недокуренную сигарету в пыль.

Лес принял троицу прохладой и звонким пением пичуг. По узкой тропинке мужики прошагали километра два и, оказавшись на поляне, замерли, не поверив своим глазам.

В самом центре поляны стояло диво дивное — серебристо-матовое нечто, невиданная махина, похожая на скороварку, но только похожая, ибо по своим размерам махина была такая, что в ней свободно могли уместиться все скороварки не одних лишь Сиреневых Столбов, но и всей обширной области.

Дачник робко обошел махину вокруг, потом конфузливо похлопал ее ладошкой, крякнул и сказал:

— Прошлым летом я отдыхал в Буграх, километрах в сорока отсюда.— Он лениво махнул рукой в глубину прохладного леса.— Там у хозяйки, бабки Аглаи, в сарае стояла похожая бандура...

Мужики обратились в слух. Дачнику, человеку городскому, стоило верить.

— И что же? — вроде бы индифферентно спросил Дип-Христофор.

— А то, что в конце лета... я уж домой собирался... прикатила милицейская машина. Бабку Аглаю вместе с бандурой тю-тю в райцентр.

— Это за какие же дела? — поинтересовался Паша.

— А за такие. — Дачник огляделся вокруг, опасаясь лишних ушей, и шепотом пояснил: — Бандура оказалась самогонным аппаратом. Я, между нами, знал... Такой первач шел!

Мужики ахнули.

— Похожая, говоришь? — тоже почему-то шепотом спросил Паша.

— Копия, — ответствовал любитель флоры и фауны. — Как две капли. Но, пожалуй, размером поменьше. Раз в пять-шесть..

— Да нет, быть не может, — тряхнул головой Паша. Взгляд его блуждал. — Это сколько же дрожжей туда ухнуть надо?

— В том-то и дело: бездрожжевая технология, — снисходительно парировал Евстигнеич. — В наш век электроники...

— Ну, электронику ты оставь...— Паша приблизился к суперскороварке, понюхал и поскоблил сверкающий металл твердым, как алмаз, ногтем. Потом отошел метра на два и, прищурившись, выпалил:

— Объект!

Бывший Дип взглянул на дачника, а тот рассмеялся:

— Я думал, субъект.

Не обратив внимания на неуместную реплику, Паша отдалился от махины еще на несколько шагов. Похоже было, он начинал мыслить.

— Точно. Летающий.

— Осторожней, сейчас взлетит. — Любитель природы нервно хихикнул.

Тезка Колумба хранил молчание. Мысленно он давно был в Буграх, в бабкином сарае.

— Лопух, — позволил себе выразиться Паша.— Неопознанный, понял?

— Что «неопознанный»? — начал было Евстигнеич и тут же решительно и сурово закусил нижнюю губу.

Христофор сел на траву и махнул рукой: что толку в том бабкином сарае, если бандуры там год как нет?

— Ты, брат, того...— Дачник суеверно высморкался.

— Точно, — возликовал Паша.— И неопознанный, и летающий..

Христофор, очнувшийся от сладкой дремы, сказал:

— На троих бы сейчас. Хоть бормоты. В самый раз по такому случаю..

С неожиданной прытью он приблизился к махине и ахнул по металлу кулаком.

— Эй, марсианцы... или как вас там!.. Полбанки плесните... для знакомства!

— Отойди прочь!

Паша решительно оттиснул наглеца в сторону и начал сантиметр за сантиметром простукивать серебристо-матовую поверхность скороварки-гиганта. Он делал это истово, словно осуществлял госприемку, а через полчаса обследований решительно произнес:

— Нет, славяне. Никакой это не объект.— И повернулся к дачнику: — Ты говоришь, у бабки такая же была?

— Две капли, — прохрипел Евстигнеич.— И увезли. На моих глазах. — Он помолчал, потом со вздохом добавил: — Какой был первач!

Христофор издал тихий стон, а Паша задумался. Поразмыслив, он заявил:

— Надо верхотурину осмотреть. Там весь секрет. А ну, братцы-кролики, подсобите.

Поняв замысел Паши, мужики, не сговариваясь, сцепили запястья рук. Паша смело ступил на возникшую ступеньку.

Тишина была гнетущей. Дачник не вынес неизвестности:

— Ну что там? Эй!

— Вижу змеевик,— донеслось сверху.

Жаждущие замерли.

— Все.— Паша спрыгнул на землю.— Внизу надо искать вентиль. Сливная трубочка должна быть..

— Во что лить-то? — опомнился Дип-Христофор.

— А хоть в пасть,— идиотски рассмеялся дачник.

Неожиданно, к изумлению мужиков, через какие-то невидимые и немыслимые даже поры суперскороварка начала выплескивать тихое, чарующее, малиново-нежное звучание. Постепенно оно нарастало, набирая силу воздействия, завораживало, обволакивая троих жаждущих ласковым туманцем, и они почувствовали, как началось медленное избавление от треска в башке и от душевной тоски. Они ощутили необыкновенную, но желанную легкость, а затем, как бы оглушенные приступом счастья, без стона и аханья пали на теплую траву..

Пришли они в себя на другой день — бодрые и веселые. Исчезли без следа треск и тоска. Но, на удивление самим себе, они начисто забыли, что с ними случилось в минувшее воскресенье и как они вообще попали на спасительную поляну.

Дачник ликовал:

— Благодать-то какая! Воздух-то какой!.. Флора..

Паша смотрел в небесную синь и хихикал.

Дип-Христофор глазел по сторонам и, обращаясь то к Паше, то к дачнику, все пытался выяснить, есть ли в Сиреневых Столбах общество борьбы за трезвость.

ГРАВИТОЛЕТ, развив сверхсветовую скорость, отсчитывая парсек за парсеком, летел в непостижимо далекое созвездье Альфа-Бета-Зет, к планете Алых Закатов.

Экипаж ликовал. Задание Совета мудрейших было выполнено на удивление легко. Голубая планета оказалась обитаемой и гостеприимной. Обитатели ее проявили себя вполне лояльными созданиями. Они охотно шли на прямой контакт, пытаясь, видимо, расширить познания и удовлетворить свои потребности, и вместе с тем не проявляли излишней назойливости и легко, безболезненно восприняли сеанс тонотерапии. Год назад они не удивились появлению киберразведчика, а одна голубопланетянка по имени Аглая даже приспособила его для своих насущных нужд...

Правда, предстояло еще осмыслить не понятое пока анализатором слово ПЕРВАЧ. Предварительный и приблизительный семантический аналог, выданный бортовым анализатором, озадачивал. Выходило, что Аглая получала «высокоградусное средство для самоотравления». Это казалось абсурдом. Впрочем, экипаж не волновался, — расшифровкой таинственного слова там, на планете Алых Закатов, займется лаборатория Светлых умов..

Ник. НИКИН

ЭНН СЧАСТЛИВО улыбалась, и в ее глазах сверкали слезы радости. Она старалась справиться с собой, но чувства брали верх. Только что председатель международного жюри Александра Пахмутова объявила итоги фестиваля «Красная гвоздика». «Гран-при» завоевала певица из ГДР Инесс Паульке. Энн Тернер из Великобритании присуждалась первая премия, второй премии была удостоена болгарка Камелия Стоянова, третьей — бразильская певица Анна Амелия. Все они также получали звание лауреатов фестиваля.

В огромном пресс-клубе, где далеко за полночь жюри вынесло свое решение, не было только Инесс Паульке. Видимо, не сумев унять конкурсное волнение, она не стала обременять себя мучительным

ЗВЕЗДЫ НА СОЧИНСКОМ НЕБОСКЛОНЕ

ожиданием и отправилась отдыхать. О своей победе она узнала только рано утром.

Энн принимала поздравления и, казалось, все еще не верила в успех. А ее уже атаковали многочисленные журналисты, спешившие задать традиционные вопросы о чувствах, хобби и планах на будущее.

Пресс-клуб гудел как улей. Новые эстрадные звезды вступали в свои права...

О «Красной гвоздике» не было слышно долгих пять лет.

В 1983 году завоевал главный приз фестиваля и уехал в неизвестность западноберлинский певец и композитор Андреас Брауэр. Однако гораздо раньше стало ясно, что «Красная гвоздика» зашла в тупик. Фестиваль, призванный выявлять молодые таланты, из года в год становился все более тенденциозным, ограниченным и помпезным. Нередко под прикрытием политических лозунгов творческий конкурс превращался в благотворительное мероприятие, где с необыкновенной щедростью раздавались призы и награды. Отсутствие четких критериев порождало немало споров и обид. Часто лауреатами становились певцы, о которых впоследствии никто и не вспоминал. В «Красной гвоздике», как в зеркале, отражались все нелепости эпохи громких слов, бурных аплодисментов и примитивной агитации.

Потребовалось ровно пять лет, чтобы переосмыслить цели и задачи молодежного фестиваля, преодолеть его ограниченность и возродить на совершенно новых началах. Организаторы конкурса решили отказаться от тесных рамок жанра политической песни, поднять общий уровень исполнительского мастерства.

Впервые в Сочи собралось так много профессионалов. Правда, в предыдущие годы участников бывало и больше, но вот профессионалов среди них практически не было. Расширился и состав международного жюри, в работе которого приняли участие певцы и музыканты из Польши, Болгарии, Чехословакии, Венгрии, Ирландии, Бразилии и Великобритании. Появились у «Красной гвоздики» и спонсоры. Их рекламные плакаты висели на самых видных местах. Наряду с ЦК ВЛКСМ фестиваль субсидировали советско-болгарское предприятие «Ротор-Сэлто», всесоюзное объединение «Совинцентр», парфюмерная фабрика «Новая заря», объединение «Радиотехника», центр моды «Люкс», производственное объединение «Дзинтарс». А оформлением сцены и техническим обслуживанием фестиваля занимался московский кооператив «Галло». Если раньше фестиваль был заведомо убыточным мероприятием, то теперь, по словам заведующего Отделом культуры ЦК ВЛКСМ М. А. Шмойлова, «Красная гвоздика» полностью себя окупила.

Однако груз прошлого не позволил и на этот раз полностью изменить статус «Красной гвоздики». Слишком поздно началась организационная работа, слишком прочно укоренилось во многих странах отношение к «Красной гвоздике» как к фестивалю политической песни. Поэтому в Сочи встретились участники как бы двух фестивалей — старого и возрожденного. Однако это не помешало международному жюри сделать основную ставку на профессионализм. Что и предопределило итоги фестиваля.

Состязание певцов по традиции проходило в три дня. В первый конкурсный день участники исполняли песню по выбору, во второй — одну из песен советских композиторов, а третий проходил под девизом «Дадим миру шанс». Причем на третий тур не обязательно надо было представлять песню о мире. Главной темой здесь могла стать и любовь, и взаимопонимание — в общем, все, что волнует современную молодежь и кажется ей главным в этом мире.

В первый же конкурсный день определились лидеры, сумевшие завоевать симпатии жюри и зрителей. И хотя жюри держало свои симпатии в строгой тайне до самого конца (свои оценки конкурсанты узнали лишь после третьего тура), выяснилось, что они во многом совпадали со зрительскими.

К сожалению, не смогли показать высокий уровень мастерства советские участники. Изменило чувство меры Марине Захаровой — она почему-то спела песню на английском языке, чересчур раскованно и потому навязчиво держалась Азиза Мухамедова; не блистал оригинальностью и Владимир Бака, исполнивший жизнерадостную песню-пустышку. Они оказались во втором эшелоне конкурсантов.

А вот второй конкурсный день удивил буквально всех. День советской песни принес немало разочарований. Трижды в исполнении разных певцов прозвучала песня Пахмутовой «Нежность», дважды — «Подмосковные вечера», да и другие песни не отличались новизной. И дело здесь не в том, что конкурсанты вдруг решили сделать приятный сюрприз председателю международного жюри. Из разговоров с участниками фестиваля выяснилось, что большинство из них просто не слышали ничего другого. Трудно поверить, но это факт. Во многих странах «Нежность» — песня-победитель первого фестиваля «Красная гвоздика» в 1967 году — так и осталась одной из главных визитных карточек современной советской эстрады.

Третий тур не принес никаких сюрпризов. Положение лидеров

упрочилось, и нетерпеливые зрители уже принимали своих любимцев как заслуженных победителей.

Нынешние лауреаты могут украсить любой песенный конкурс, у них большое будущее. Да и в Сочи певицы приехали не с пустыми руками. Инесс Паульке была третьей в Сопоте, Энн Тернер победила в престижном фестивале «Интерпоп-88» в Венгрии, второй премии на «Золотом Орфее» была удостоена Камелия Стоянова, а бразильская певица Анна Амелия недавно победила у себя на родине в национальном песенном конкурсе. Счастливым оказался для них минувший год.

Итак, последний фестиваль стал переломным в истории «Красной гвоздики». Однако новым фестивалем в полном смысле этого слова он все-таки не стал. Не получилась «Красная гвоздика» такой, какой ее замышляли организаторы. Об ошибках и просчетах девятого международного молодежного фестиваля песни и шла речь на заключительной пресс-конференции. Открывший ее председатель оргкомитета Иосиф Кобзон был предельно искренен: «Сегодня мы набиваем синяки и шишки и учимся на них. Я уверен, что эта наука пойдет нам впрок». Не снимая ответственности с оргкомитета, И. Кобзон высказал немало претензий в адрес сотрудников наших посольств, несерьезно отнесшихся к просьбам организаторов. Именно из-за этого многие участники ничего не знали ни о возрастном цензе (до 28 лет), ни о профессиональном статусе фестиваля.

На пресс-конференции высказывалась масса разумных предложений о путях повышения престижа фестиваля. Чаще всего звучала мысль о том, что негоже новому конкурсу оставлять прежнее название, прочно ассоциирующееся с фестивалем политической песни. Действительно, смена вывески необходима. Но, конечно, не это самое главное. На фестиваль надо приглашать молодых профессиональных певцов — победителей национальных фестивалей песни. Более строгий отбор участников даст надежные гарантии того, что творческий конкурс не станет безликим провинциальным мероприятием. Конечно, Сочи не Сан-Ремо, но что мешает поднять уровень, к сожалению, единственного в нашей богатой песенными традициями стране международного фестиваля до мировой отметки? До сих пор фестиваль проходит под эгидой ЦК ВЛКСМ, что также отражается на его качестве. Приглашая певцов на «Красную гвоздику», ЦК ВЛКСМ в основном действует через молодежные организации разных стран мира. Однако в отличие от комсомола многие из них неавторитетны, их влияние ограничивается рядом экономических и политических факторов. Куда эффективней было бы передать этот участок работы в руки Госконцерта, который специализируется на этом деле уже не один год. Да и возможностей у Госконцерта больше. Высказывались также мнения об уменьшении количества различных наград и призов. Это также повысит авторитет фестиваля.

Известному международному курорту просто необходим престижный музыкальный конкурс. Конкурс, на который бы съезжались молодые перспективные певцы всего мира. И победа в котором была бы равноценна международному признанию. Тогда на сочинском небосклоне засияло бы гораздо больше эстрадных звезд.

Игорь МАКИЕНКО

ПЕСТРАЯ СМЕСЬ

ВПЕРВЫЕ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ. Обычно сообщения Норвежского телеграфного агентства содержат сухую информацию. А вот недавно было передано сообщение с эмоциональной окраской. Факт назывался уникальным и беспрецедентным по наглости. Были и другие взволнованные определения. В сообщении говорилось о краже. Вообще-то кража в стране — не такая уж редкость. Но на этот раз все было действительно необычным. Злоумышленники ночью подплыли к буровой платформе в открытом море и умыкнули... подводную лодку с автоматическим манипулятором для осмотра и ремонта трубопроводов, уложенных по дну моря.

Нефтяная компания, которой принадлежала лодка, объявила награду в 25 тысяч долларов за всякую информацию о возможном местонахождении украденного аппарата. Он был единственным в своем роде и мог выполнять ремонтные операции в режиме робота. Сумма немалая, однако даже при последующем удвоении награды на предложение не откликнулся никто...

Кстати, крупной кражей может похвастаться и Бельгия. Там с одной новостройки увели всю технику, включая бульдозеры и самоходные краны. Правда, некоторое время спустя пропажу обнаружили. И где! В США. Всю строительную технику преступники сумели перекрасить, переправить через границу и спокойно продать. Установлено, что группа мошенников, пользуясь попустительством таможни, вывозила краденые механизмы в Италию, Голландию и ФРГ.

БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. Конечно, легко обвинять современную молодежь в крайнем легкомыслии, в желании проводить время исключительно в дискотеках. Важнее найти новые и действенные формы, как занять ее свободное время, научить серьезному отношению к жизни.

Интересную инициативу проявила молодежная библиотека № 14 в Дрездене (ГДР). Теперь там с 19 до 24 часов работает вторая смена. Посетителям предлагают лекции на актуальные темы, диспуты, кукольные представления. Есть и зал для танцев, а также для шахмат, бильярда, компьютерных игр. Открыта и дискотека, танцуют даже брейк. Раз в неделю организуются встречи с писателями, артистами, работниками газет. Работает кафе-мороженое.

Практически библиотека превращена в вечерний клуб молодежи. А как же книги! Журнал «НБИ» утверждает, что библиотекари своим новаторским экспериментом сумели повысить интерес молодежи не только к художественной, но и научной литературе. Читать стали больше. И не только читать: налажен обмен мнениями о прочитанном.

В нашей стране предостаточно молодежных библиотек, есть и инициативные люди. Почему бы не перенять ценный опыт немецких друзей. Дело полезное и перспективное.

Первая страница обложки «Товарища»: Студентка Дина Мясникова. В институте она первой из девушек овладела профессией кузнеца (репортаж «Мы кузнецы!..» читайте на стр. 133). Фото А. ЕГОРОВА.



«Товарищ» публикует несколько последних работ художника Ю. Селиверстова.

Статью «Портрет судьбы и надежды» читайте на стр. 283.

СЕРИЯ «ИЗ РУССКОЙ ДУМЫ»

С. Есенин.

М. Пришвин.



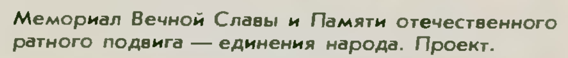
В. Гаврилин.



Г. Свиридов.



М. Мусоргский.



Мемориал Вечной Славы и Памяти отечественного ратного подвига — единения народа. Проект.





Проект памятного знака «Герб Москвы».

Иллюстрация к «Слову о полку Игореве».



Сергей МИХЕЕНКОВ

ОЖИДАНИЕ ЛИВНЯ

Повесть

Окончание. Начало на стр. 11

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Потекли дни, и были они, словно вода в Вертуне: светлы, и то быстрые, скорые в торопливых хлопотах, то медленные, как на песчаных плесах. И те, и другие были хороши. Ах, хороши ж были дни! Впрочем, у кого в жизни не было таких дней! Это только кажется, что вот такое, что с нами происходит, вообще невозможно; что с нами — это только с нами и только у нас. А может, это и хорошо? Наверное, потому что так люди крепче берегут это свое, неповторимое, единственное.

За эти дни Вера похудела. То ли от работы, которая, хоть и схлынула страда, не отпускала ее с раннего утра и до позднего вечера, то ли еще от чего. Кожа на лице и руках еще сильнее посмуглела.

— Во как, девка, мужик тебе тела-то поубавил, — сказала ей как-то Санечка и подтолкнула в бок. — Вот и ушло лишнее. А переживала, что дюже сильно растолстела. Теперь ты — как перепелка весенняя: хошь лети, хошь на этом поле гнездо вей.

Вера ничего не сказала в ответ, да и не поняла она толком последних Санечкиных слов, только улыбнулась сама себе.

— Я чего хотела спросить: как он, Николай-то твой, не сильно пораненый? А то что-то и не видать его на улице, дома все?

— Грудь у него болит. Застужать нельзя.

— Ой, что-то ты, девонька? — испугалась Санечка Крылатка. — Расстроили тебя мои слова? Да будет, мне надо... А мне, дуре, больно занадобилось выспрашивать. Ты уж прости меня, Вера. Не со зла ведь. А?

— Да ничего, — вздохнула Вера. — Ничего. Уже прошло. Я и сама не знаю, отчего это...

— Маешься. Эх, вижу, маешься, девонька. В молодости все так: маешься, печалуешься, а отчего печаль та, и сама толком не знаешь. Пройдет. И печаль пройдет, и маета минет, и молодость тоже не задержится. Так своим чередом и утечет. Как вода под гору.

Вера почувствовала, что ей хочется рассказать обо всем, вынуть из души то, что отягощает и жжет ее. Может, подумала с неясной надеждой, легче станет. Конечно, легче. Ее не смущало, что исповедоваться придется Санечке, женщине, которая, в общем-то, и сама не сумела правильно устроить свою жизнь, за что и поплатилась годами одиночества и пожизненной теперь уже бездетностью. И все же, при всей неправильности Санечкиной жизни, Веру влекло к ней. Видно, потому, что в Санечке Крылатке была та душевная сострадательность и простота, с которой она умела так слушать и жалеть, как умеют слушать и жалеть только очень близкие люди. Вера всегда думала, что Ира ей ближе, что именно Ире, случись что, она понесет все свои горести и радости, но вот зашла в библиотеку раз, забежала другой, посидела там у окошка, поболтала с Ирой о том о сем, и ни о чем, как всегда, и, не почувствовав ни откровения, ни расположения к дальнейшему разговору, ушла ни с чем.

— Александра Филипповна?

— Аюшки?

— Ты знаешь, Николай какой-то странный стал. То молчит, слова вожжами не вытянешь, морщится, то вдруг накатывает — разговаривает, разговаривает. То злится, руками размахивает. Все ругает, все переделать ему хочется.

— На тебя? Кричит, говорю, на тебя?

— Да нет, кричит не на меня. Так, вспомнит что-нибудь, про друзей своих, или вот по телевизору что увидит, и ходит потом весь день сам не свой. Рассказывает всякие ужасы, что и слушать страшно.

— Поди, все про службу да про службу?

— И про службу. Но мало. Так только, вспомнит, а потом о другом. Молчит про службу. Я один раз спросила, так он на меня накричал. Чтобы, говорит, больше ни слова не смела, сам как-нибудь расскажу. О товарищах вспоминает. Кто откуда, рассказывает.

— Видно, военная тайна. А может, натерпелся там много, сердешный. С войны-то, помню, мужики ой нервные поприходили! Злые. Председателей в нашем колхозе, тогда еще тут колхоз был, так и меняли, так и скидали. Чуть какой грех заведется, тут и собрание собрали, и выступления начались. Глядишь, полетел председатель долой, в карман полез, печать на стол выкладывает. Вот так-то было. Но зато уж, я скажу тебе, и порядок был, не то что нынче. То-то лиха довелось хлебнуть мужикам. А я, девк, так рассуждаю: мне абы какой, только бы живой, вернулся бы только. Навидалась я, каково бабам после войны без мужиков было. Я вот как вспомню об отце... Как мать без него... А ведь тоже еще молодая была. И нас поднимать надо было... Ой, господи, божечка ж ты мой!

Санечка замахала рукой, засморкалась, охнула и снова заговорила, качая головой:

— На лето обязательно к отцу на могилку поеду. Землицы свезу родной. То-то ему радостно будет. — И тут же спохватилась: — Ой, о чем это я? Ты, Вера, береги его, мужика-то своего, Николая. Тебе с ним еще долгую жизнь жить. И если где что, так ты и стерпи. Стерпи. Наберись сил и стерпи. От терпения не почернеешь. А он потом сам же и подойдет, повинится. Мой Мендес, ты что думаешь, тоже со странными нервами, и бывает, хорем зафыркает, зафыркает, а я — отступлю. Так он потом белкой вокруг меня вьется.

— Ой, не знаю, Александра Филипповна, — вздохнула Вера. — Боюсь я за него.

— Обойдется. Вернулся живой, любит... Любит-то крепко, а? — Санечка, не дождавшись ответа, засмеялась. — А ведь крепко, гляжу, любит. Исхудела, потемнела. Одни глаза блестят. — И толкнула Веру в бок. — Глаза-то ой блестят!

— Да ну вас, Александра Филипповна, — отмахнулась Вера, уже не в силах скрыть улыбки.

Вера подумала, что и впрямь не о чем печалиться, что все идет хорошо, что со временем, глядишь, и вовсе обойдется. Но мысли все равно вертелись в голове,

и клубок их не распутывался, а, наоборот, затягивался туже, твердел.

Как-то вечером, было это уже где-то в середине октября, Николай достал с антресолей деревянный, обитый железной полосой ящичек, где хранились все его охотничьи припасы и принадлежности, вынул разобранное ружье, вытер его от смазки, собрал, заглянул в стволы и, найдя все в полном порядке, уселся заряжать патроны.

— Завтра в Скворцов лес схожу. Может, рябчиков настреляю, — сказал он Вере, когда та подошла и тихо села напротив. — Лесом давно не дышал. Врач сказал, чтобы больше на свежем воздухе находился.

— А зачем тебе крупная дробь? Разве рябчиков такой стреляют? — спросила Вера и взяла в руки патронташ; в пахнущих кожей гнездах патронташа уже торчало, поблескивая свежими капсюлями, с десяток патронов.

— Да так, на всякий случай. Может, издали придется... Издали — мелкой дробью не достанешь, — ответил Николай и, отложив в сторону пороховую мерку и коробку с пыжами, отнял у нее патронташ. И усмехнулся, сказав: — Ты чего же, уж не боишься ли, что я в когонибудь... что в Паукова пальну?

Вера ничего не ответила, только вздохнула украдкой и отвела взгляд в сторону. А Николай уже следил за ней, и ничего не миновало его глаз, даже как вздрогнули уголки ее губ, — будто что хотела сказать, но передумала.

— Ну? Что молчишь? Ведь подумала так? Тяпнет, мол, Паукова из двустволки картечью, с него, мол, станется. Да, дробь хорошая — волчья дробь. Такой, если шагов на пятьдесят-шестьдесят, то и шкура в клочья, и костей не соберешь. А? Ладно, можешь не отвечать. И успокойся, стрелять я в него не буду. Хватит с него и того, что было. И так дров, кажись, наломал.

Вера встала со стула, вздохнула, уже не таясь, зашла сзади и обняла его за шею. Так она любила делать, и ему это тоже нравилось.

— Не связывайся ты с ним, — сказала она. — Ведь он такой...

— Какой?

— Подлый. Непотопляемый. Извернется и все равно наверху окажется. Уже сколько раз его в угол загоняли, и каждый раз думали: ну, все, конец Паукову. А он, как видишь, все в директорском кресле сидит.

— А он что, — неожиданно спросил Николай, — боится, что ли, меня?

— Прямо уж, боится... Его ничем не испугаешь.

— Ты думаешь? А вот что-то не видать стало его возле нашего дома. Теперь, видимо, только в кабинете своих подчиненных распекает? Так что от моего общения с ним все же какая-то польза да есть.

— По-моему, он эти слухи сам распространяет по совхозу. Он и его верный Гринькевич.

Он почувствовал, как она замерла над ним, прижавшись щекою к затылку. О чем это она, подумал он. И спросил:

— Ты о чем, Вера? Какие слухи?

Она молчала. Николай потянул ее за руку.

— Так что там за слухи?

— Люди говорят, что ты, мол, за что-то преследуешь директора.

— Вот как? — Николай рассмеялся. — Преследую... Да если он мне понадобится, так я домой к нему приду. Что мне его преследовать?

— Зря веселишься, — сказала Вера. — Он наверняка что-то задумал. Неужели ты думаешь, что он так вот возьмет и простит тебе?

— В чем же это я перед ним провинился, чтобы ждать от него прощения? Нет, пусть у него хвост трясется. Пусть он гадает, простил ли я ему.

— Да и вообще... — Вера замялась. — Я думала, что...

— Что?

— Что ни к чему нам с ним тягаться. Если он невзлюбит, то уж — не мытьем, так катаньем. Мне вчера из газеты звонили, опять просили написать что-нибудь. А я не хочу. Ну что нам, на самом деле, больше всех нужно?

— Мне — да, больше всех. Это точно. Только ты меня удивляешь. Ты ведь сама всегда возмущалась тем, что здесь творит этот царек. Ты даже в письмах писала об

этом! Да и статью такую накатала, что будь здоров! Быстро ты сдала свои позиции. Ну что ж, как у нас говорили, дуй в санчасть. А я еще повоюю. Я так просто свой окоп не оставляю.

— Для того чтобы с ним бороться, нужны веские факты. Факты и свидетели. А этого у тебя, увы, нет. И у меня нет. И, похоже, никогда не будет. Потому что он умело строит защиту. Защита у него надежная. И сверху и снизу — везде.

— Для того чтобы бороться с Пауковым, достаточно и того факта, что он директор, руководитель совхоза «Рассвет», одного из крупнейших в районе по занимаемым угодьям, по поголовью скота, да по чему угодно, и вот это хозяйство с каждым годом все глубже погрязает в убытки, в неверие. Ну скажи ты мне, что может быть ужаснее неверия в то, что можно работать лучше? А в кого здесь превращают людей? Ты видела, в кого здесь превращают людей? Но самое страшное, что Пауков с ними делает, это то, что люди привыкли к тому, что и за плохо выполненную работу, за низкие результаты им начисляют почти те же деньги, что платили бы за хорошую. Он приучил их работать кое-как, лишь бы день прошел. Потому что и за это все равно ведь заплатят. А это очень выгодно ему. Потому что чем хуже люди работают, чем ниже показатели, тем больше они зависят от руководителя.

— Все это — одни эмоции. Если бы всего того, что ты сейчас перечислил, было бы достаточно для того, чтобы убрать его с директорского поста, то Паукова давно убрали бы.

— Ты что, хочешь сказать, что таких, как Иван Николаевич Пауков, много?

— Много. Даже в нашем районе он, такой, не один. Иначе не вел бы себя так нахально. Он твердо уверен, что неуязвим.

— Это ты так думаешь. У него же другая жизненная философия.

— Философия... Да нет у него никакой философии. Он обворовывает и унижает нас безо всяких предрассудков и теорий. Как бы там ни было, а защита у него крепкая.

Николай некоторое время молчал. Потом заговорил, заговорил нервно, торопливо:

— Да, я чувствую, что во многом ты права. Но я уверен и в своей правоте, и покоя я ему здесь не дам.

— Ой, не знаю, не знаю. Я чувствую, что добра в наш дом твоя борьба не принесет.

— Возможно.

Утром, чуть свет, Николай оделся, опоясался патронташем, закинул за плечо двустволку, сунул в карман несколько сухарей, коробок спичек и яблоко, лежавшее на столе, и тихо вышел из дому. Вера еще спала.

Впрочем, она уже не спала. Лежала с закрытыми глазами, слушала, как он уходит. Неужели я перестаю понимать его, подумала Вера. Непонимание проистекает не из невозможности понять, а из чего-то другого. Из чего? Я дождалась его. Теперь он рядом. Разве не об этом мечталось? Об этом. Он рядом. Рядом... А словно бы и нет. Словно ушел один, а вернулся другой человек, почти чужой, к которому нужно еще привыкнуть. Привыкнуть нетрудно. Но для этого нужно забыть того, который ушел. И самой тоже стать другой.

Она открыла глаза. Комната была наполнена матовым светом позднего осеннего утра.

Вера снова закрыла глаза: все стараюсь что-то забыть, но это похоже на то, когда пытаешься что-то вспомнить... Я мучительно осознаю свою ошибку и все же продолжаю смотреть в прошлое, наверное, оно смотрит на меня. Так больше нельзя, так никогда не научишься любить настоящее...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Не успело как следует развиднеть, в проулках за черными тынами и кладушками прошлогодних дров еще прятались сумерки, а небо, будто в угоду неохотно уходящим сумеркам, застлало серыми грязноватыми тучами. Вначале было видно, как тучи шли, обгоняли одна другую, заполняли небо, им было тесно, и они спускались ниже, к самым верхушкам деревьев, а потом смешались в один бесконечный поток, и вскоре этого движения невозможно было разглядеть. Казалось, все остановилось, и время тоже. А потом повернулось вспять, и, наскоро миновав день, на здешнюю землю опять стал опускаться вечер. В природе что-то происхо-

дило, томилось ожиданием чего-то. Это продолжалось недолго — пошел дождь.

Дождь застал Николая в Скворцовском лесу за Шатрищинской горой, в сосняке. Здесь было тихо, пахло хвоей и грибами. Николай по привычке огляделся и увидел во мху под черничными кустами молоденькую волнушку. В маленькой воронке ее шляпки стояла слеза прозрачной воды, видимо, дождевой, и плавал какой-то рыжий замеревший жучок. Когда Николай сорвал волнушку, слеза вздрогнула и скатилась ему на руку, и он вспомнил, как давным-давно, позапрошлой осенью, здесь, в сосняке и по склону Шатрищинской горы, они с Верой собирали волнушки для засолки на зиму. Да, подумал он, хорошие были денечки, тогда и дышалось легче, и вообще... Николай расстегнул пуговицы, распахнул куртку. Дождь шевелился вверху, в сосновых ветвях, но потом крупные капли стали пробиваться вниз, они дробились с тихим шорохом, оседали на кустах подлеска, на черничнике и на плечах Николая мелкой холодной пылью. Он подумал о том, что и тут ему не повезло, что придется, видимо, возвращаться домой; выбрался наконец в лес, а тут дождь, словно только меня и караулил. Домой идти не хотелось. А может, родилась у него внезапная мысль набрать волнушек? Вера обрадуется? Как же мы нынче так и не сходили ни разу за грибами?

Но волнушек больше не попадалось. Он раскрошил в пальцах ту, единственную, которую нашел в черничнике, и, взяв ружье на руку, пошел в глубину леса.

Дождь не торопился, куда ему было торопиться. И Николай решил, что домой, пожалуй, и вправду не стоит возвращаться, что дождь, такой ленивый и робкий, не помешает ему еще несколько часов побродить по знакомым местам Скворцова леса. Он сдул с кончика носа холодную каплю и подумал, что знакомые места — как старые друзья, забывать нельзя. А много ли у тебя друзей, спросил он себя. Иногда кажется, что да, много. А иногда — что их нет вообще.

Он шел по заваленной листвой тропе, перелезал через валежины, вспоминал извивы этой тропы, он вспоминал деревья, вот ту старую полусухую березу, например, обросшую грибами-трутовиками и всю издолбленную дятлами. И в то же время он был сосредоточен и внимателен — он был на охоте. Однако какая-то мысль, видимо, все же увлекла его настолько, что он упустил то мгновение, когда рябчик выпорхнул сбоку, из-под орехового куста и, торопливо перебирая узкими серпиками крыльев, мелькнул в прогалине между деревьями. Николай вскинул ружье в тот момент, когда рябчик сек крыльями уже далеко, и решил не стрелять. Николай проследил полет и, когда рябчик, скользнув в сторону вдоль лощины, сел, начал его скрадывать. Пальцы дрожали. Рябчик был виден издали, но стрелять было неудобно, мешали кусты. Вот бы сейчас манок, подумал Николай, мельком взглянув, как сильно дрожат у него пальцы. Манка в ящике с охотничьими принадлежностями он вчера не нашел. Теперь вспомнил, что перед уходом в армию отдал его то ли Мишке Хуланенкову, то ли Менку, то ли еще кому. Неужели все же что-то с памятью?

Рябчик снова слетел, но, спланировав, уселся неподалеку на еловой ветке. Николай решил больше не рисковать, сделал несколько торопливых шагов и выстрелил. Рябчик упал и забился под еловыми лапками. Николай перезарядил ружье, сунул пустую гильзу в патронташ и подошел к подстреленной птице. Рябчик все еще бился, разбрасывая мокрую черную хвою и перья. Нужно было добивать подранка, и Николай наотмашь ударил его головкой. Глаза птицы сразу померкли, задернулись мутной пленкой, а на кончике клюва рядом с зажатой травинкой повисла, будто закаменела, бордовая капля. Николай попытался стряхнуть ее, но ничего не получилось. Окровавленная травинка слетела и приклеилась к носку сапога, а капля нет, не упала, она висела. Тогда дрожащей рукой он сунул рябчика за пазуху и пошел в глубину засумеречeнного леса.

Этот трофей не принес ему ни обычной в таких случаях охотничьей радости, хотя бы маленькой, ни успокоения. Наоборот, капля крови на кончике клюва так и вспыхивала перед глазами, накапливалась, дрожала, готовая вот-вот упасть; он останавливался, отмахивался, потому что ему казалось, что если она упадет, то упадет прямо ему на лоб и размажется по всему лицу. Он сворачивал в сторону и шел еще быстрее, продирался сквозь мокрые кусты, перелезал через валежины. Но кровавая капля снова возникала на его пути. Потом он сообразил, что она ведь не упадет и тем более не размажется, потому что закаменела. А если даже и упадет... Черт возьми! Он остановился, отер с лица пот.

Какая чушь! Какая нелепица в голову прет! Что это я? Но бордовая капля и после все еще возникала перед глазами.

Он вышел на незнакомую опушку, снял с плеча ружье, поставил его под березу и, оглядевшись и убедившись, что вокруг никого нет, разгреб листву и руками начал копать землю. Разорвав корни какой-то травы, запахшей сразу резко и терпко, как обиженный хорь, он выбросил из углубления несколько горстей влажной холодной земли, вытащил из-за пазухи мертвую и уже закоченевшую птицу — в клюве ее уже не было бордовой капли — положил ее туда и тщательно заровнял землю, а сверху нагреб листвы.

— Ну вот и все, — с облегчением сказал он.

Николай встал с колен, отряхнулся и, стиснув зубы, потер рукою грудь — там что-то кольнуло и заныло.

После того как он зарыл подстреленную птицу, бордовая капля перестала мерещиться в смутных просветах между деревьев. Она упала, подумал он, чувствуя, как боль одолевает, скручивает его всего. Она упала, но пролетела, видимо, мимо.

Впереди виднелось картофельное поле. Только теперь Николай понял, где он. Он вспомнил, года два назад брал здесь почву для анализа. За выступом молодого березняка виднелись черные бугры буртов. Он поправил на плече ружейный ремень и направился к ним. Хотелось взглянуть по старой привычке, хорошо ли картошку закрыли на зиму.

Три бурта были уже закрыты, четвертый же, крайний к лесу, казавшийся самым большим, успели только обложить соломой. Сверху же на случай дождей он был закрыт полиэтиленовой пленкой.

Вот возле этого бурта Николай и заметил вдруг директорскую машину. Багажник УАЗа был открыт, и из-под отстегнутого брезента выглядывали сетки с картошкой.

С Пауковым Николаю встречаться не хотелось, и без того на душе было тяжко, и он свернул было к березняку, тем более что возле машины никого не было, и его, по всей вероятности, никто пока не заметил. Но забитый сетками с картошкой багажник директорской машины заинтересовал его. Это ж как понимать, подумал Николай, шел к Фоме, а попал к куме?

В дальнем конце бурта, откинув край полиэтиленовой пленки, на корточках сидели Пауков с шофером и прямо в сетку торопливо набирали картошку.

— Ну что, земледельцы, спасаете урожай от дождей? Работаете по-ударному, несмотря, так сказать, на сложные погодные условия?

Николай говорил громко, почти кричал. Те резко, словно вспугнутые грачи, подняли головы, вот-вот, казалось, взлетят — и поминай как звали. Николай засмеялся. Он стоял шагах в десяти позади них.

Директорского шофера Николай не знал. В совхоз тот приехал недавно. Говорили, что Паукову он доводился то ли племянником, то ли двоюродным братом, словом, из родни. Так оно, наверное, и было, потому что директор явно к нему благоволил и с первых же месяцев его пребывания здесь все устроил так, чтобы ни он, ни семья его ни в чем не нуждались. Вселил его в трехкомнатную квартиру в новом доме, которую полгода никто не занимал, потому что она была оставлена якобы для специалистов. Жену племянника или брата принял к себе секретарем, а его самого водителем легковой автомашины и на полставки истопником в баню, которая вот уже пять лет как не действовала. Минувшей весной тот получил повестку в армию, но Пауков «похлопотал» и «освободил» родню от службы. Фамилия у шофера была нездешняя — Гринькевич; в Крисанове-Пятнице его сразу прозвали Греком, или Грекой.

Именно Грека первым освоился с внезапной ситуацией и, встав с корточек и не спеша размяв затекшие ноги, сказал спокойным, но настороженным голосом:

— А, это ты, парень. Ну, много дичи настрелял?

— Как видишь, — ответил Николай; он ответил не сразу, некоторое время смотрел на Паукова, а потом, когда пауза уже довольно затянулась, бросил нехотя это: «Как видишь», и даже не взглянул на Греку.

Тот больше ни о чем не спрашивал, только оглянулся на Паукова. Так оглядываются на хозяина, когда не знают, что делать дальше, а спросить нельзя, и кашлянул в кулак.

— Да что-то не видно твоих трофеев, Донцов, — сказал Пауков и вытер руки о полы надетого поверх пиджака черного халата.

— Не видно? — Николай снова усмехнулся и почув-

ствовал, как задергалась у него щека. — Верно, не видно моих трофеев. Зато ваши — вон они.

Теперь Пауков и Грека не скрывали своей настороженности. Они переглянулись, и Грека утер рукавом куртки вспотевший лоб и пошел к машине.

— А ну-ка, парень, стой! — приказал Николай и шевельнул плечом; ружейный ствол медленно пополз на руку. — Ты что же это, Иван Николаевич, шофера своего за монтировкой, что ли, послал? Так она против меня — оружие слабоватое.

— Ты что, Николай? Что ты?

— Ну, если не за монтировкой, тогда за чем же? За хлебом и солью?

— Черт знает что! С таким народом совершенно невозможно работать! Лодыри, наглецы.

— Точно, Иван Николаевич, народец у нас в Крисанове-Пятнице дрянь. Народ-то у нас такой: унеси что с совхозного двора — вором назовут. Каковы наглецы, а?

— Твоя ирония, Николай, неуместна.

— А я и сам тут некстати. А? Разве не так?

Пауков брезгливо поморщился и начал еще тщательнее оттирать пальцы от налипшей грязи.

— Ты гляди-ка, как земля в твои руки въелась. Не ототрешь.

Николай не спускал с Паукова пристального взгляда, и слова, более резкие, чем те, которые были уже высказаны, так и клокотали в горле.

— Ты прав, скверная здесь земля.

— Ну да, такая же, как и люди.

— Пожалуй.

— Это потому, что эта земля не родная тебе, а чужая.

— Так и тебе, насколько я знаю, она не родная, земля здешняя.

— Мне? Мне не родная? Вот мне-то она как раз родная. Кому ж она тогда родная, если не мне? И если уж не родная, то и не чужая. Вот так. А ты тут со своим племянником человек чужой.

Пауков побледнел. Николай подошел ближе, он смотрел ему прямо в переносицу.

— Ты привык тут гнуть народ туда-сюда. Как проволоку медную. Гнешь — и не ломается. А почему? Я долго думал, мучился: почему ты это делаешь, какая цель у тебя? Желание прослыть, так сказать, в высших кругах требовательным, строгим, знающим свое дело руководителем? Чтобы потом — повыше, на очередную ступеньку перескочить? Нет, вижу. Из жадности? Чтобы поскорее да потяжелее карманы набить? Тоже нет. Ты народ наш не любишь. Землю не любишь и народ тоже. А он тебя тоже не жалует. В таких условиях воровать трудно, все глаза — враги да свидетели. Так зачем же ты здесь сидишь, Пауков? А?

— Ты, Донцов, говори, да не заговаривайся. Я ведь пока терпел. Терпел, понял? А могу кое-где...

— Кое-где... Да ничего ты не можешь. — Николай перекинул ружье под мышку, он сделал это непроизвольно, так было удобнее и легче держать его. — Ну, вот сейчас, что ты можешь?

— Положим, не сейчас. Сейчас ты вооружен. И вообще ведешь себя не самым лучшим образом.

— А ты привык погонять послушных овечек! Не сейчас... Когда же? Завтра? Послезавтра?

— Ну... Возможно, что послезавтра. Или даже завтра.

— А ни хрена у тебя не получится! Послезавтра я, товарищ Пауков, принесу в партком заявление.

— Какое заявление?

— Заявление о приеме в партию. У меня истекает кандидатский стаж.

— При чем здесь партия? При чем здесь кандидатский стаж?

— Как при чем? Партия здесь при всем. Ты знаешь, где я заявление в кандидаты написал? Не знаешь. Я тебе скажу: перед тем, как через Гиндукуш перевалить. А знаешь, что я писал в том заявлении? Тоже не знаешь. Я писал об интернациональном долге и желании помочь афганскому народу в трудное время. Я честно и искренне этого желал. И воевал так, что никто ни в чем не упрекнет меня. Ты понял? Никто и ни в чем. А теперь я напишу... Знаешь, что я напишу теперь в своем заявлении? Теперь ведь тоже заявление нужно писать, не так ли? Я напишу вот что: прошу принять, чтобы, будучи членом Коммунистической партии Советского Союза, очистить ее от такой мерзости, как ты, Пауков. Вот что я напишу теперь. И тоже искренне. А там, глядишь, и повестка собрания изменится. Люди все видят. Думаешь, они тебе простят? Или надеешься, что запугал их настолько, что они и рта не раскроют?

— Иван Николаевич, — нервно засмеялся Грека, — он же не в себе. Посмотрите, он же не в себе!

Николай обернулся и посмотрел на шофера так, что тот сразу осекся, и улыбка замерла и начала медленно сползать с его лица.

Николай подошел к машине, откинул брезентовый полог и заглянул вовнутрь. Задние сиденья были сложены, сдвинуты вперед, и на их месте лежало с десяток туго набитых отборными клубнями сеток.

— Донцов, не старайся, тебе никто не поверит. Хватит. Лучше уходи по-хорошему. И язык за зубами придержи. Так будет лучше. И для тебя в первую очередь.

— Если я уйду, это будет уже не по-хорошему. Это будет очень даже не по-хорошему. А что касается веры, то мне поверят быстрее, чем тебе. Люди меня знают. И тебя знают. Или ты и вправду поверил в то, что ты запугал народ настолько, что они в угоду тебе и от правды отрекутся? Подпевал у тебя много. Но не те времена, когда подпевалы все решают.

— Времена меняются, а жить людям всегда хочется. Спокойно и сытно жить. Пройдут и нынешние времена. И люди это чувствуют, а потому дорогу заступать они мне поостерегутся. Поостерегутся и в твою авантюру ввязываться. Людям хочется жить спокойно. Ну что молчишь? Что тебе вообще нужно? Что? — Пауков сжал кулаки. — Тебя ведь никто не трогает. И жена твоя недурно устроена. Получает хорошую зарплату.

— Моя жена — трудолюбивый человек. И получает она не больше того, что зарабатывает. Да на таких, как Вера, и держится совхоз.

— Не слишком ли ты, Донцов, самонадеян, говоря о достоинствах своей жены?

— Стоп, Иван Николаевич. Достоинства и недостатки моей жены касаются только меня. И только меня. Понял? Или, может, вот эти сетки, вот эта картошка, которую вы хотели упереть с совхозного поля, тоже както связаны с моей женой? Нет? Тогда вот что: вытаскивай-ка сетки, все до одной, и высыпай картошку назад к чертовой матери. Иначе я за себя не отвечаю.

— Борис, высыпай. — Пауков сделал знак рукой шоферу.

Но тот отреагировал на приказ Паукова по-своему.

— Иван Николаевич. Иван Николаевич... Да что он, гад такой, тут распоряжается! — Грека хватил рукой по брезенту — вода брызнула на землю. Шагнул к Николаю. — Ты что тут из себя корчишь? Т-ты!.. Думаешь,

побывал там, пострелял из автомата из-за камней, — и герой?

— Ты прав, я стрелял. Приходилось.

— Вот и сопи себе в дырочку. Носи медаль, лечись. Тебе и серьезно лечиться надо. Ты ж психованный. Ну что смотришь? Нервишки-то негодные, лечиться надо. А ты вместо этого в чужие дела суешься. Лучше за женой своей построже присматривай. Видел я, как она раз...

— Из-за камней? Из-за камней, шкуры! — И закричал: — А ты знаешь, ты, сморчок вонючий, как нужно стрелять из-за камней?! На землю! Руки за голову — и на землю! Оба! Ну! Быстро!

— Убери ружье, — каменея взглядом, сквозь зубы прошептал Грека.

— А вот тебе! Вот этого ты не видел! — Николай махнул ему кулаком из-под цевья. — Сейчас вы у меня землю здесь жрать будете. А ты, сморчок, первый. Ты у меня жрать будешь до тех пор, пока она у тебя вместо дерьма не полезет. Может, ты и за начальника своего — его пайку? А, пес вонючий? Тебе ж, видно, не привыкать, а?

Когда туго щелкнули взведенные курки, Пауков, поддернув брюки, ничком бросился на мокрую землю и крикнул, не поднимая головы:

— Боря, ложись. Ты прав, он способен на все. Ложись, Боря, я прошу тебя.

Шофер выругался, швырнул под ноги какую-то железку, которую все это время придерживал за пазухой, и лег на край бурта.

— Руки за голову. — Николай качнул ружейными стволами в сторону машины. — Пауков, встать! Ну, живо! Да не бойся, вставай. Вставай и разгружай машину. Быстро! Бегом, марш! Нет, ты сморчок вонючий, лежи. Твой начальник сам все сделает. Вперед, Пауков!

Пауков нехотя встал и, не оглядываясь, пошел к машине. Николай подошел к шоферу.

— Так, а теперь давай с тобой разберемся. Ты, я вижу, разведчик хороший. А? Или только языком болтать любитель? Давай, выкладывай, что там у тебя за сведения для меня припасены?

— Никаких сведений. Ты что?

— Твое слово ничего не стоит.

— Я правду говорю.

— Когда ты говорил другое, тоже клялся, что правда.
— Да это я так, болтнул.
— Ну, рассказывай, что ты там видел?
— Я видел, что она спала в машине. Когда мы подъезжали к переезду, она спала в Хуланенковой машине. Одна. В брезенте. Вот честное слово, одна.
— Верю. Дальше.
— А Хулапенок был в это время в тракторе. Тоже спал. Это в тот раз, когда они на переезде на хуторской дороге застряли.
— Знаю про такой случай. Дальше.
— Они заночевали там. На переезде. А мы с Иваном Николаевичем утром рано ехали на Хутор. Посмотреть, как они там стогуют. Ну, и разбудили их.
— Больше ничего не видел?
— Нет, больше ничего.
— Точно?
— Точно.
— Так, хорошо. Теперь скажи, почему в армии служить не хочешь?
— Кто тебе сказал, что не хочу?
— Об этом вся деревня говорит.
— Я больной.
— Что, грыжу за баранкой нажил?
— Не грыжа у меня — давление.
— Давление? Неужто совесть давит? Хочешь, я тебе сниму твое давление? Ты у меня, сморчок вонючий, через пару недель как космонавт будешь. А весной в армию за милую душу пойдешь.
— Как это — в армию? Я ж больной. Давление.
— Пойдешь. Как все, так и ты. Только ты сам проситься будешь, если повестку вовремя не пришлют.
Николай подождал, пока директор развязывал и высыпал в бурт последнюю сетку, вытер с бровей и с холодного лба дождевую испарину, спустил осторожно взведенные курки и, забросив ружье за спину, пошел прочь.

Уже стемнело. Николая все не было. Вера сидела в угловой комнате, не включая света. Крупные капли дождя, подсиненные скоро пришедшими сумерками, собирались на стекле, набухали и, дрожа, скатывались вниз, оставляя кривые прерывистые дорожки; дорожки эти вскоре исчезали вовсе, будто пересыхали. Капли были густые, как и сам дождь.

По дороге, разбрасывая снопы яркого света, промчалась машина. Вера узнала директорский «уазик». После того как машина исчезла за деревьями, в комнате да и на улице, казалось, стало еще темнее.
— Боже мой, — сказала она, уже не в силах сдерживать в себе отчаяние, — где, ну где можно бродить до этих пор по такому дождю!
Она вышла в прихожую, надела плащ, нашла на полке зонтик.
На улице было холодно. Черемуха, уже почти совсем голая, зябко ежилась под дождем, ветви ее были недвижны, почти мертвы. Вера опустила зонтик. Дождевые капли упали на лоб, на щеки, на губы. Она нарочно не вытирала их. Было тихо. Как когда-то на хуторе. Только дождь ходил вокруг.
— Ну где он может быть в такую пору?! — сказала она и всхлипнула.
Нужно сдержаться, погодя подумала она, нужно сдержаться. Она вздохнула и посмотрела в вечереющее небо. Там ничего нельзя было разглядеть — черная мгла.
— Где?
Она приложила к горячим сухим губам такую же горячую ладонь — у нее сжалось сердце от одной только мысли о том, что он, наверное, где-нибудь заблудился, промок, продрог.
— Если через полчаса он не вернется, я сойду с ума.
Я пойду по домам, подумала она, и буду поднимать людей, чтобы искать его. Эта внезапная мысль так крепко завладела Верой, что она уже начала думать, откуда же начинать, с чьего двора. Она сделала бы все в точности так, как задумала, не появись вскоре Николай и не окликни ее, уже порядком промокшую и продрогшую.
Дождь все так же неторопливо ходил по земле, по деревьям, по крышам, монотонно и нудно шептал, всхлипывал и опять шептал, шептал... Ему не было дела до них.
— Ты вся промокла, — сказал Николай, подойдя и обняв ее холодными руками.
— Ты тоже, — ответила она.
— Прости, — сказал он, и она совсем близко увидела его бледное родное лицо.

— Где ты был? — спросила она, голос ее сделался хриплым.

— В лесу. Заблудился немного, — ответил он и стер с лица дождевые капли. — Заблудился. Там, в лесу, хорошо, — неожиданно сказал Николай.

— Но в такой дождь... — возразила было она и почувствовала теплый толчок изнутри: сердце ее переполнилось жалостью к нему.

— И в дождь хорошо. Там всегда хорошо. Тихо.

Он улыбнулся. Она уткнулась мокрым лицом в его грудь, прижалась.

— Пойдем-ка домой, — сказал он, гладя ее влажноватые волосы.

— Пойдем, — ответила она. — Сейчас придем, быстренько переоденься и чаю с медом попей.

Ночью у Николая поднялась температура.

Вера проснулась где-то в полночь и некоторое время лежала, не открывая глаз. И вдруг она почувствовала, что и он не спит. Так часто бывает: они просыпались среди ночи, почти одновременно, от беспокойного ощущения тревоги и нежности друг к другу. И если кто-нибудь просыпался раньше, то стоило ему или ей пошевелить рукой, как тут же просыпался он или вздрагивала и тянулась к нему она. Но в этот раз было все не так.

Она включила ночник и положила ладонь на его лоб: лоб был огненный.

— Коленька, — позвала она тихо.

Он не спал. Похоже, он давно уже не спал, и Вера подумала: лежал и молча ждал, когда проснусь я.

— Да, у меня, кажется, подскочила температура, — сказал он.

Вера встала, порылась в комоде, нашла градусник и стряхнула его.

— Я знала, что это так не пройдет. Ты простудился. Если температура высокая, я сбегаю к Ирке, у нее есть шприц и ампулы с папаверином. Она умеет делать уколы.

— Никуда идти не надо. Иди сюда, — позвал он и поймал ее руку. Она покорно села рядом. — Это не простуда. Хотя и простуда тоже. Потрогай вот тут.

Николай прижал ее руку к своей груди. Она почувствовала бугорок шрама, но теперь он был крупнее и тверже.

— Чувствуешь, как набух? Болит, сволочь.

— Сильно болит?

Она осторожно погладила вокруг.

— Внутри болит. Сильно.

— Может, «Скорую» вызвать?

— Не надо.

— Как не надо, тебе плохо. Я боюсь, что не смогу тебе помочь. Я ничего не умею.

— Сможешь. Дай таблетку. Две давай. Аспирина. Я усну. А утром сам в больницу поеду.

Утром Вера отпросилась с планерки и побежала на автобусную остановку.

Автобус уже пришел. Николай стоял возле открытой автобусной двери, курил и разговаривал с водителем. Когда увидел ее, почти бегущую к остановке, бросил в лужу недокуренную сигарету и пошел навстречу.

Они обнялись. Водитель автобуса терпеливо ждал, курил, смотрел куда-то в сторону. Потом, когда надоело сидеть так, достал из-под сиденья ветошь и стал тщательно протирать лобовое стекло.

Что это мы, первой спохватилась она, как все равно навсегда прощаемся. Ой, нельзя так, колыхнулось у нее под сердцем. И он, будто почувствовав в ней это движение, отстранил ее и сказал:

— Пора мне, Вера. Ждут — задерживаю.

— Постой! — крикнула она, когда он уже поднимался по ступенькам и заскрипела, закрываясь, обшарпанная, нелепая какая-то дверь. — Я с тобой!

Дверь так же скрипуче открылась. Вера вскочила в салон. Пассажиров было мало, школьники да две старушки.

Возле Городка Николаю стало нехорошо. Они остановили автобус и вышли возле мостов. Вера спустилась к речке, смочила носовой платок и отерла Николаю лоб и шею. Ему сразу стало легче дышать. Он встал и, опираясь на ее плечо, сделал несколько шагов. Идти было тяжело. Он остановился, стиснул зубы и, отвернувшись, сказал:

— Не могу. Давай еще немного отдохнем. Что-то в груди колет.

Вера помогла ему сесть на обочину, а сама выбежала на дорогу и вскинула руки навстречу темно-вишневым «Жигулям». Водитель, она хорошо успела разглядеть

его, молодой, худощавый, аккуратно выбритый и так же аккуратно причесанный, в белом пиджаке, что-то крикнул ей, похоже, выругался и помахал кулаком. Машина притормозила немного, объехала Веру, взревела надсадно, с хрипотцой, и умчалась, пыля, в сторону Городка.

— Не надо, — сказал Николай, видя, как она переживает, что не удалось остановить «Жигули», — сами дойдем. Тут немного осталось. Сейчас вот посижу немного, отдышусь, и пойдем.

Она увидела внизу возле речки старичка. Старик, как видно, шел издалека. В тяжелой неторопливой походке его чувствовались усталость и желание скорого отдыха. Он то и дело прикладывал ко лбу ладонь и смотрел то ли на них, то ли на небо, то ли еще куда — издали было не разобрать. Взобравшись на насыпь и подойдя ближе, старик хлопнул по-петушиному по полам серой своей телогрейки и окликнул Николая:

— Гварде-ей! Никак это ты!

Николай медленно поднял голову, лицо его было бледным, с серовато-пепельным, будто дорожная пыль, оттенком.

— А, это ты, дед, — сказал он, облизав сухие лиловые губы.

Это был старик из Студенца. Николай, не вставая, подал ему руку и слабо пожал ее. И спросил:

— Ну что, дед, мясорубку бабке своей купил тогда?

— Не, брат, не купил, — ответил старик из Студенца. — Расхватали, ядрены кудри! Вот сегодня опять иду. А ты, я вижу, того... приболевши?

— Да вот прихватило. — Николай обессиленно махнул рукой. — Думал, дома быстро оклемаюсь. А оно вон как...

Старик из Студенца потоптался на месте, потом обошел вокруг Николая, взглянул на Веру и сел рядом.

— А это кто ж, не жена ли твоя и будет?

Николай кивнул.

— А ну-ка, дочка, подсоби мне.

Старик из Студенца встал и начал поднимать Николая.

— Погоди, дедушка, — попыталась остановить его Вера. — Пусть он отдохнет немного.

— Бери, бери с той стороны, — приказал старик. — Нешто не понимаешь — нельзя ему сейчас на сырой земле сидеть.

Вера осторожно взяла Николая под руку, и они, втроем, держась дорожной обочины, пошли в сторону Городка.

— А так-то оно и хорошо. Так-то и дойдем помаленьку. А как же, — бормотал старик из Студенца, придерживая Николая с другой стороны. — Солдат солдата... Всегда так было. Кто ж такие мы тогда будем, если товарищей своих бросать будем? Какие ж мы тогда, к чертям, солдаты? Меня вон Селиванов, сержант наш, его потом осколком убило, так он меня верст двадцать, а то и всех тридцать волок беспамятного. На шинелишке. Шинелишку распоясал, перекатил меня на нее — и волоком... Взял бы да и бросил, все равно ведь не попрекнул бы никто. Не взыскал бы. Потому как я в беспамятстве находился совершенном — убитый и убитый. А вот, поди ж ты, не бросил меня Селиванов. Выволок меня, считай, с того света. И в санбат доставил. Э-эх, дорогой ты мой товарищ боевой. Где ты теперь? Где твои косточки преют? Осколком убило. Так грудь всю и рассекло. Деревенька какая-то маленькая, вроде хутора, речка так-то, мимо дворов... А в каких местах, и не помню уже. А грудь ему так всю и располосовало...

— Ой, дедушка, да замолчите же вы. Нашли время рассказывать, — перебила его Вера и посмотрела с укоризной в слезящиеся старческие глаза.

— А я что? Я ничего такого... — забормотал виновато старик из Студенца. — Я про то, что солдат солдата до последнего должен...

Николай дышал все тяжелее. Пот заливал глаза. Он тянулся, чтобы отереться, но не мог. Вера изредка останавливалась, утирала его мокрым платком, и они шли дальше, с одной улицы переходя на другую, все время куда-то сворачивая, пока наконец не оказались перед белым зданием, обнесенным невысоким штакетником.

Николай с трудом поднялся по ступенькам. Запахло лекарствами и хлороформом, и он, не открывая глаз, понял, что дошли, что это уже больница, и, видимо, оттого, что идти больше никуда не надо, силы окончательно покинули его.

Его подхватили под руки уже другие люди и повели по коридору. Здесь тоже пахло хлороформом и чем-то

еще, похоже, мочой. Николай попытался поднять голову, но ничего не получилось, голову заваливало то назад, то набок. Тогда он позвал Веру, но она не отозвалась, и он понял, что рядом ее уже нет, и что старика из Студенца тоже нет, что его ведут куда-то медсестры.

Когда Николая уводили, Вера отерла ему лицо платком и не удержалась, заплакала.

Вера вышла из больницы. Идти было некуда. Села на мокрую скамью, заваленную кленовыми и черемуховыми листьями. Старик из Студенца вышел следом за нею, постоял, потоптался на крыльце, стараясь утешить.

Вера не знала, сколько времени она просидела в больничном сквере. Стало холодно, и она словно бы очнулась от оцепенения и страха, которые охватили ее после того, как медсестры увели Николая. Она попыталась вспомнить, о чем она разговаривала с медсестрами, что они говорили ей. Ведь они ей что-то говорили. Да, что-то очень важное, и ей обязательно нужно вспомнить, что именно. Она не могла ничего вспомнить ни минуту спустя, ни полчаса. Тогда она попыталась вспомнить, о чем она думала все это время, пока сидела здесь. Может, о том, что говорили ей медсестры. она как раз и думала? Но и этого сделать не смогла. Вера огляделась, она хотела спросить старика из Студенца, что говорили ей медсестры перед тем, как увели Николая. Но и старика нигде не было. Она вспомнила только, что тот ушел, видимо, покупать своей бабке мясорубку. Да, мясорубку, потому что о ней, о мясорубке, он как раз и говорил Николаю. Господи! Какая мясорубка!

Желтый с багряными прожилками лист упал с молодого клена, нависшего своими хрупкими тонкими ветвями над скамьею.

Вера поняла, что все дожди прошли, что земля замерла, охладев и успокоившись, и больше не ждет дождей. И сердце ее сжималось от воспоминаний о той поре, когда земля была переполнена ожиданием, когда нетерпение звенело в каждом рожденном звуке, в каждой былинке. Нетерпение жить. И дожди приходили. И ливни тоже приходили. Ах, какие были ливни!

— Дочка! Эй, дочка! — услышала она знакомый голос и обернулась: старик из Студенца стоял возле больничного крыльца и обеими руками делал ей какие-то знаки. — Ходи-ка сюда. Ходи скорей.

Вера сосредоточилась, мучительно нахмурила лоб и,

наконец поняв, что ее зовут, сунула кленовый лист в карман куртки и подошла к старику.

— Я там разведал кое-что. Укол ему сделали. Полегчало. Видать, полезный укол. Они там, ядрены кудри, умеют лечить, когда захотят. Но домой не отпустят. К ним сюда только попади. Лечить, сказали, надо. Ты, дочка, подойди вон к тому окошку и постучи. Если врач еще там, он подойдет. Поговори с ним. Он человек вроде хороший. Только ты сразу скажи ему, кто ты есть. Скажи: жена, мол. И сразу спрашивай.

Вера постучала в нижнее стекло, она едва дотянулась до него, там стоял фанерный ящик, она залезла на ящик и постучала еще. Окно, закрашенное снизу белой краской, тут же открылось. Мужчина лет пятидесяти, плотный, лысоватый, выслушал ее внимательно и сказал:

— Странно, вы стучите в окно, а между тем у меня никогда не закрыта от посетителей дверь Заходите, заходите. Через дверь, разумеется. Нам необходимо поговорить.

Вера прошла по уже знакомому ей коридору, остановилась возле двери с надписью «ГЛАВВРАЧ», нажала ручку, дверь легко отворилась. В приемной никого не было, и она постучала в другую дверь.

— Скажите, доктор, то, что с ним произошло, очень опасно? — спросила она сразу, как только вошла в кабинет главврача.

Главврач стоял у окна, курил. Она вспомнила, что раза два или три видела этого человека, но не здесь, не в больнице, однако, где именно, и как его зовут, вспомнить не могла, и от этого было неловко.

— Извините меня. Я боюсь за здоровье мужа. Вы должны меня понять. Дороже и ближе его у меня никого нет.

Главврач сделал глубокую затяжку и выпустил в приоткрытую форточку струйку дыма. Он даже не оглянулся на Веру. Похоже, он думал о чем-то таком, о чем сразу ей, Вере, невозможно было сказать. Вера следила за каждым его движением, и каждое его движение вызывало в ней нервный толчок. Молчание длилось и длилось, и она едва держала себя в руках, она поняла: во что бы то ни стало нужно держать себя в руках.

— Мы сделаем все возможное, — наконец сказал главврач и повернулся к ней лицом.

— Значит, опасно? Значит, очень опасно? Операция?

— Да, придется делать операцию. Сегодня вечером. Сейчас к нему нельзя. Вы даете согласие?

Вера смотрела в глаза главврача и вдруг поняла: да ведь он сам не верит в благополучный исход. Он сказал: сделаем все возможное... Значит, существует нечто за пределами возможного? И там, за пределами, они ничего не сделают...

— Вы говорите таким тоном, будто сами не верите не только в успех операции, но и в необходимость ее.

Главврач снова ответил не сразу. Видимо, такая у него была манера разговаривать, и с этим нужно было смириться.

— Я верю в то, — сказал он погодя, — что вы с вашим мужем еще будете счастливы. Я верю в это настолько, насколько верю вообще в смысл моей профессии.

Вера пристально всмотрелась в его глаза, она даже прищурилась и немного подалась к нему.

— Значит, — спросила она опять, — все очень серьезно?

— Да, серьезно.

Главврач снова закурил.

— Вы много курите? Вы что, волнуетесь? Вы, видимо, еще что-то хотите мне сказать? Я вижу, что вы что-то недосказали.

— Я всегда много курю, — ответил он.

В дверь постучали, вошла медсестра и сказала:

— Валентин Гаврилович, звонили из области. Только что. Вертолет уже вылетел.

— Спасибо, Тамара Васильевна, — ответил главврач. — Пошлите на площадку мою машину. Хотя, постойте. Я поеду встречать Владимирова сам.

— Как, Валентин Гаврилович, на операцию вылетел сам Владимиров? Алексей Владимирович?

— Да, Алексей Владимирович. Вы там, Тамара Васильевна, скажите шоферу, чтобы помыл машину. Время еще есть. А то вечно у него все в затрапезном виде.

— Хорошо, Валентин Гаврилович.

Медсестра мельком взглянула на Веру и вышла из кабинета так же тихо, как и вошла.

— Я запросил специалиста из области. Сообщил, что срочно нужно прооперировать демобилизованного из Афганистана солдата.

— Его комиссовали. После госпиталя.

— Да... Но это все равно. Я давно не делал подобных операций и потому... Это хорошо, что прилетает Владимиров. Когда-то мы с Алешей вместе заканчивали институт. Жили в одной комнате. Он очень хороший специалист. Как ваше имя? Простите, вы назывались, но я запамятовал. Да, Вера Александровна... Так вот, Вера Александровна, ответьте мне на такой вопрос, поймите, это очень важно: не наблюдали ль вы в последнее время каких-либо психических... — Главврач замялся; Вера боялась, что сейчас он опять закурит, но главврач не закурил, он отвернулся к окну и спросил: — Каково состояние его нервной системы, как вы, Вера Александровна, считаете? Может, он нуждается в специальном обследовании?

— Вы хотите сказать, здоров ли Николай? Психически? Вы хотите сказать, что если он из Афганистана, то... Но вы же врач, вы осматривали его, вы лучше меня должны знать, здоров ли он. И потом, мне кажется, сейчас не об этом нужно заботиться в первую очередь.

— Видимо, вы все же не так меня поняли.

— Я вас поняла правильно, Валентин Гаврилович.

Чего он хочет от меня, растерялась Вера. Неужели... Нет-нет, этого не может быть. Чушь, этого не может быть. И тут же усомнилась: а почему не может?

Вера вспомнила, как однажды, возвращаясь пешком с дальнего поля, наткнулась в лесу на костер. Костер освещал небольшую полянку, и возле него Вера увидела Паукова, второго секретаря райкома партии (теперь его неожиданно освободили от занимаемой должности и вывели из состава бюро райкома в связи с уходом на пенсию по состоянию здоровья, так об этом сообщалось в районной газете), кого-то еще, и вот его, главврача районной больницы, Валентина Гавриловича; он тогда нанизывал куски мяса на шампуры и, смеясь, кричал кому-то: «Славик! Давай шевелись! Лук тащи! Лук и соус!» Потом раза два встречала его в кабинете Паукова. В конторе поговаривали — в конторе все знают, что главврач частенько берет в совхозе мясо.

Так вот куда закатилось пауковское колесико, подумала Вера.

— Знаете, — продолжал главврач, — возможно, наблюдалась повышенная нервная возбудимость. К примеру, бурные, неожиданные реакции на какие-нибудь самые обычные ваши замечания. Возможно, даже спад в

ваших интимных отношениях. Вы не могли бы все это изложить на бумаге? Я повторяю, это во многом может помочь нам.

Главврач говорил торопливо, сбивчиво, иногда одно и то же по нескольку раз. Он подошел к столу, и Вера только сейчас увидела на аккуратно обрезанном стекле стопку чистых листов, четыре или пять, может, даже больше, и шариковую ручку. Ах вот оно что, вы решили — моими же руками... Старик, конечно же, ни при чем, лихорадочно соображала она, главврач попросил его позвать меня, и он с радостью это сделал. Но тогда почему старик послал меня к окну? Она пошла к окну, потому что думала: там, за этим окном, ждет ее Николай. А может, главврач никого и не посылал? Может, он просто знал, очень просто знал, что я сама приду? Я ведь не могла не прийти. Как они все предусмотрели и предугадали! С планерки меня отпустил, на целый день отпустил и даже посоветовал поехать вместе с мужем. И, видимо, позвонил вслед. А зачем вызвали врача из области? Этого Владимирова? Чтобы, если что случится, остаться в стороне? Им нужен документ. Так, спокойно, сейчас главное, ничего лишнего... Спокойно...

— У нас с Николаем все было хорошо, — тихо ответила Вера.

Она говорила правду.

— Было все хорошо, — повторила она и почувствовала, что почти совсем спокойна, что даже уверенность пришла — все обернется к лучшему, Владимиров спасет Николая, Николай скоро вернется домой, она будет ухаживать за ним, и все опять будет таким, как было раньше.

— Нет, у нас все было хорошо. — И спросила, глядя прямо в глаза главврачу: — Скажите, его можно видеть сейчас?

— К сожалению, невозможно.

— Когда операция?

— Точно не могу сказать. Прилетит Владимиров, мы еще раз осмотрим вашего мужа и тогда, я думаю, решим окончательно. А вам следует успокоиться и поехать домой. Хотите, я вызову машину? «Скорую». Вас отвезут до вашей деревни.

— На «Скорой»? Нет, я поеду на автобусе. Спасибо. У меня только просьба: я буду звонить, возможно, часто, так вы предупредите, пожалуйста, дежурных или

кто там будет у телефона, чтобы это их не раздражало.

— Хорошо, хорошо.

Вера вышла из больницы. Пахло дымом, где-то неподалеку жгли листву. Запах дыма был таким тоскливым, что, вздохнув поглубже, ничего, кроме ответной горечи, она не почувствовала. Она оглянулась на трехэтажный больничный корпус и подумала: боже, какое унылое здание. Окна этих этажей были пусты. Никто не смотрел ей вслед, никого не видела и она. Где, за каким из этих окон он лежит, подумала Вера, и в горло у нее закололо от жалости.

— Ну что, дочка?

Вера вздрогнула. Возле калитки стоял старик из Студенца.

— А, это вы. Будет операция, — ответила она. — Врача из области вызвали. Скоро прилетит.

— Ну вот и хорошо. Видать, хороший врач прилетит. А ты не падай духом. Не печалься. Он у тебя, ядрены кудри, парень крепкий, нашенский, гвардейской породы. Э-э, дочка, кабы б видела ты, какой плохой я с фронта пришел к своей старухе. — Старик из Студенца махнул рукой. — Только и звания было что человек. А потом ничего, ожился.

— Я думаю, что все будет хорошо, — сказала Вера, пересиливая себя.

— Обойдется, обойдется. Врач-то, говоришь, из области прилетит? Ну вот. Доктора нынче хорошие. Вон, даже руки пришивают, а тут... Обойдется, дочка. А куда ж ты теперь направляешься?

— Не знаю, — призналась Вера. — Подожду немного. А там автобус на Крисаново-Пятницу пойдет. Домой поеду. Я договорилась: буду звонить им.

— Ну и хорошо, ну и ладно.

— Спасибо вам, дедушка.

— Да за что же мне-то, дочка?

— За то, что помогли. Как вас зовут-то?

— Как меня зовут... Дедом меня зовут. И старуха так зовет, и дети, у меня их четверо, сыны и внуки, и весь Студенец так зовет. Дед. Старый солдат. Вот как меня зовут, дочка.

Расстались они на заваленной палой листвой аллее неподалеку от больничной калитки. Старик из Студенца сразу куда-то заспешил, и Вера подумала, что у него, должно быть, свои срочные дела, что, быть может, сего-

дня он уже не успеет туда, куда шел утром, что, будь он, старый солдат, врачом, уж он бы спас Николая, наверно. Такие никогда не подводят.

Где-то в глубине сквера слышались голоса и смех: там, видимо, сгребали листву и жгли. Только бы дождя не было. Теперь дождь не нужен. Зачем он теперь? Костры горят в такую погоду неторопливо, словно нарочно, чтобы побольше было дыма. Дыма. Горечи. Чтобы дольше помнили лето и сильнее сожалели о том, что оно прошло.

Прошло оно, лето. Прошло. А листья сожгут через день-другой, и уже ничего не останется.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В Крисаново-Пятницу Вера решила не ехать. Она подумала так: операцию Николаю будут делать, видимо, все-таки сегодня, в крайнем случае, ночью, так что ехать домой ни к чему. Но потом она спохватилась, что не взяла с собой паспорта, да и одета... Ладно, скажу, что студентка, что приехала на картошку, от своих отстала. Может, и пустят переночевать. Или лучше, решила немного погодя, расскажу все как есть. Поймут, люди ведь тоже.

Когда шла через площадь, над Городком, сотрясая стекла военкомовских и раймаговских окон, пролетел медицинский вертолет. Вера подняла голову и увидела, как он блеснул серебристой обшивкой над крышами зданий и, накренившись, стал загребать винтами в сторону стадиона: там, видимо, была оборудована площадка для посадки. Она подумала с облегчением, что прилетел человек, который сделает действительно все, чтобы они с Николаем вновь были счастливы. Немного погодя оттуда через площадь, поднимая пыль и сухие листья, проехала «скорая». В кабине рядом с водителем Вера увидела пожилого мужчину в светло-сером пиджаке или плаще. Был он худ, сутул, казался усталым. Вера вздохнула и смотрела вслед удаляющейся машине до тех пор, пока та не исчезла за тополями и лохматыми давно не стриженными кустами акаций.

Она вспомнила, что в кармане куртки у нее лежит железный рубль и немного мелочи, решила зайти в кафе. Есть не хотелось, но вечером, решила она, когда все закроется, захочется обязательно. Надо выпить хотя бы кофе с какой-нибудь булочкой. Она пожалела, что денег у нее мало, что и занять не у кого, ведь завтра утром нужно будет что-нибудь купить для Николая.

В кафе было многолюдно, почти все столики были заняты. Вера взяла чашку суррогатного кофе и лепешку на блюдце с отбитым краешком и огляделась, куда бы сесть. В конце концов она пристроилась у подоконника. Ее позвали — подумала, что, наверное, забыла взять сдачу, или, может, это не ее зовут. Вера попробовала кофе, но сделала два глотка и почувствовала приступ тошноты. Вот только этого и не хватало. И тут снова ее окликнули, на этот раз по имени и отчеству. Она оглянулась и увидела Игоря Алексеевича: он уже шел к ней, улыбался и что-то говорил, но что, она не могла понять.

Кофе допили молча. Вера наконец справилась с приступом тошноты. Что это со мной, подумала она? От перенапряжения? Или, может...

Они вышли из кафе и направились в сторону парка, где тоже дымились костры. В парке они сели на скамью, и Вера рассказала Игорю обо всем, что произошло. Еще когда она увидела его, пробирающегося между тесно сдвинутыми столиками, поняла, что нужно обо всем рассказать, душу хотя бы облегчить, иначе она просто не выдержит. Выслушав ее, Игорь некоторое время молча теребил длинными смуглыми пальцами маленькую черную бородку. И зачем он ее отпустил, подумала она? Но, подумав это, она вдруг спохватилась: боже, о чем это я? Игорь встал, схватил ее за руку и сказал:

— Пойдем. Я знаю, что надо делать.

— Что вы хотите делать? Куда идти? Что вы надумали?

— Надо спешить.

— Куда? Вы хоть объясните толком.

— Я еще не знаю, куда. Но надо ведь что-то делать!

— Ну вот, а сказали, что знаете...

Они зашли в редакцию. Вера была здесь впервые. Игорь провел ее по узкому темному коридору, отпер ключом какую-то дверь. Они оказались в небольшом кабинете, заваленном подшивками газет, всевозможными справочниками, пыльными журналами в красных обложках, старыми верстками газетных полос с карандаш-

пыми и чернильными пометками, исписанными блокнотами и какими-то, чуть ли не бухгалтерскими, бланками. На столе возвышалась массивная машинка допотопной конструкции, какие Вере доводилось видеть только в кинофильмах о революции и гражданской войне.

— Зачем вы отпустили бороду? — спросила Вера, когда Игорь подтащил к себе с соседнего стола, придвинутого вплотную, треснутый в нескольких местах и перекрученный разноцветной изоляционной лентой телефонный аппарат, распутал провод и начал набирать какой-то номер. — Борода вам не идет. Совершенно. — И снова подумала: зачем я говорю это? Зачем я вообще сейчас говорю о чем-то?

— Сейчас я с ним поговорю.

— С кем?

— С главврачом. Ты только сиди и молчи — ни слова. Алло! Это главный врач районной больницы Валентин Гаврилович Коврижкин? Здравствуйте, Валентин Гаврилович. Я постараюсь быть предельно кратким. Да, постараюсь. А вы постарайтесь понять меня. Хорошо? Минуточку — сейчас вам все станет ясно. У вас сейчас ожидает операции Николай Донцов. Так, так, совершенно верно. Так вот за исход операции... Нет-нет, вы выслушайте. Да. Да. Вы правильно меня поняли. Да, да. Совершенно верно. Но поймите и вы нас. Так точно, его товарищи по службе.

— Перестаньте. Слышите?

Вера потянулась к трубке, но Игорь перехватил ее руку и, зажав ладонью микрофон и стиснув зубы, прошептал:

— Ни звука. Понятно? Все. Отойди на два шага.

— Не вы? Владимиров? Какой Владимиров? Ах, так. Ну хорошо. И все-таки, Валентин Гаврилович, за исход операции будете отвечать вы, а не Владимиров. Перед законом. Да, перед законом. И перед товарищами Николая Донцова. Вам ведь известно, где он службу проходил? И откуда у него такие ранения, тоже должно быть, известно. Да? Да, понимаю. Но там рискуют бо́льшим. Все. Желаю вам удачи. До свидания.

Игорь положил трубку и некоторое время молчал. Молча тер длинными смуглыми пальцами переносицу.

— Может, я и глупость совершил. Но трубку положить он во время разговора не посмел. Другой бы и слушать не стал. Боится.

— Так ведь не он будет операцию делать.

— Не он. Это и хорошо. Так что не волнуйся. Он даже ассистировать не будет. Я слышал об этом Владимирове, читал недавно очерк о нем в областной газете. Большой специалист. А Коврижкин... Нет, как он заглотил эту пилюлю! Как ты думаешь, что сие означает!

— Что я рассказала вам не выдумку. Что они с Пауковым действительно...

— Вот именно! Но теперь он хвост подожмет.

— Главврач?

— И главврач, и начальник твой — все эти сукины сыны. Ух, доберусь я как-нибудь до них!

Игорь грохнул кулаком по столу, отчего в пишущей машинке что-то щелкнуло, и массивная каретка, треща, начала съезжать в сторону. Игорь поймал ее, возвратил назад, с таким же стремительным треском и, чтобы она больше не ездила, сунул куда-то внутрь линейку.

— Вам не кажется странным, — спросила Вера, — что со всем этим нужно бороться такими методами?

— Э, Вера, другими их не проймешь. Да и недостойны они других. Я здесь без году неделю работаю, а уже такого насмотрелся, наслушался... Ладно, сейчас главное, чтобы операция прошла хорошо. А там мы еще поглядим, как говорил Тарас Бульба, у кого штаны шире!

— Тарас Бульба? Что-то не помню такого, — заметила Вера.

— А ты что, была знакома с Тарасом Бульбой?

— Была. Так же, как и вы, еще в школе.

— Давай на «ты», ведь давно знакомы.

— Не знаю.

— Давай... Давно не читал Гоголя, но мне кажется, такие слова Тарас Бульба вполне мог бы сказать... А еще собираешься воевать с пауковыми и коврижкиными.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего. То. что Тарас Бульба, будь он сейчас здесь, сказал бы что-нибудь покрепче.

— Пожалуй.

Где-то за второй или третьей стеной ровно, словно заведенный механизм, стучала пишущая машинка, в коридоре стукнула дверь, кто-то прошел мимо, по-стариковски тяжело прошаркал по половику, прокашлялся и постучал в соседнюю дверь.

Игорь посмотрел на часы.

— Уже шесть. Ты где остановилась?

— Пока нигде. Пойду в гостиницу.
— Хорошо. Я помогу тебе устроиться.
— Нет, я пойду одна.
— Да перестань ты. Думаешь, так просто устроиться в гостинице? А если мест нет?
— А если мест нет, то как ты, интересно, поможешь мне устроиться?
Свободных мест в гостинице действительно не оказалось. Администратор, она же, видимо, и горничная, седенькая старушка в учительских, в металлической оправе очках, смотрела на них виновато и сожалеюще разводила бледными худыми руками, повторяя:
— Ну вот ни одной коечки свободной. Ни единой нет, деточки. А вы вдвоем? Одна? Ну хоть бы коечка свободная была.
Они вышли из гостиницы, и Вера сказала:
— Ну, вот и помог.
— Да...
— Мне нужно позвонить, — спохватилась Вера.
— Редакция уже закрыта. Ключа у меня нет. Придется из автомата.
Она позвонила в хирургическое отделение по номеру, который дал ей главврач. Ей ответили, что операции еще не было и что когда будет, неизвестно. Главврача звать к телефону она не стала, подумала: хватит, ему уж и так нервы сегодня потрепали. Спросила только, как чувствует себя Николай. Ничего, ответили ей, спит. Она повесила на рычаг трубку и вздохнула и улыбнулась, глядя сквозь стекло телефонной будки на Игоря. Тот стоял поодаль, на самом ветру, и кутался в плащ.
— Ну как там?
— Ему стало лучше. Спит. — Она снова улыбнулась. — Представляешь, спит.
— Когда операция?
— Видимо, ночью. Они ничего не сказали определенно. Они нарочно мне ничего не говорят. А может, и то, что он спит, тоже неправда?
— Перестань. Начинаешь выдумывать то, чего нет. Так нельзя.
— Да?
— Успокойся. Все будет нормально.
Осенью темнеет скоро. А чуть лишь стемнело, так и захолодило сразу, ветер рванул на кленах редкие бледные листья, но потом утих, и вскоре заморосил, звеня, мелкий дождь.
Вера поежилась, чувствуя, как вода начинает проникать в швы куртки, и что, если действительно не спрятаться сейчас куда-нибудь под крышу, она промокнет до последней нитки и наверняка простудится. И подумала: вот только заболеть еще осталось.
— А может, пойдем ко мне?
Вера ничего не ответила.
— Я живу у стадиона. Это совсем недалеко. Снимаю целый дом. Затопим печь. Просушим одежду. Поесть что-нибудь найдем.
— Как ты себе это представляешь?..
Игорь пошел по аллее, поддавая мокрые листья. Под ногами уже чавкало. А может, это чавкает в его кроссовках, подумала Вера, и ей стало жалко Игоря: навязалась на его шею, и уйти ему теперь неудобно.
— Я представляю. что будет, если мы еще хотя бы полчаса проторчим здесь, — ответил он.
Она уже решила ночевать на вокзале. там есть телефон-автомат, во сколько хочешь, во столько и звони, и до больницы рукой подать. Но куртка уже успела промокнуть, отяжелела на зябнущих плечах, ноги тоже стали мерзнуть. Нужно было хотя бы просушить одежду и согреться как следует. Да и чаю бы, конечно, хорошо бы...
— В твоем доме есть телефон?
— Нет. В доме нет, но рядом, совсем неподалеку, есть телефонная будка.
Они вышли из парка и свернули в сторону стадиона. Дождь пошел сильнее, теперь даже слышно было, как он сек по лужам. по траве. Куртка совсем промокла, плотная материя набухла, одеревенела, словно губы от слез.

Игорь принес из сарая охапку дров и затопил печь. Тяга вначале была плохая, в доме запахло дымом, засинелось, но потом в топке загудело, затрещало торопливо, радостно, и в доме, казалось, сразу стало теплее. Вскоре засипел, загремел крышкой чайник, и черные шарики кипятка, сердито шипя и подпрыгивая, покатились по раскаленной плите.
— Чей этот дом? — спросила Вера.
— Тетушкин.
— А где же сама она?

— Прости, милый, — еще тише и еще торопливее зашептала Ира, — я наговорила глупостей. Ну, прости, прости, прости... Слышишь?

Послышалось шуршание одежды, вздох. Игорь, похоже, вздохнул, шепот, опять шепот, потом приглушенный смех и снова торопливый шорох одежды.

Что они там, целуются, что ли, подумала Вера и хотела закрыть ладонями уши, но побоялась, что, если она пошевелится, заскрипит кровать, и они, там, в соседней комнате, поймут, что она не спит.

...Ира ушла. В сенях стукнула дверь, звякнула цепка, и в доме стало так тихо, что Вера старалась дышать еще реже и тише. В окна, задернутые простенькими белыми шторками, уже матово просвечивало снаружи. Ира, видимо, прибежала с первого автобуса. Ну и Ирка, в конце концов подумала Вера, сумела-таки окрутить парня.

Вера решила полежать еще минут десять-пятнадцать и «проснуться».

А что, подумала она опять, неплохая пара будет. Вот поженятся. новая семья на свете образуется. Игорь, конечно же, увезет ее из Крисанова-Пятницы.

— Вера, ты проснулась?

— Да. Ты не знаешь, во сколько у них кончается обход?

— Часов в десять. А может, позже.

— Как долго еще ждать.

Когда Игорь ушел, указав ей, где спрятать ключи, она налила себе чаю и взяла несколько сушек. И вдруг опять, как и вчера в кафе, почувствовала внезапную тошноту. Она встала из-за стола, подошла к зеркалу. Лицо было бледным, на лбу и под глазами появились какие-то пятна. Неужели я забеременела, подумала Вера. Нет, не может быть, сказала она с радостным волнением и тут же устыдилась своей радости, вспомнив о Николае. Каково-то ему сейчас? Господи, хоть бы все хорошо было, хоть бы поскорее поправлялся. Приступ тошноты вскоре прошел. Так же, как и в первый раз, на лбу и верхней губе выступил пот.

Она легла на диван, положила на живот руки и прислушалась. Нет, ничего такого особенного в ней не происходило. Все было прежним. И все же, она уже знала это наверное, в ней что-то произошло. Вера попыталась вспомнить, какое сегодня число, вспомнила, ладонью коснулась губ, охнула и засмеялась. Сейчас пойду к нему

и обо всем расскажу. Он, рад будет, улыбаясь, думала она.

Вера шла по больничной аллее. В сквере все еще пахло вчерашним дымом. Странно, вздохнула она, костры давно уже погасли, зола остыла, а дымом все пахнет, — даже сильнее, чем когда костры жгли. И листвы нет, она сгорела, а листвою все еще пахнет. И будет пахнуть до первого снега. Надо обо всем рассказать Николаю. И о том, самом главном, и об этом, о листьях.

Ей выдали халат и указали дверь палаты, где лежал Николай. Вера постучалась, подождала немного и вошла. Воздух в палате был тяжелым. Пахло потом, лекарствами и хлоркой.

Николай лежал у окна. Она посмотрела на его бледное, измученное лицо, и у нее сразу сдавило подбородок, закололо в горле. Кроме Николая, в палате было еще двое больных. Один, совсем еще мальчишка, нагнувшись и бережно придерживая руку возле живота, взглянул на Веру, потом на Николая, неподвижно лежавшего у окна, и пошел к двери, скрябая по полу кожаными тапочками с жесткими негнущимися подметками. Другой, мужчина лет сорока пяти, сунул в рот красный мундштук с вдетой в него длинной сигаретой, подобрал костыли, валявшиеся на полу возле единственной его ноги, ловким заученным движением подсунул их под мышки, как-то смешно подпрыгнул и, мурлыча что-то себе под нос, захромал вслед за мальчиком. Вера и Николай остались одни.

Она бросилась к нему, и яблоки из целлофанового пакета покатились по полу.

— Нормально, — с трудом разлепил он засохшие почерневшие губы. — Нормально все. Что, напугал я тебя?

Вера собрала яблоки, поправила одеяло, подоткнула под спину жидковатую подушку и села рядом.

— Красивые яблоки ты принесла, — сказал он.

— Хочешь? Я сейчас помою. Где тут у вас вода?

— Вон там. — Он с трудом поднял похудевшую руку и указал в угол, где стояло некое сооружение, похожее на ширму, за которой, видимо, была раковина.

Вера взяла из пакета несколько яблок, самых крупных, пустила воду. Она вытерла яблоки полотенцем, прижала к груди и снова почувствовала тошноту.

— Что с тобой было? — спросил Николай и повернул к ней голову.

— Душно тут у вас. Форточку, видимо, совсем не открываете.

— Открой.

— А можно?

— Можно.

Николай ел яблоки. Он ел их медленно, так только хлеб едят. Иногда крошки падали на подбородок, на пододеяльник, и тогда Вера собирала их в ладонь. Какой он бледный и слабый, думала она, чувствуя в горячей ладони тающие холодные крошки яблок.

— Я возьму отпуск, две недели за свой счет, если он не отпустит в очередной. Завтра же приеду и буду здесь с тобой до тех пор, пока тебя не выпишут. Ладно?

— Я скоро встану. Вот увидишь.

— Ну, конечно, — улыбнулась она и почувствовала, как, глядя в его глубоко запавшие, потемневшие глаза, у нее покалывает от нежности и жалости кончики пальцев.

— Я скоро встану. — Николай хотел сказать еще что-то, но осекся, вздохнул и отвернулся.

Она собрала с пододеяльника яблочные крошки, холодные, уже зарозовевшие, и подумала: сказать? или обождать пока? Вдруг это просто обман? Может, подстыла, вот и крутит. Вспомнила, почти что так было весной, посидела на сырой земле. Потом Санечка Крылатка в баню сводила, веником выпарила, все сразу и прошло.

— Дай еще, — попросил он и потянулся к яблокам.

Яблоки лежали на подоконнике. Вера выбрала одно, самое крупное, самое зрелое, подала ему. Николай взял яблоко, но не надкусил его даже, опустил на грудь и сказал:

— Вспомнил одну историю. В нашем госпитале было. Хотел тебе раньше рассказать, да все откладывал. Случая подходящего не было. Он хоть и сейчас не совсем подходящий, но да ладно. Только ты слушай, а то не буду рассказывать. Там такое было... Там нас много было. Почти все — оттуда. Кого в ногу, кого в руку, кого в голову, кого куда. Родственники приезжали. К некоторым — не ко всем. Родители в основном. Иногда братья, сестры. Дембеля тоже всегда заезжали, когда ехали из Афгана. Адреса оставляли, про ребят рассказывали. Иногда жены приезжали или подруги. Ребята обычно сразу из палаты потихоньку выходили. Кто еще свободно не мог ходить, тому помогали. А возле двери часового выставляли, чтоб кто-нибудь из медсестер в палату не влетел. У нас в палате сержант был. Лежачий. Он еще до меня поступил. Его броник где-то возле Герата на мину напоролся. Ноги раздробило. Правую по колено отняли. Лицо обгорело, спина, рука. Мы его не трогали. Оставался он. Отвернется, глаза закроет и лежит, вроде бы спит.

Раз так к одному из наших подруга приехала. Мы, как всегда, вышли. Потом входим в палату, а сержант наш лежит и плачет. Мы к нему. А он: ребята, говорит, так, мол, и так, сил больше нету терпеть, женщину хочу... У него жена была. Он говорил, что у них и раньше не ладилось, а теперь, когда она узнала, что его, такого вот, привезли в Союз, бросила. Даже не появилась ни разу. А тут как раз дембеля пришли, служили с ним, с сержантом нашим. Один, шустрый такой, и говорит: давайте, мол, мужики, кто сколько может. Собрали пятьдесят рублей. Взял он эти деньги и говорит: к вечеру, мол, ждите. И правда, к вечеру приехал. С ним женщина. Лет так двадцати пяти. Красивая. Высокая. Одета хорошо. Как мы ее проводили в палату, я тебе рассказывать не буду. Это целая история. Дембель тот, который привел ее, все уже объяснил, как и что. Мы в коридор вышли, стоим, глаза друг от друга прячем. Через полчаса где-то, слышим, рыдает кто-то в нашей палате. Дембель тот к двери сразу, приоткрыл немного, и вдруг открыл настежь, и видим мы: она оттуда выходит, вся в слезах. Дембель ей деньги в сумочку сует. Она оттолкнула его, уйди, говорит. Бросила наши пятерки и побежала к выходу... Назавтра, ты знаешь, женщина та снова пришла. Целый пакет апельсинов... И каждый день стала приходить. Сержант наш выкарабкался. Вот такая история. А зачем я тебе рассказал ее, и сам не знаю.

— Я тебя не брошу никогда, — сказала Вера и заплакала.

Он стиснул зубы и отвернулся к окну.

К вечеру у Николая неожиданно поднялась температура. Владимиров к тому времени уже улетел. Вызвали из дома главврача. Тот осмотрел Николая, вышел в коридор и увидел Веру. Она ждала у двери. Она схватила его за рукав и спросила:

— Что с ним?

— Худо. Худо дело, — ответил тот и потер виски, глаза его были растерянными, а лоб покрыт крупными

каплями пота. — Зайдите к нему. Он спрашивает вас. Я сейчас вернусь. Да, вот что... Вы не могли бы сегодняшнюю ночь побыть с ним? А то у нас медсестра... Ребенок у нее заболел.

— Да, — сказала Вера. — Я могу. Я все буду делать. Все, что нужно. Вы только скажите, что нужно.

— Вот и хорошо.

Вера подошла к двери и тихонько толкнула ее. Она еще не знала, что ждет ее за этой дверью...

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Два года спустя судьба опять забросила меня в Городок. Зашел в редакцию районной газеты. С редактором мы когда-то таскали кашу из одного солдатского котелка. Обнялись. Заварили чай. Вспомнили, как вместе в караул ходили, как старшину своего обманывали и как это нам потом боком выходило. Потом, когда обо всем было уже переговорено, я спросил как бы между прочим, работает ли в редакции Игорь Никишов. Оказалось, что уже нет. Женился и уехал на родину жены. Не из Крисанова ли Пятницы жена его, поинтересовался я. Да, сказал приятель мой, оттуда, библиотекарем работала. И тогда я признался, что хотел бы съездить в эту деревеньку и встретиться с Верой Донцовой. То, что она по-прежнему живет там и работает, я знал уже. Приятель мой молча допил чай, подошел к окну и сказал: да у нее, понимаешь, история. Муж вернулся из Афганистана, пожил немного и... А сама она, видишь ли, как не в себе. Я поспешил перебить его, сказал, что все знаю.

...Крисаново-Пятница ни капли не изменилась. Не изменилась ничуть, так мне во всяком случае показалось, и Вера Донцова. Правда, вглядевшись попристальнее в ее смуглое от загара лицо, можно было заметить такое, чего раньше не было, а что именно, да бог его знает. Как будто свет какой-то, каким женщина светится, красивая и добрая.

Вначале мы зашли в контору совхоза. Нас встретил директор «Рассвета», человек мне незнакомый, молодой, одетый в короткую кожаную куртку и свежую голубоватую рубашку. Так же свежо и приветливо голубели его внимательные глаза. Я уже знал, что Паукова уволили, исключили из партии, судили за воровство и приписки.

Вместе с ним веревочка захлестнула и кое-кого из Городка, кто покровительствовал ему и до поры до времени отводил все беды. Дело было громкое, о нем писали газеты.

Веру я отыскал в поле. Она внимательно посмотрела на меня, казалось, вспоминала что-то, вспомнила, потому что обветренные губы ее вздрогнули. Когда я собрался уходить, она дала мне два конверта из плотной бумаги и попросила, чтобы я опустил их в Москве. Я кивнул ей, положил.

В Москве я достал конверты и хотел уже бросить их в почтовый ящик неподалеку от метро «Новослободская», но взглянул на конверт и обнаружил, что он не надписан. Не было адреса и на втором конверте. Один из них даже не был заклеен. Что с ним делать, я не знал. Написал Вере Донцовой, но ответа не получил ни вскоре, ни месяц спустя, ни много позже.

Повесть моя, а вернее, ее, Верина, повесть все это время лежала без движения, я не знал, что с нею делать. Письма лежали в столе, и я наконец решился прочесть их.

Письмо первое.

«Милый, я все зову тебя. Зову и зову. И знаю же, что зов мой не доходит до тебя, а все равно зову. Это, наверное, только у женщин бывает, когда все потеряно, когда не на что уже надеяться, надежда все же живет. Однажды, когда ты еще не вернулся, мы заготавливали сено на Хуторе. Я раз вышла ночью из нашего жилища и слушала, как на болоте, словно человек, кричала птица. Мне так жалко было ее тогда, что я чуть не заплакала. Теперь бы, если бы услышала снова, точно бы заплакала. Но больше я той птицы не слышала.

Мне иногда кажется, что ты не возвращался еще, что все еще там, служишь. Вот и пишу тебе. А ты не отвечаешь. И не ответишь.

Когда с памятью у меня все в порядке, я вспоминаю день твоих похорон. День был солнечный. С паутинками. Словно лето вернулось. Ты такие дни любил. Это потом дожди пошли. Скучные, мутные. Таких никогда не ждешь. Их не ждешь, а они все равно льют. А тот день был ясным. Приехали товарищи твои, с кем ты, как пишут в газетах, выполнял свой интернациональный долг. Много их было. Военком солдат привез. Салют давали.

Ульяна наша растет. Волосенки у нее такие же черные, как и у тебя. И глаза твои. И характерная такая же,

как и ты. Вся она в тебя уродилась. И в деревне все говорят, мол, все отцовы крошечки подобрала.

Роды были тяжелыми. Я уж думала, что не выживу. Мать твоя приезжала и жила два месяца у меня. Она Ульянку возьмет, подложит к моей груди, а когда та насытится, напьется мамкиного молочка, заберет обратно.

Воспоминание — это одно. Память — иное. И она — единственная реальность, в которую можно верить. Память — это ты. Память — это то, что было с нами.

Сейчас зима. Холодно. Под полом мыши завелись. Ночью пищат, скребутся. Странно: второй этаж, а под полом мыши. Заходила как-то Александра Филипповна Четвертушкина, сказала: потрави, мол. А мне их жалко. Пусть себе пищат. Лето придет, сами уйдут. Зима нынче холодная. Морозы доходят до сорока градусов. Иногда, особенно ночами, и больше бывает. Снега много. Сугробы. Такое чувство, что ни одна зима еще не кончалась.

Когда-то говорили, что каждый должен нести свой крест. Должен. А что — нет? Прости, это уже слабость.

Вот проходит все, и только тогда мы понимаем, что это было. Все больше убеждаюсь — все в прошлом. Потому что настоящее не пойми что, а будущее вообще дым.

Я все зову и зову, а ты молчишь, будто не слышишь меня. А может, мстишь, что когда-то я не пришла, когда ты птицей кричал? Я же не знала, что это ты».

Письмо второе.

«Милый. Вся жизнь моя теперь собралась будто в один лучик. Тоненький, ясный, хрупкий. Это Ульянка. Ты бы только посмотрел, какая прелесть наша доченька. Я берегу ее как только могу, и душа моя дрожит от страха и нежности, когда она простужается, кашляет и чихает или подскакивает вдруг температура.

Сейчас весна. Скоро пойдут дожди. Земля уже ждет их.

Недавно друзья твои прислали письмо. Они собирались в Москве. Приглашают и меня. Видно, я не одна такая. Но я побоялась оставить на людей Ульянку. А тут еще сон приснился нехороший. Мне приснилось, что я совсем одна, болею брюшным тифом, хожу по Крисаново-Пятнице и прошу милостыню, а мне никто не подает...»

На этом письмо обрывалось. Может, она еще хотела что-нибудь дописать. Но почему-то отдала, не дописав.

●



СТИХИ МОЛОДЫХ

Михаил МАМАЕВ

ЦЕПЛЯЯСЬ ВЗГЛЯДОМ

* * *

Я в жизни быть хочу сродни
саперам.
Вот бы идти,
о прошлом не скорбя,
по жизни,
как по полю,
на котором
победа начинается с тебя!

За все — от лжи до мелких
прегрешений —
хочу сполна я честно заплатить.
Отнюдь не легче от чужих
прощений
тому, кто сам не смог себя
простить.

Жить не хочу «спокойно,
но безбедно»,
и, целый свет в застолии любя,
всю жизнь тихонько презирать
соседа
и до небес превозносить себя.

Всю жизнь разлиновать на дни недели,
знать наперед,
что будет здесь, что там,
во избежанье лишней канители
плестись все время по чужим следам...

Я знаю,
это трудно — быть сапером.
Но, чтобы жить,
о прошлом не скорбя,
жизнь буду делать полем,
на котором
все взрывы принимают на себя.

* * *

Друзья твердили:
— Ты до Соловков
плыви хоть вплавь,
но напиши об этом.
О Севере не написав стихов,
в России невозможно быть поэтом!

А я ходил по докам на Двине.
Ребята, мастера судоремонта,
надвинув маски, объясняли мне,
как швы у них варить сегодня «модно».

И в деревеньке маленькой одной
старик меня учил:
— Ить тоже Север!
Поутру ты, милок, поди со мной,
наставлю, как хлеба с ладошки сеять...

Мне стали эти люди так близки,
как будто вместе с ними жил издревле.
И мне казалось — еду в Соловки,
когда спешил к пустеющей деревне.

Пусть я не побывал на Соловках,
в конце концов ну дело разве в этом?
Восторг всеобщий выразить в стихах —
совсем еще не значит стать поэтом.

Влюблен в столицу нашу с ранних лет,
но каждой строчкой верю непреложно:
не зная,
как с ладоней сеять хлеб,
В России
стать поэтом
невозможно.

ВЕРОНИКА

— Ты кто?
— Я Вероника, а кто вы?
— А я лучи от солнца собираю.
— Тогда идем, я тоже поиграю.
Я видела их много средь листвы.

И мы пошли. Нас напоил ручей.
Деревья нас ощупывали листьями,
и в паутины золотых лучей
мы то и дело попадались лицами.

Ты помнишь, Вероника, как за нами
весь день бродило солнце по пятам?
А ты брала его лучи руками
и говорила:
— Бабушке отдам.

Кончался день. Нам было по пути.
Шли к станции,
закат неся на лицах.
И солнце не могло никак зайти,
запутавшись в твоих густых ресницах.





ТРИБУНА ПУБЛИЦИСТА

Анатолий ЗЯБРЕВ

НЕРВ ЗАЩЕМЛЕННЫЙ

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СУДЬБЕ РОДНОЙ ЗЕМЛИ

> Разве так, товарищи, должно вестись дело, когда и природа под угрозой, и интересы человека оказываются где-то там, на последнем плане? Так не пойдет, не может идти и уже не идет.
>
> **М. С. Горбачев**
>
> Из беседы в красноярском академгородке 13 сентября 1988 года во время пребывания в Красноярском крае.

«О чем вы и... как пишете? Да все так же. Про то, на что вас санкционировали. Пожарники, приезжающие к догорающему дому! А вам бы — упреждать. Сейчас вроде поинтереснее начали работать. Но... через какое-то время вы ведь снова перейдете на прежний жанр, от реальности отвернетесь, обязательно отвернетесь», — так высказывал мне сердитый сосед, расстроенный состоянием дел на своей мелкой стройке — строит он на краю города не то баню, не то телефонную станцию.

«На какой такой прежний жанр?» — спрашивал я.

«Понятно на какой — на воспевание. Гляди туда, куда санкционировано... Забыл, что ли? Публицистику интересовали только великие стройки, высокий дух и прочее. То на одном Пленуме вам говорили, о чем писать, то на другом. Завтра скажут: опять давайте про высоту... А сами-то вы думать можете? Или при социализме вашему брату думать не положено? Нацелили — увидел. Не нацелили — прижмурился. Так?..»

Да, часто приходится слышать и сегодня такие саркастические вопросы: «Думать-то вы можете? Позволено ли вашему брату думать?..»

О чем и как мы, сибирские публицисты, писали в свое время? Точнее — я. Больше, конечно, о сооружении сверхгигантских ГЭС, о покорении. Помню, глядели мы с катера, как начали заливаться мутной желтоватой водой земли Новосибирской области, вовсе не богатой сельхозугодьями, заливаться от Новосибирска до Камня-на-Оби. Трещали кинокамеры: спешили запечатлеть грандиозное событие. А где-то плакала в темный платок на порушенном погосте старушка, с ней горевал старичок, инвалид гражданской.

Затем пошли мы описывать высокий дух созидания на Ангаре, на Енисее... Было до кого тянуться в этом деле: Б. Полевой, А. Жаров, А. Безыменский, Е. Рябчиков... Подвиги под их пером гляделись особо сиятельными. Но пишущего (и меня тоже) кто-то дергал за полу, перехватив между котлованом и конторой, говорил: да ведь миллионы, миллионы кубометров первосортнейшего сибирского леса затопляется, вода от этого протухнет, беда будет! Думает ли, дескать, кто из вас или нет!.. Я далеко не всегда имел мужество снизойти до этих нервных восклицаний. Мелочи, умеем, мол, считать по-крупному, с заглядом далеко!

Сегодня вот — о подвигах на Среднеенисейской, на Туруханской ГЭС, где под воду уйдет уж вовсе рекордная площадь земли вместе с тайгой. Говорят, что на севере земля не нужна, а лес тем более не нужен, его никаким транспортом не доставить ни на мебельный комбинат, ни на бумажный. А потому — не пилить, не брать, а затапливать.

Говорят, завтра на Каховской ГЭС рабочие начнут демонтировать то, что монтировали с расчетом на века тридцать лет назад. Представляю, с каким горьким чувством рабочие будут это делать. Они ведь возводили, будучи комсомольцами, веря непоколебимо, что на гордость себе и внукам делают. Я сам строил плотину, помню, как мы верили в это благо...

Демонтировать. Потом, говорят, так и пойдут спускать заболоченные водохранилища в последовательности: за Каховским — Рыбинское (вконец отравленное коксо-химическим производством), за Рыбинским — Камское, за Камским, глядишь, и до Новосибирского недалеко, а там... что? До Ангары и Енисея?

Удержаться бы сегодня молодым пишущим (и нам, старшим) от того, чтобы не способствовать какому-то новому гипнозу, массовой людской дезориентации. Причины опасения? Пожалуйста. Говорим о безработице «у них». Но не говорим, вернее, недоговариваем... очень существенное! В США, например, на каждую тысячу безработных — почти 800 вакансий. В Японии — 600. Что это значит? А то, что там, «у них», кое-что делается прежде всего для того, чтобы дело ладилось, а не просто видимость работы была.

Эта арифметика если и подается когда нашим гражданам, то

как-то притушенно, деформированно, нередко даже с большим знаком плюс в нашу сторону, нашим завоеваниям.

Спросил я школьных учителей в Красноярске, и никто, оказывается, и не знает, что образование в Америке так же, как и у нас, в основном бесплатное, что там государство дает на школьное образование средств в шесть раз больше (250 миллиардов долларов в год; у нас вместе с наукой и культурой всего лишь 60 миллиардов), что средняя зарплата школьного учителя 25 тысяч долларов в год («Собеседник» № 19 за 1988 г.). И, узнав эту информацию, наши учителя глядели на меня с явной, глубоко понятной подозрительностью.

«Неделя» сообщала (№ 41 за 1987 г.): в японской фирме «Ниссан» на каждого работника производится 46 автомобилей в год, в то время как в лучшей американской компании «Форд» — только 13, что японские машины ломаются в 10 раз реже американских, а стоят значительно дешевле. Тут для полноты картины, конечно, естествен вопрос: а у нас сколько машин на одного работника, и во сколько раз чаще ломаются? Нет, что вы! «Неделя» про это постеснялась сказать.

В той же «Ниссан» стоимость оборудования одного рабочего места составляет 40 тысяч долларов, в США — лишь 12 тысяч долларов. А у нас? Ну, например, на АЗЛК. Опять стыдливое умолчание...

Документальному фильму «Плотина», пробуждающему острое сомнение в пользе гигантских ГЭС на наших равнинных территориях, пошедших, как выяснилось, с легкой руки «провидца» Берия, появиться бы на экранах не в 1988 году, а лет тридцать назад. Как бы он нам помог всем!

Перестроился ли я? Сознанием — да. А вот то, что глубже, что под коркой, на волосках нервных окончаний? Шести лет не было, когда стало известно, что отец, председатель колхоза, совершил «политическую диверсию»: распорядился без ведома районной власти испечь для работающих на жатве колхозников и их детей сколько-то хлебов из первого намолота. Потом уж пошла судьба спотыкаться с таким-то ярлыком на шее... Соответственные характеристики на сына давно исчезнувшего «диверсанта» писались аж до восьмидесятых годов — таков инерционный разбег запущенной когда-то репрессивной машины. Да что там! Вот на восьмиклассника, моего сына, выдана в школе в инстанцию характеристика, прочитал — боже! — писана тем же стилем, без следа любви и сострадания, с той же повергающей в оторопь злобностью, нацеленной на моральное уничтожение паренька, ну прямо копия тех «документов», что писались когда-то на его отца. Но сегодня-то 1989-й!

Я перестроился? Я, вдвое переросший отца, когда тот был колхозным вожаком, солгал бы, сказав, что знаю, как можно жить, не держа в себе ежеминутного страха: не так сказал? не там распрямился, не так, не вовремя и не перед тем согнулся?.. Не знаю! Нет опыта. Всегда терялся, мучительно потел, когда слышал великие слова: «Человек — звучит гордо», «Человек рожден для счастья, как птица для полета».

Я к тому, чтобы снова сказать, как тяжелы последствия у всякой полуправды. Я к тому, чтобы публицистика усматривала разрушительные последствия полуправды задолго до их выхода наружу. Это, знаете, как бывает на море — сперва идут волны помельче, они глубинные, а потом уж девятый вал, он весь на виду. Вал беды, трагедии, к нему надо готовиться, угадывать...

Дмитрий Чегуркин, попросту Митяй, мой давний знакомый из Причулымска, совхозный объездчик, приехал в Красноярск в краевую библиотеку, чтобы взять книгу по пчеловодству, не оказавшуюся в районе. Приехал и случайно оказался в зале, где специалисты за «круглым столом», организованным местным телевидением и альманахом «Енисей», вели разговор о том, как мы сегодня преображаем Сибирь, что и как строим и какие из этого выходят последствия. Митяй человек вдумчивый, в своем селе известный тем, что с помощью карманного калькулятора, приобретенного в сельмаге в обмен на сданные коренья, обсчитал на три ряда быт каждого жителя, даже кто сколько истратил мыла, потребил еды и искурил сигарет, — послушал, о чем речь, и потянул руку: «Создается впечатление, что строителей нынче везде, в каждом месте, излишек. А ведь их не хватает. Хоть караул кричи — не хватает. У нас телятник седьмой год строится. Пекарню вторую пятилетку не могут запустить...»

Да, впечатление от «круглого стола» было такое, будто строителей не только хватает, а давно уже излишек, что и делать им стало нечего, и потому-то бегают они по Сибири, с региона в регион, выбивают заказы в министерствах, чтобы еще что-нибудь соорудить в тайге, в горах, на реке, у черта на куличках... А между тем обеспеченность строительными кадрами в Сибири едва превышает пятьдесят процентов. Строительством народ не особо рвется заниматься. ПТУ, где учат на штукатуров, каменщиков, маляров, — полупустые. КИСИ, то есть Красноярский инженерно-строительный институт, и понятия не имеет о конкурсе... Митяю известно: из 11 миллионов человек, числящих себя по строительному ведомству страны, только 6 миллионов трудятся непосредственно на строительных площадках, объектах...

Митяй и тут был со своей электронной считалкой, достав ее из кармана, пригнув шею, что-то подсчитывал, изредка поднимая глаза на окно. Он прикидывал практическим умом: а 6 миллионов — так ли уж мало? Когда-то, на строительстве Транссибирской магистрали, в 1891 году, было занято всего 9 тысяч человек, а на завершающем этапе — и того меньше. Ежегодно сооружалось по 700 километров дороги, при уникальных-то мостах! Лопатой, кайлом, тачкой! Мир был восхищен и потрясен, узнав о такой производительности ручного труда в России.

А за окном: серов дымное небо над городом сплошь утыкано, исчерчено башенными кранами. Под каждым своя стройка. Но редко какой кран двигался. Большинство — мертвые штрихи. Значит, выходит, что опять бригада не вышла (распалась или перекинули на более срочный объект). Где-то там, среди этих журавлиных кранов, мой друг Миша Малыхин, штукатур, совестливейший человек, победитель международного конкурса штукатуров, бегает запыханно с объекта на объект. Ему уже и Героя Социалистического Труда присвоили, чтобы больше поспевал, но где ему!..

Практика в крае прежняя: кое-как форсировать сдачу очередной трубы, ирригационной системы в степи, скорее и опять же кое-как освоить спущенные миллионы, миллиарды! И то верно:

14*

что же с ними делать, если не освоить хоть кое-как, ведь не дадут еще. Очень уж много так ушло в песок миллиардов. Не знаю, дотошный Митяй догадается это подсчитать или не догадается?..

Коль мы сказали про то, что в прошлом веке россиянин-сибиряк очень удивлял и восхищал иноземного наблюдателя своей расторопностью и смышленностью в строительных делах, то надо сказать и про то, как нынче иностранец чаще недоумевает, когда заходит на наши стройки. Как же! Ну хотя бы вот итальянцы, в системе Внешстройимпорта. Они возводят у нас промышленные объекты. Ну, например, обувную фабрику сметной стоимостью в 44 миллиона рублей они строят коллективом в сто человек за два с половиной года. Наше же управление с таким составом трудящихся способно осилить аналогичной сложности объект только за... двадцать лет и то с браком.

Но ведь позвольте, спросит читатель: не чей-то, а наш, красноярский, штукатур Михаил Малыхин в честном состязании с иностранными рабочими по строительному делу первое место взял. Всех обошел!

— Там, на конкурсе, была идеальная организация труда, а в повседневной-то жизни... — Михаил Малыхин печально махнул рукой.

При пяти миллионах специальных строительно-ведомственных организаторов (на шесть-то миллионов строительных рабочих) — никакой организации! Только недавно народный контроль выявил, что в верхних этажах экономики чуть ли не половину руководящих кресел занимают неспециалисты, далекие от интересов своей отрасли люди.

Сидим на скамейке в сквере, выйдя из библиотеки. За нашими спинами монументальное серое библиотечное здание с высоким каменным крыльцом, а впереди, перед глазами, вдали — труба, с кучерявым, вертикально восходящим дымом. Люди мимо торопятся к автобусным и троллейбусным остановкам, одни прохожие навстречу другим; одни направо, на улицу Ленина, другие налево, на Маркса. Кстати, когда-то планировалось возвести на века: посередине, между улицами Маркса и Ленина, магистральный проспект Сталина, чтобы горожане извлекали отсюда полезные мысли на каждый день своей настоящей и будущей жизни. Думаем вот с Митяем. Кому-то вменено по должности вот так думать, а мы — дилетанты, неформалы, значит. Нам можно бы и не думать. Прежде очень поощрялось, когда не лезли со своими думами. Да и сегодня в нашем крае, простершемся от Саян до Ледовитого океана, не шибко-то вольно с демократией...

Да, говорю, хорошо бы научиться ухватывать события не тогда, когда они уж вызрели своей чернотой, а раньше, много раньше — на грани их зарождения, на грани предчувствия. Да куда уж тут до такой неуловимой тонкости нам, закосневшим, пугающимся.

Помню, когда я работал в Новосибирске на машиностроительном заводе, это было очень давно, в сороковые годы, был у нас слесарь-вентиляторщик, мужичок хитрый и ленивый, по прозвищу Пухнарек. В его обязанности входило обеспечивать чистоту и температурный режим воздуха на производственных участках. Он делал это плохо, больше спал, а когда ему говорили, что же ты, дескать, дружище, он изображал из себя обиженного, отвечал, что режим в цехе нормальный, все вентиляторы вертятся в соответствии со схемой. Мы говорили: а ну покажи нам те схемы. Пухнарек тогда явно наглел и, надувая щеки, отвечал: «А это секрет. Не положено всем знать». В ту пору слово «секрет» имело магическое значение.

Был я как-то на курорте «Озеро Шира». Уникальная по своей целебности вода в озере, по своему составу. Ее разбавляют довольно оригинальным способом: с соседнего пресного озера закачивают воду в курортный поселок, пропускают через кухни, унитазы, стиральные машины, гаражную мойку, баню и прочие объекты, и после этого без всякой очистки, прямым ходом... в озеро Шира, туда, где народ купается, откуда берется вода больным для ванн и для питья стаканами. Дизентерийную палочку лаборатория обнаружила в озере, обнаружила и... секрет.

В Сибири каждый третий пьет неочищенную воду. Только в летнюю пору фиксируются десятки вспышек острых кишечных инфекций.

Было шумное дело в суде: с угольного разреза отправлялся по железной дороге неучтенный уголь, потом где-то сбывался. Таким порядком махинаторы сбыли несколько сот вагонов. Для разбирательства в суд был приглашен ученый сотрудник одного НИИ, который занимается вопросами железнодорожной транспортировки сыпучих грузов. Потом, как обнаружили и пресекли зловредных расхитителей, этот сотрудник, и судья с ним вместе, и следователь с прокурором тоже всем газетам целый год давали интервью, к радости читателей, что вот, дескать, наглухо теперь задраена щель, куда утекал государственный уголек. Но о другом массовый читатель остался в неведении. Не знает он, что годами, десятилетиями мимо окон того НИИ прогромыхивают поезда с углем и из каждого вагона за время следования от отправителя до получателя от тряски через щели и от выветривания теряется от полутора до двух тонн груза. Только по Кузбассу так пропадает десять тысяч тонн угля ежедневно. А в год... А по стране ежегодно — десять миллионов тонн. Железнодорожной конторе для оплаты уборщикам этого «мусора» со шпал и с насыпи приходится тратить ежегодно свыше пятидесяти миллионов рублей. А за пятилетку? А за все годы? Целый угольный бассейн работает на ветер. Какому самому зловредному расхитителю под силу такое! И ведь опять же экология: смытая дождями угольная пыль день и ночь от шпал стекает в ручьи, из ручьев в реки...

Из всех видов неосведомленности, понимаем мы, экологическая неосведомленность самая худшая. Тут не может быть иного мнения.

За «круглым столом» мой друг Митяй протянул руку и задал вопрос: какой по вредности воздух в городе Красноярске? Чем тут народ дышит?

Наступила некоторая растерянность среди ученых. На одном краю стола послышалось: «Ну, знаете... не всем положено. На то определенные органы...»

Вспоминается хитровато-ленивый Пухнарек.

Любовь и милосердие, это как талант, могут быть или не быть.

Надо, если что-то делать, то в первую очередь учить неталантливых людей реальности, тому, в какой жесткой зависимости лежит их личная жизнь от жизни других людей, от природной среды.

Митяй молчит, не тычет пальцем в свою «плашку-считалку», что-

то свое у него в голове. Неужели и теперь нам всем не понять, что потребность в экологической информации — это не каприз, а жизненная необходимость. Мы не только вправе, мы обязаны знать о том, какая связь между городским воздухом, между водой в Енисее и в Каче, между морковкой, выращенной близко от заводской трубы, и ноющей болью в печени, селезенке, между больничным листом, к которому мы все чаще и чаще прибегаем, и чиновниками, талдычащими устрашающее слово «секрет».

Но за «круглым столом» никто не решился ответить (из тех, кто должен был ответить), на сколько процентов воздух в городе Красноярске сожжен, загрязнен, чего в нем больше: того, чем принято дышать, или того, что обычно сплевывают? Публика прореагировала коротким невеселым смешком. А кто-то за столом даже заозирался. После того все сидевшие в зале и вокруг стола люди поднялись и, так как мероприятие уже закончилось, пошли в гардероб одеваться.

Что произошло? Ничего не произошло. Вот ведь: люди, как ни в чем не бывало, пошли одеваться. Внешне они ничем будто не сбеспокоились, не оскорбились. Ну, подумаешь, важность, что ученые не ответили. Ведь все же знают, что «про это нельзя».

Врач из ведомственной, привилегированной поликлиники, когда ее спросили, можно ли выжить в Красноярске, даже осерчала: «А чего? Ничего у нас в городе особенного нет. Миллион людей живет, и ничего. Подумаешь, загазованность в несколько раз выше нормы — ну и что? Везде так, по всей Сибири».

И это-то притом, когда уже есть сведения, выраженные в коллективном письме научных сотрудников, докторов наук: «...в Красноярске очень медленно увеличивается продолжительность жизни, растет смертность у мужчин трудоспособного возраста, смертность у женщин при родах, почти каждый пятый ребенок, умерший до года, погибает из-за болезни органов дыхания, растет частота онкологических заболеваний».

Люди пошли от «круглого стола», что они понесли в своих душах? Им не сказали того, для чего, собственно, и позвали: ведь обсуждался вопрос о влиянии человека на окружающую среду и наоборот.

Держат свою позицию Пухнарьки, ох, держат и, судя по последнему вот примеру, не собираются меняться. А пример такой.

Был пленум совета по очерку и публицистике СП СССР. Сижу, слушаю. Москва, улица Воровского. Далековато от Красноярска. И понятно, красноярец сюда может быть зван только на мероприятие исключительное. Стоимость билета в одну сторону 68 рублей.

А собрался тут бойкий народ, каждая республика кого-то да прислала. Затравку для серьезного разговора дал Ю. Черниченко.

И вот что говорилось. Излагаю, как легко и запомнилось.

Продовольственная программа — миф. Нет возможности дать 280 миллионов тонн зерна.

Мы больше всех в мире производим минеральных удобрений и бестолковее всех их тратим.

У нас половина всего общемирового чернозема, присутствуют все климатические зоны. Но мы не перестаем ругать свою природу, говорим, что где-то там лучше — в Америке или Новой Зеландии.

Немедленно прекратить выпуск наших зерновых комбайнов,

в том числе и «Дон-1500» и «Енисей». Все они ниже критики. Нужные комбайны необходимо закупать в ФРГ и Канаде.

Говорим о миллионах людей в Америке, живущих ниже черты бедности. А у нас инженер получает 140 рублей — это что, выше черты бедности? Артист в областном театре — меньше ста рублей. Это выше черты?..

Над Казахстаном, над его полями, висят ежедневно до тысячи самолетов с химическими ядами. Это же химическая война объявлена нашей кормилице-земле!

Арбузы из Узбекистана нельзя есть, дыни нельзя, яблоки нельзя... — все захимизировано. Для иностранных туристов, чтобы они не отравились, выращиваем фрукты, овощи на особых, без ядохимикатов участках.

На аукционах никто наш каракуль не берет. Завалы его — на миллиарды рублей...

У нас одна треть земли со смытым гумусом. И каждый год продолжаем терять еще 0,4 процента гумуса. Это значит, через 20—30 лет может создаться ситуация, когда мы не сможем ничего вырастить.

В послевоенные годы на западе страны погибло 3 тысячи рек. Дно Днепра и Дона покрыто на метр слоем солей, и эти реки уже не дышат, мертвые...

И в таком ключе, в таком тоне продолжался разговор. Я, красноярец, подобные откровения воспринимал и впитывал с некоторой испуганностью и вместе с тем доброй надеждой. Вот, завтра все это выплеснется в печать, и народ, узнав такую правду, наконец-то скинет с себя благодушие и дремоту. Корреспонденты газет сидели рядом со мной, в этом же зале.

Следующим утром в гостинице я спустился с этажа, подошел к киоску, набрал газет. Нашел отчет с пленума. Но что это? Все заглажено, обкатано, округлено. А ведь публицисты собрались! Совесть народа. Надежда перестройки! Где их голос?

Мне в секретариате Союза писателей объяснили: решено полный отчет о разговоре на пленуме дать брошюркой. Кто прочтет ту брошюрку? Опять — не положено всем знать. Посвященные и непосвященные: первых — единицы, вторых — миллионы.

Чувственный опыт уже давно не оспаривается, как и всякий другой, и, по моим наблюдениям, концентрируется он в отдельных личностях с колоссальной мощью, это как раз то, что зовется интуицией. Встречал я таких людей, они способны предвещать, но далеко не всегда могут объяснить то, что остро чувствуют, как говорят, нутром берут.

Помню, трамбовали мы в опалубках бетон на каменном дне Енисея. Не было сомнения, как уже я говорил, что строим на радость потомкам, на века. И даже капсулу в плотину закладывали с высокой риторикой: эй, вы там, в тридцатом веке, смотрите, будьте такими рачительными, как мы, так же умело, по-хозяйски трудитесь!

Побывал у нас в ту пору на объекте писатель Виктор Астафьев. До него приезжали именитые писатели, солидаризировались с нами: правильно, великое дело делаете. А этот совсем не именитый, Астафьев, он не понял нас совсем, постоял над бетонным сырым парящимся блоком и говорит: ну, ребятки, вы действительно удивите потомков тем, что натворите с землей, лесами, рекой — расхлебывать будут они, говорит, бедные потомки. Мы

только поплотнее надвинули шлемы на головы, отяжелевшие от вибраторной тряски. Не потратили и жеста, чтобы отмахнуться от таких слов. Мы верили специалистам, проектантам.

Я был бы неискренним, если бы не признался сейчас вот в чем. Верить-то мы верили проектантам, но иной раз придешь, бывало, с работы в общежитие, снимешь с себя оледеневшие, позванивающие сосульками штаны, погреешься, подсушишься, ляжешь на железную койку, начнешь засыпать, а червь сомнения тут как тут — гложет... А все ли оно так, как нам рисуют? Однако как скажешь про это, кому откроешься, когда кругом такая вера! Нет, боязни за себя не было, а было опять же оно, сомнение. Сомнение: а верны ли они, твои сомнения, когда вера в самом воздухе над Енисеем растворена? Не принято выпирать свое «я», когда кругом «мы». Несущественно, что полагает «я», существенно, что утверждают «они», «мы».

Самой близкой заботой нам, холостякам, была тогда забота заработать на шевиотовый, бостоновый костюм, на хорошую рубаху, пальто. И чтобы эти костюмы всегда висели в нашем, на улице Школьной, магазине. Чтобы, конечно, недорогие. Потому что заработок у нас тогда был 130—140 рублей в месяц. Хотя работали по 10—12 и по 14 часов в сутки.

Ко мне приезжали товарищи из журнала «Сибирские огни», садились мы где-нибудь на камень или не бревнышко подальше от грохота и чада, разговаривали. Чем мои долгожданные дорогие гости интересовались? Уж, конечно, не этим червячком сомнения. Не тем, что наговорил «дилетант» Астафьев. Мои друзья, искренне заинтересованные в моем успехе и в успехе журнала, советовали: пафосу больше записывай, читатель ждет высоты подвига! Что? Не видишь особой высоты? Конструируй, конструируй.

Что тогда, какие знания были у Астафьева, дававшие ему право говорить то, что он нам говорил? Опыт Камской ГЭС? Вряд ли. Картину Камской он осмыслил много позднее, когда цифры и факты стали в какой-то мере гласными, пробились к людям. А в тот час, когда он понуро стоял над нашим блоком, было у него, видимо, лишь только обостренное чувство беды, катастрофы, которое он еще не умел нам объяснить. Объяснить с той же ясностью и наглядностью, как это делали ученые проектанты и другие специалисты, объяснявшие всенародную, государственную, великую полезность затеянного нами дела.

Знаменитый наш начальник стройки, имевший прямой провод с Москвой, упрекал автора этих заметок: «Ну чего ты все выискиваешь, что пытаешься по-своему думать, когда уже все надежно обдумано и решено...» А редактор Красноярского издательства полистал рукопись «Енисейских тетрадей», потыкал в нее красным карандашом и бесповоротно определил: «Нет у тебя истинного подвига, какие-то обычные мелкие труженики действуют. Много отсебятины. Коллективизма мало. Печатать нельзя».

Выходит, как я ни сдерживался, а червячок сомнения все-таки выполз из моей души наружу и проник в мои записки. Книга была издана значительно позднее — в издательстве «Молодая гвардия».

Я рассказываю это к тому, что публицистика проглядела целую эпоху в стадии зарождения, в стадии чувства или, точнее, предчувствия. Постфактум! Явление, не замеченное на стадии чувства (или, вернее, замеченное, но мы от него отмахнулись, потому что оно, дескать, не ложилось в наше умонастроение), может раз-

виваться очень уродливо. И тогда... Постфактум. Отрабатывай назад.

А может, я не о том говорю? О каких-то чувственных материях! Может, лучше поговорить о простом народном здравом смысле, который свойствен в какой-то степени, смею думать, и автору данных заметок? Вот, помню, четверть века назад направили меня в село, осень была сложная. Мне сказали: посмотри там, отобрази героику на жатве. Мое знание сельского хозяйства (в ту пору я специализировался по ударным комсомольским стройкам) ограничивалось тем, что я мог свободно отличить рожь от пшеницы (чего некоторые мои коллеги и сегодня не могут сделать) и трактор от комбайна. Я поездил с директором совхоза по полям, со стана на стан, и в моей голове сделался ералаш. А когда немного рассеялось, я понял, что ералаш не только у меня, а и у директора, и у всех, кто вокруг нас в полях крутится... И тогда мне неожиданно стало ясно, что не у меня ералаш, не у директора и не у других, кто рядом с нами мыкается, а в самой уборочной системе, жестко предписанной кем-то. Дожди, валки, комбайны, осыпание, потери, недозрелость, перезрелость, нервы, инфаркты... — все смешалось. Так из года в год.

«Да ведь проще все сжатые колосья вместе со стеблями свезти на ток!.. Так делал мой дед. Так делал отец... в тридцатые годы...» — думал я.

Здравый смысл этот я выложил на бумагу. С удовольствием смеялись надо мной как в редакции, так и в сельхозорганах специалисты: ну, прожектер! Известное дело, писатель.

Через четверть века, в 1988-м, открываю «Красноярский рабочий» (в этой газете когда-то меня высмеяли за наивность), читаю: «Стационарный, бескомбайновый обмолот хлебов — метод перспективный, у него большое будущее! Внедрить его во всех хозяйствах, обеспечив соответствующей техникой и оборудованием.. Метод намного удешевляет продукцию, снижает потери зерна с гектара на 5—6 центнеров, устраняет нервозность...»

Я говорю это к тому, что здравый смысл может порой присутствовать, оказывается, куда как в большей степени в наблюдательном дилетанте, чем в затурканном спеце. Будем об этом помнить и не стесняться свободно выражать свои мысли, пусть на первый взгляд и наивные.

Наш край в Госплане числится как регион особо богатый подземными водными ресурсами, а потому размещаются у нас предприятия соответственные. Но ведь надвигается глобальная трагедия как раз по этому ресурсу. Вот цифры. Санэпидемстанция говорит: предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в подземных водах хозпитьевого назначения не должна превышать 0,3 миллиграмма на литр. Фактически же загрязнение во многих местах уже достигло десяти миллиграммов на литр, а в районе «Абаканвагонмаша» — четырехсот миллиграммов. Площадь подземного загрязнения вод расширяется очень быстро. Отдельные очаги смыкаются между собой. Об этой грозной тенденции гидролог А. С. Кривошеев начал бить тревогу еще лет двадцать назад, но его крик и сегодня стараемся не слушать. Да что там 20 лет! Еще в 1907 году скотовод в хакасских степях говорил купцам-промышленникам: если речку, озеро запоганите — беда, если же

родники запоганите — конец всему. Сегодня из родников уже забила ядовитая жижа!

Побывал я прошлой осенью в тайге на берегах Кети, у вздымщиков. Рабочие там передовые, сказали мне, по два-три плана дают. И вот знакомлюсь. Узнаю, что в деревне Таежной, где живут эти самые передовые трудящиеся с семьями и без семей, за последние три пятилетки никто своей естественной смертью не умер, хотя схоронили многих. Умирали смертью насильственной: утопился, застрелился, утопили, застрелили, потерялся в тайге и прочее. Все это, конечно, происходило в том состоянии, в какое приходят после безмерного длительного употребления алкоголя. Да, когда уменьшили завоз водки в связи с постановлением, сообразительные передовики тут же переориентировались на сахарную брагу с добавкой каких-то крепких, оглушающего свойства трав, произрастающих на гнилых болотах.

Вокруг, в одну сторону на десятки километров, в другую на десятки, стоит мертвый лес. Мертвый не только потому, что в нем нет никакой живности, а буквально мертвый. Выжатый, обессоченный, обескровленный. Лишь на вершинах тоненькие хлыстики зеленовато-бурых веток. Это жуткое зрелище.

А посередине — река, известная всем по карте, служившая в прошлые века коротким путем для лодочного перехода казаков с Оби на Енисей, снабжавшая их рыбным довольствием, тоже почти мертвая, ничто на ней не плеснется, не квакнет. Да как же тут не запить!

Пригляделся я там, в тайге, к технологии работы вздымщика. У него этакие кривые ножи на длинном черенке, он подходит к дереву и наносит на стволе, высоко от земли, несколько рваных ран — борозд. Потом прицепляет к стволу жестяную посудинку, куда стекает живица. Через несколько дней рабочий возвращается к этому дереву и теми же ножами подновляет раны. Так все лето. А чтобы раны на затягивались и живица текла скорее, он впрыскивает в них разные кислоты. Дерево обессочивается, обескровливается очень скоро, у рабочего получается высокая выработка, высокий заработок. Дерево засыхает на корню задолго до того, как сюда, на этот участок тайги, явятся лесорубы. Лесорубы в свой срок, конечно, приходят, берут древесину, миллионы кубометров, но дом, построенный из этой древесины, сгнивает в десять раз быстрее, чем если бы он был сделан из дерева, в котором взяли живицу не таким убыстренным способом, не так варварски. Столб, забор из такой древесины плесневеет в первое же лето.

Но я не об этом хотел сообщить. Не о технологии... Мы теперь знаем, что растению так же свойственны боль и страх. И мне хочется сказать о связи этой боли и страха с тем, что происходит с самим человеком, в данном случае с рабочим-вздымщиком, точнее, с его психическим и нравственным разрушением. Связь эта, я думаю, безусловно, существует. Подходя к раненому дереву, к тысячам раненых деревьев, чтобы усугубить эти раны ножами и разъедающей кислотой, человек попадает в определенную зону ужаса, безмолвного лесного крика, в облучение лесной болью. Это не может не действовать на человека. Не отсюда ли расшатанные нервы, неустойчивая психика и тот разгульный, опустошающий образ жизни, что я видел в деревне?

Приехал из Москвы аспирант-химик, этакий хитрован. В чемодане у него баллончики, пузырьки. Устроился на лето вздымщиком. Как и положено, ему был выделен сосновый участок. Где-то около восьми тысяч зрелых деревьев. Принялся аспирант-химик за дело. В надрезы он добавлял жидкость из своих привезенных пузырьков. Посмеивался. Живица из деревьев шла с невиданным напором. Все рекорды побил по сбору живицы. У него спрашивают: как это ты? Он свои флакончики никому, конечно, не показывает, под тряпочкой в чемодане прячет и только отвечает, мол, специалистом надо быть. А осенью отъехал в столицу на продолжение учебы, на защиту кандидатской, забрав с собой полученные в химлесхозовской бухгалтерии несколько тысяч заработанных рублей.

А участок его уже зимой начал буреть, потом, к весне, полетела с него хвоя, ветки начисто оголились, посохли, ветер их стал ломать...

А что произошло с хитроумным химиком? С этим новатором-рекордистом? Дошли в тайгу слухи, что диссертацию он не защитил. Что-то сделалось, стряслось с его психикой. Сейчас где-то лечится, но лечение, говорят, пошло не на пользу.

Грозное предупреждение! Не настигает ли природа своих истязателей? Где бы они ни были. В городе ли, в тайге, на реке, в небе...

Сливающие мазут в водоемы! Распыляющие яд на землю с самолетов! Пускающие лесные палы!.. Думайте, думайте!

Всякая птаха чувствует с весны, какая будет новая зима. Травка — тоже. Вон, к примеру, ежевика: она очень обильно плодоносит, весь склон фиолетовым окрашивается в тот год, когда зиме быть бесснежной и лютой. Что это? Чувствует ежевика возможную свою погибель и, естественно, стремится обильно, массово разродиться рясными плодами.

Человек! Всемогущий! Мыслящий! А где твое вот такое же предвидение, как у этой ягодной травки ежевики? Что? Молчишь? Захламил, задавил свои чувства рассудком?..

Пренебрежение чувствами растительного мира не несет ли за собой всем нам страшные потрясения не в отдаленном будущем, а уже сегодня, сейчас?

Вернувшись в Красноярск, я поделился своими размышлениями с учеными, врачами. Они мне: ну, знаешь, это у тебя мистика. Пошел в газету. А редактор: про это писать — несерьезно. А мистика ли? По-моему, это пример того, как мы опять пытаемся уйти от решения проблемы на стадии ее глубинного истока.

Не могу не указать еще на одну назревающую глобальную проблему...

Митяя в гостиницу я не пустил, а пригласил ночевать к себе домой. Да, впрочем, в гостинице, даже в той, третьесортной, что возле рынка, вряд ли бы нашлось ему место. Перегружены наши гостиницы, без блата в них пока не пробиться.

Митяй, то есть Дмитрий Чегуркин, когда-то работал на тракторе, а после, как угодил под колесо и лишился ноги, стал объездчиком совхозных полей, целыми днями проводил в седле на кауром меринке. Исключительной любознательности человек, любящий ставить сам себе вопросы и чаще тут же отвечать на них.

Мы сидели с Митяем в моей комнате. Гость делился наблюдениями за жизнью в своем тихом благополучно-убыточном совхо-

зе, расположенном по реке Чулым, — совхоз, говорил Митяй, год от году становится беднее, а люди — зажиточнее. Я глядел на гостя, на его узкое, бурое лицо, слушал замедленные слова и думал не о разленившихся его земляках, а совсем наоборот, то есть о тех селянах, которые, воспрянув духом в перестройке, явили пример свободного трудолюбия... Вернее, не об этом, а о том результате, который из этого в дальнейшем вытекает...

Как-то я уже говорил, что в одной средней деревеньке под городом, где земля не отличается особым плодородием, пятеро механизаторов объединились в подрядное звено. В первый же сезон они сдали государству пять тысяч тонн пшеницы повышенного качества. Столько, сколько сдает обычно средний колхоз или совхоз. Выходит, один работник, дав тысячу тонн хлеба, способен прокормить... Сколько человек? Тысячу? Две? Если даже съедать старому и малому, то получается... по две буханки в день.

В своих прежних заметках я это рассматривал как очень положительный факт, в плане, так сказать, раскрепощения хозяйской инициативы и выполнения Продовольственной программы.

Теперь же вот я сижу, слушаю Митяя и думаю совсем с другой стороны. О соотношении — один к... тысячам. Кстати, эти славные парни еще недовольны своей работой, они считают, что звено может выращивать пшеницы в полтора и в два раза больше. Тогда уже будет, что один три, четыре тысячи своих сограждан прокормит?

А в животноводстве? Тут и электропастух, и... робота в помощь доярке приспосабливают, чтобы она одна уймищу ртов (полк) молоком смогла обеспечить.

По этому поводу житель села Кома Новоселовского района нашего края Оборин прислал мне письмо: «Один, значит, будет делать большое дело, тратя на него по 16 часов в сутки (да, по интенсивной технологии надо, товарищи, вкалывать), а остальные... Понятно, остальные, обеспеченные едой, будут ведь тоже чем-то заниматься. Будут шить, строгать, плавить, строить... Чтобы обеспечить этого одного всем необходимым. Это, конечно, так. Дел у них будет тоже много, найдут они себе дела. Ткачиха в энтузиазме план пятилетний будет давать за два года, обувщик — чтобы уж окончательно завалить складскую емкость ненужными калошами... А в основном они все будут бороться. С гиподинамией, склерозом, диабетом, нервными перенапряжениями, стрессами, культами, алкоголизмом, наркоманией, проституцией... Бороться за нравственность, за высокую идею, за радость творчества и т. д.».

Митяй, с которым я поделился своими заботами, показав это письмо, сперва ничего не понял, а потом, поразмыслив, вдруг проникся интересом, достал из кармана свою электронную считалку.

«А может, — продолжал развивать свою мысль житель села Кома, — куда разумнее, чтобы в идеале одна доярка надаивала не на тысячу граждан, а всего лишь, ну, на сто, и коровушек за ней закрепить не табун, а пяток? И уж без этих... без пугающих роботов. Руками, пальчиками за нежный, чувствительный-то сосок. Что? Уж не сыщется среди нас охотников, чтобы так — пальчиками-то? Ну, тогда, значит, мы должны признать, что недостойны мы, значит, всем обществом, эгоизированным, развращенным технократией, потреблять этот деликатесный продукт — молочко. Боязно признаться?..»

Мысль, конечно, неновая.

Близко к этому образу мышления подходил в прошлом веке крестьянин сибирского села Иудино Тимофей Бондарев в своем уникальном философском труде «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца», изданном при содействии Л. Н. Толстого в Париже. Толстой в 1906 году, 2 апреля, повторяя очень понравившиеся ему идеи сибирского крестьянина-философа, записал в дневнике: «Совершенно ясно стало в последнее время, что род земледельческой жизни не есть один из различных родов жизни, а есть жизнь (как книга Библия), сама жизнь, жизнь человеческая, при которой только возможно проявление высших человеческих свойств... Главная ошибка при устройстве человеческих обществ... та, что люди хотят устроить общество без земледельческой жизни или при таком устройстве, при котором земледельческая жизнь — только одна и самая ничтожная форма жизни. Как прав Бондарев!»

Однако острота этого вопроса с ходом времени не притупляется, а наоборот.

Да, хорошо ли это, скажем следом за нынешним крестьянином Обориным из села Кома, за крестьянином прошлого века из села Иудино Тимофеем Бондаревым и за самим великим Толстым, да, спросим себя, хорошо ли это, когда один на земле (главный создатель истинного, а не иллюзорного, не фиктивного национального богатства) будет давать тысячам других, сидящим над землей, целым тысячам, хлеб?

Не исказит ли это нашу человеческую природу? И вообще — всю земную жизненную структуру. Не попортит ли?

Ведь, чтобы одному на земле прокормить несколько тысяч, сидящих над землей, надо внести в землю очень и очень много химических добавок. Уймищу всего такого. А что это значит? Вдумаемся!

Сельские специалисты Сибири, не обученные на своих неохватных просторах стесняться и думать, простирают длани к химии, как к спасению божьему: она, мол, и от сорняка, и от козявки, от заморозка, от недорода оградит. Но оградит ли?

В капстранах ввели: у химизированного продукта одна цена, а у не химизированного — другая, раз в пять выше. Вот и вся, дескать, проблема. По такой линии предлагают «экономисты» пойти и нам: к примеру, на незабрызганную пестицидом дыню цену назначить в полтинник, а на забрызганную — двадцать копеек. Если это у «них» и имеет какой-то экономический смысл (изуверский) — лечится там отравленный человек, погнавшийся за дешевизной, на свои собственные сбережения, — то у нас же никакого смысла и в этом: лечение-то людей все равно примет на себя государство.

На озере Беле, в Ширинском районе, в год интенсивного применения химии по окрестным землям, погибло за неделю много тысяч лебедей и гусей, направляющихся на север. Еще в прошлом году вдоль Енисея, вокруг водохранилища по тайге, самолеты сыпали тонны ядовитейшего ДДТ. Травилось и травится все живое в лесу и в воде, конечно, не минует это и живущих по берегам людей.

У моего знакомого пчеловода М. Словцова глаза заволакиваются слезами от беспомощности своей, когда после очередного аг-

рохиммероприятия, проводимого совхозом на гречишных полях, пасека на две трети вымирает, а оставшимся в живых больным пчелкам, конечно, не до медосбора.

Мы уже знаем (только медицина не знает), что на юге нашего края уникальнейшие целебные озера — Шира, Учум, Тагарское, куда стекают с полей при дожде эти добавки, — уже становятся не целебными, а ядовитыми! Знаем (только наши эпидемиологи не знают), что американский фермер, поработавший по интенсивной технологии, давно не пьет воду из собственного колодца, а ездит покупать ее в бутылках в магазине (а мы все еще за эталон принимаем американскую деловитость). Не станем ли и мы скоро ездить? Но куда?.. Да вон на Байкал. Какой же тогда резон выйдет, где экономический смысл, если один выращивает хлеб за счет химических добавок, а остальные строят заводы, чтобы производить эти добавки, строят вагоны, чтобы возить эти добавки, строят самолеты и выкапывают из земли горючее, чтобы летать за тысячи километров на Байкал и возить оттуда сельскому труженику водицу напиться в бутылках... Потом ведь при таком ходе дела и Байкал загадим, если не с земли, то с неба — кислотными дождями. Тогда что, в Антарктиду отправимся за льдом? Но туда, говорят, уже тоже какой-то яд цивилизации проник. Или примемся проектировать и сооружать сверхдорогие, сверхмощные очистительные установки?

Опасные для здоровья вредные примеси, попадающие в пищу, люди, как правило, не ощущают, как не ощущают и радиоактивное облучение. Такое несовершенство наших органов чувств приводит, в частности, к тому, что основное внимание уделяется чаще всего состоянию воздушного бассейна, хотя основная масса отравляющих веществ в организм человека обычно попадает с пищей — до 70 процентов.

Кстати, о добавках, рекомендуемых для плодородия. Надежду возлагали на компосты из мусора. Специальные заводы построили. Но... оказалось, что компосты слишком скоро насыщают землю ртутью, цинком, свинцом, медью...

Потом стали шуметь о некондиционных углях с КАТЭКа и золошлаках — вот добавки в почву. Разрекламировали. А выявилось, что и тут ртуть и прочее, и уж совсем никому не ясно, как эти добавки сработают в растениях и в нашей печени.

Загрязнение окружающей среды — основная причина онкологических заболеваний, это ясно всем и давно. Однако далеко не всем известно, что самая трагическая опасность, которая грозит нам и следующим поколениям людей — это изменение генетической информации.

Из головы у меня не выходит одна картина. Изработанная женщина тащит с поля вязанку сена; другая женщина, помоложе, тащит с пекарни после смены два ведра с хлебными помоями для коровы. Пекарня где-то за селом, женщина идет по цветистому травному угору, ведра тяжелые оттягивают руки. Она ступает трудно, спина и поясница заламываются при каждом шаге... Это я видел давно, в одной неперспективной северной деревеньке, но не забылось из той картины ничего, даже то, как пролетали над женщинами веселые серенькие тупокрылые пичужки-пухлячки. Не забылась и мысль, тогда осенившая меня: «Женщины эти, держащиеся из последних сил за землю, есть оплот нашей человеческой морали, всего того, что мы зовем народной культурой, с уходом их наверняка все упадет, всему конец. Человеческому!..»

Вот зажмурил я глаза, а все вижу тот травный угор, руки узластые, оттянутые ведрами, заломленную в напряжении широкую бабью спину...

Огни города за окном уплотняются, как будто их кто перемешивает в ночи, они слоями, пластами — верхние давят на нижние, сжимают... Почти миллионный город. У него неостановимая тенденция все разрастаться, у моего города. Подобно снежному кому, скатывающемуся со склона. Город абсурдов (как и сотни других): больше одежды, больше еды, больше больничных койкомест, больше врачей, больше микстур, и в то же время ни одной велодорожки, мизерное число водных бассейнов (и те примитивнейшие), которые бы исключали нужду занимать первое место в мире и по количеству врачей, и по декалитрам микстуры... Знаем же, здоровье человека на 50 процентов зависит от влияния образа жизни, на 20 процентов — от окружающей среды, на 20 — от генетического наследия, и только на 8 процентов — от микстур, врачей и больничных койкомест.

«Красноярск плотно закольцован трубами, откуда ни дуй ветер, в котловину, на город стекают промышленные выбросы, они не только в воздухе, но и на земле в жидком виде. Загрязненность атмосферы превышена в 16—20 раз. Дымящие, чадящие производства в свое время тут размещались стихийно, по прихоти, многие без санкции санитарной службы, в соревновании за быстрый экономический эффект. Например, в шестидесятые годы городская власть дала себя уговорить на то, чтобы алюминиевый завод строился прямо среди жилого массива. Экономия по транспортным расходам была достигнута, за это местные служители получили крупные премии от заинтересованных министерств. Сегодня эта «экономия» обернулась, как было объявлено в недавней телевизионной предаче, ежегодным ущербом городу и государству почти на полмиллиарда рублей. Полмиллиарда! Сумма, в четыре раза превышающая весь доход самого предприятия! Таково разрушающее действие ядовитых выбросов завода», — пишет житель Красноярска А. Смирнов.

Другой красноярец (М. Чубарь) дополняет:

«Красноярск сегодня дышит только за счет «форточки», так называют северо-западную окраину города, откуда преобладающие ветры и где лишь по счастливой случайности промышленники пока ничего зловредного не успели построить, но... Но и в этом узком предгорном коридоре, рядом с жилыми кварталами, рядом с проспектом, сейчас спешно возводятся какие-то серые корпуса с глубочайшими котлованами... Ведомство сюда даже представителей санитарной службы не допускает. Нижнетагильцы и кемеровчане, окончательно задохнувшись в своих городах, вышли на улицы с демонстрацией протеста, но добились немногого. Как же быть нам, красноярцам?»

Что ответить им, я ума не приложу. Но пока писались эти заметки, жители нашего города тоже решились на демонстрации. Надо отдать должное, исполком Красноярского горсовета в последние месяцы начинает проявлять себя по-хозяйски — уже не заискивает перед министерствами: несмотря на бурные возражения ведомств, удалось закрыть часть чадящих предприятий, располо-

женных близко от жилых кварталов: крупная котельная кондитерско-макаронного объединения, графитовая фабрика, кирпичный завод, кислотный цех целлюлозно-бумажного комбината, литейный цех... Но, удовлетворившись первыми шагами, не станем задерживать свое внимание на этом.

Профессор И. А. Аршавский, основатель возрастной физиологии, сделал очень тревожный подсчет: 90 процентов детей сегодня рождаются физиологически незрелыми, с отклонениями в здоровье. «Это вчетверо больше, чем после войны. Именно такие дети станут поставщиками всех самых тяжелых болезней у взрослых» («Правда», 1988, 8 января).

Министр здравоохранения Чазов говорит, что сегодняшние болезни населения обходятся государству ежегодно почти в сто миллиардов рублей. Как же многократно увеличатся эти траты завтра, через 15—20 лет?!

Мой город каждую минуту сбрасывает сколько-то сот кубометров (не литров) отравы в Енисей, из которого сам же пьет.

И в то же время на завтрашнее взрослое поколение мы легкомысленно планируем работу бóльшую, чем проделали и проделываем сами. Пишет вот одна газета (письмо ветеранов): в такой-то пятилетке будет 60 миллионов пенсионеров, и, чтобы их кормить и одевать, надо готовиться молодежи работать вдвое лучше. Сколько же в этом письме ну если не старческого эгоизма, то чего-то в этом роде. А скорее — наивности. Они, ветераны, значит, работали в молодости вдвое хуже, они замазутили реки, заэрозировали пашни, повысекли под гребенку когда-то буйные леса и прочие, прочие «преображения» произвели, а теперь, значит, их внукам надлежит не только как-то выпутываться, а еще и с лихвой удовлетворять повышенные претензии набедокуривших в своей жизни дедов.

И еще вот спрашивает читатель из Кызыла: «Коль девяносто процентов с врожденной «недостаточностью», то... страшен вопрос: не родят ли они в свою пору детей с еще большей недостаточностью и не станет ли здание цивилизации, сооружаемое человечеством, еще более косить на один бок? И так от поколения к поколению — не по спирали, а по прямой — к регрессу?»

Диалектично думающему человеку грустно сознавать, что будущее за такими вот катастрофически разбухшими мегаполисами. Не истратится ли в этих железобетонных нагромождениях вовсе душа, не отлетит ли, как отлетает она от почившего?

Кстати, у нас в стране уже 23 города-миллионера. Мы тут резко опережаем другие государства. В США, например, городсв-миллионеров 1В, в Китае — 11, в Японии — 9, в Индии — 3, в Великобритании — 3. Это как раз в таких муравейниках семейная ячейка наиболее шаткая: каждый третий брак кончается разводом. А в Красноярске — каждый второй.

Напомню еще раз: по продолжительности жизни в городах наши мужчины занимают 31-е место в мире, женщины — 24-е.

Зло, существующее в человеческом обществе испокон веку, много активнее добра. Аксиома. А коли так, то в уплотненном городском муравейнике у порока куда больше шансов быстро внедряться в судьбы отдельных индивидуумов, чем у добродетели. Задача культуры, считаю, в том, чтобы всячески способствовать созданию, расширению нравственной атмосферы за счет всего дымящего, коптящего в небо. Я слабо верю в то, что добро можно

вот так внедрить в чье-то сердце, но я глубоко верю, что существованием густой нравственной атмосферы вокруг каждого человека можно воспрепятствовать проникновению разрушительного зла к сердцу. Зло не способно вот так напрямую прорвать атмосферу добра, для этого нужен какой-то разрыв, какая-то щель. Так бывает в кедровом лесу: болезнетворные микробы туда не летят из соседнего гнилого оврага не потому, что их туда не гонит ветер, а потому, что вокруг каждого кедра в отдельности и вокруг всего кедрового массива витает очень плотное облако очистительных фитонцидов. Не допускать разрывов, щелей!..

Вот о чем мы думали с Митяем, продолжавшим что-то подсчитывать, тыча пальцем в калькулятор. Вопросы эти мы задавали сами себе и тем, кто был за окном, в ночи, в огнях.

Назначение человека на земле — делать себя и делать землю. Мы же — разрушители и себя, и земли. Прежде вокруг сибирских городов стояли плотно кедровники, хранители воды, воздуха, климата и самой жизни. От Волги до Сахалина извели кедровники — какого будущего, спрашивается, и нам, и детям можно ждать!

Меркой зажиточности, процветания всякого государства, той или иной системы остается, как ни парадоксально, процент годового прироста промышленной наработки.

Наука если и поверяется кем, то самой же «наукой». Здравый смысл, опыт прошлых поколений, простолюдинов, дедов и прадедов не в счет.

«Мы за то, чтобы наука перестала быть слугой двух господ — жизни и смерти, чтобы она служила только жизни», — сказал М. С. Горбачев.

«Наука при социализме могла бы, но ей все годы мешали, не давали», — слышу наступающий, защитительный, окрепший в пору гласности голос. Но что же это за наука, если она на самое природу, на великую, всемогущую природу наступает, мужественно, дерзко, засучив по локоть рукава, а с жалким бюрократишкой совладать не умеет?

Потрясает заметка в «Литературной газете» (23 марта 1988 г.), поданная как последняя международная новость: «Над Антарктидой не только стало вдвое меньше озона, там вопреки всем ожиданиям в сто раз против нормы повышена концентрация окиси хлора... В любом случае даже если будут приняты все необходимые меры, человечеству до 2075 года придется адаптироваться к глобальному повышению температуры на Земле... то есть научиться жить в условиях, в каких на земном шаре еще никогда никто не жил». Добавляется: жить при ослабленной иммунной системе... Вот! В любом случае! Что же тогда будет в Красноярске, если тут уже сегодня у жителей ослаблена иммунная система?

Для бодрячества — никаких шансов. Тут с глубоким уважением подумаешь о семье Лыковых, что отселилась жить в верховья Абакана, чтобы в лесах и горах замаливать за себя и за нас всех содеянные грехи.

Остроумный журналист произвел подсчет научно-исследовательских учреждений в Академии наук: оказалось, в названии тридцати институтов присутствует слово «физика», в тридцати шести — слово «химия» и... в то же время ни в одном названии не нашлось ни слова «человек», ни даже привычного науке — «антропос» («Известия», 1987, 27 августа).

На VIII Международном конгрессе по логике, методологии и философии науки приводилась мысль Ф. Достоевского, что «без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорее истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его все были хлебы».

И на том же московском конгрессе руководитель Международного института жизни М. Маруа убеждал: надо надеяться на древний инстинкт, только он выведет наш разум из сегодняшнего состояния. Ну а если, дескать, погибнем, значит, таков закон эволюции, просто наш вид — гомо сапиенс — окажется очередной тупиковой ветвью, как были тупиковой ветвью эволюции динозавры. Жутковато слышать такое.

Слава богу, в Красноярске ученый отряд (а он не бедный), кажется, наконец-то, не полагаясь на спасительный «древний инстинкт», начинает осматривать беду и что-то думать на этот счет, тому свидетельство тревожное письмо в «Красноярском рабочем», подписанное докторами биологических, медицинских, физико-математических, философских, технических наук: Г. Гирсом, В. Смагиным, Б. Чудиновым, Н. Печуркиным, А. Левиным, Ю. Дыхно... — всего около двадцати подписей. Не только ударили в колокол, но и предложения свои практические высказали, какие вводить технологии.

«Благодаря вышестоящему руководству...» — любимое наше вчерашнее изречение. Площадку перед домом заасфальтировали — благодаря вышестоящим... Квартиру вы получили — благодаря вышестоящему правительству. Дети ваши бесплатно ходят в школу — благодаря... Вот уж пенсию вам начислили — опять благодаря кому-то. Наивно было ожидать, что при такой униженно-благодарственно-потребительской общественной психологии разовьется чувство хозяина и что поезд наш домчит до далеких прекрасных далей.

Но ведь и сегодня мельтешит: «благодаря директиве», «благодаря постановлению», «благодаря Пленуму»... Газеты организуют принятие и публикацию районных, областных, краевых соцобязательств, спешат сообщить, кто первый идет по процентам отремонтированной техники, кто вперед сев начал. Вяжется ли этот рецидив показухи с курсом коллективов на экономическую свободу? А то еще (это мне Митяй рассказал): приезжает представитель в деревню, к дояркам, механизаторам, собирает их и говорит: вот, товарищи, решения верховных органов диктуют, чтобы работать лучше, надаивать больше...

Как бы выглядело такое вот: приехал бы кто-нибудь в прошлом веке, к примеру, в сибирскую степную деревню Иудино, собрал там мужиков и давай говорить: вам, мужички, надо поднять выработку, пахать лучше, потому что... потому что такое требование самого, ну... Льва Николаевича Толстого. Хотя, мы знаем по архивам, в Иудине многие крестьяне относились к Льву Николаевичу очень уважительно, даже переписку с ним имели, тем не менее они очень, очень насторожились бы и... убавили в трудовом усердии.

И еще хочу привести письмо читателя из Новокузнецка: «Я не предполагал, что так монолитно сильна у нашего народа вера в Советскую власть, в партию, в Центральный Комитет. И притом... да, притом чем гражданин безответственнее граждански, социально, экологически, тем вера его прочнее, неколебимее: «В беде нас не оставят», — сомнамбулически твердит он, проспав сроки сева в поле (если селянин) и слепив на фабрике (если горожанин) никому не нужную вещь...»

Прочтя эти записки, один мой знакомый не считал нужным скрыть зевоту, растирая при этом ладонью левое свое ухо, и спросил тоном человека, знающего все наперед:

— И кого ты, несчастный, собрался этим вразумить? Кого удивить? Перемены, думаешь, какие будут?

Другой мой знакомый, постарше, попочтеннее, прочитав рукопись, ничего про нее не сказал, а только подсел ближе ко мне, придвинул стул, вытянул шею, а шея у него худая, длинная, в сухих рубцах, отметинах войны, и стал допытываться:

— Скажи, что это значит? В конце шестидесятых впервые... и ты тоже помнишь, впервые мы приметили, как наша молодежь в столовой, вон в кафе на проспекте Мира, в закусочной... заметили, молодежь оставляет в тарелке уже не только хлеб недоеденный, а и полкотлеты, и полбифштекса, ломоть жареной колбасы... Во, думал я тогда с оторопью, а больше, однако, с радостью, наелись, значит, наши детки, насытились. Мы за всю свою жизнь не могли насытиться, и даже теперь все сны про еду снятся. А вот сегодня зашел я в междугородный телефонный узел, в зал автоматов. Летнее время. Сплошная молодежь там. Одежда на всех богатая. И на плечах, и на ногах. Заглядишься. Красивая при таком убранстве выходит она, молодежь наша нынешняя. Постоял я там. Вижу, молодежь-то из тех, которые наехали в город поступать на учебу, устраиваться на житье. Сельская молодежь. И разговоры ведут... Домой звонят. О чем? Кабины не закрыты — все слышно. Не о поступлении, нет. Обо всем... Но не в этом соль. Стоит парень или девушка перед аппаратом. Пять минут так, десять, двадцать... По всем кабинкам одно. И пятнадцатикопеечные монетки кидают в щелку, кидают. Будто это не монетки вовсе, а камешки, собранные на улице. Тридцать минут крутит телефон, сорок... Ба-атюшки! Сколько же это монеток надо кинуть! Да что же это такое? Еще не работали, не зарабатывали, а уже нет жалости к деньгам! К деньгам, которыми их одарили отец с матерью. Какие же это из них будут хозяева? Мы-то с тобой в такие годы пятак берегли. Да чего пятак — копейку ценили!.. А нынешние? Вон куда заносит. Считаем, славно, когда оцениваем, что наш народ в основном однослойный в социальном и мировоззренческом отношении. Но это же как корабль без отсеков... По этой причине можем оказаться самым незащищенным обществом перед всякими поветриями. Оглянись, оглянись! Грозный симптом. Не припудривай. А? Что гмыкаешь? Говори!.. Про это бы тебе писать...

Третий, кому я дал рукопись прочесть (человек крайнего нетерпения и раздражительности), поглядел на меня сощуренно, молвил:

— Слюнтявишь много и длинно. А надо прямо. Люди, что вы хотите? Нарядов? Можно. Но при этом вы будете иметь дряблую кожу под платьем. Вы хотите скоростей машинных? Можно. Но при этом у вас будут скрипеть суставы плюс диабет и еще десять неизлечимых хворей, потому что воздух отравится фтором. Вы хотите слаще есть? Пожалуйста. Но при этом жизнь у вас будет

горька, как полынь, и коротка, как хвост верблюда. Все на обмен, все на обмен, и ничего, кроме...

Когда я заканчивал писать эти заметки, по телевидению, в программе «Время», ведущий брал интервью у доктора биологических наук, заведующего биосферной лабораторией при Академии наук СССР, который сказал: сегодня состояние больной биосферы таково, что ресурс на выживание человечества может иссякнуть уже через 20—30 лет. Я не сразу понял такое, а когда понял, то с ужасом оглянулся на сына, на дочь, которые сидели тут же, перед телевизором, и, судя по их веселым физиономиям, совсем не услышали жуткого прогноза.

Ночью снилась непонятно почему стая кошек, черных. Утром я побежал к одним знакомым, к другим, к третьим. Всем говорил про «то», меня торопились напоить чаем с вареньем, рассказывали, что на соседней улице открылся новый большой универсальный магазин, а «Красмаш» освоил холодильники увеличенной вместимости, и еще говорили что-то про летние туристские маршруты... На проспекте Свободном, где народ грудился на остановке в ожидании транспорта, я попробовал прокричать:

— Товарищи! На двадцать лет всего... На тридцать!.. Всего!.. Задумайтесь!

Мягко накатывались автобусы, люди вжимались в их зыбкие внутренности, глядели из окон, указывали на меня пальцем.

Люди! Что же?..

О знаменитом современном трагическом барде кто-то сказал: он-де был поющим нервом эпохи. Я подумал: маленькая неточность: нерв поющим быть не может. Он может быть только кричащим, верещащим, если защемлен.

Когда слышим в социальном организме страны крик защемленного нерва, торопиться, глушить его, думаю, не самое оптимальное действие.

Однако сбоку, со стороны газетного киоска, ко мне направлялся молодой, очень построжавший служитель порядка.

г. Красноярск

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Вячеслав ГОРБАЧЕВ

АРЕНДАТОРЫ ГЛАСНОСТИ?

О ПЕРЕСТРОЙКЕ И ПОДСТРОЙКЕ

> В душе народа всегда таится стихийное чутье прекрасного, как имеется у него врожденное чувство исторического равновесия, не позволяющее ему упасть, поскользнуться, склониться, — подсознательное и безошибочное ощущение происходящих вокруг него явлений.
>
> **Л. М. Леонов**

I. О бюрократии и демократии

Успех многих начинаний перестройки, признание ее идей равно связаны с «чувством исторического равновесия» в душе народа и с творческим переосмыслением семидесятилетнего опыта строительства социализма, с осознанием достижений и горьких ошибок на этом пути, с пониманием ответственности за наш день. Боль и радость сердца, память давних веков и последних десятилетий сообщают народу «безошибочное ощущение происходящих вокруг него явлений». Радуясь созиданию нового, душа человеческая страждет, испытывая неутолимую жажду истины, когда подтачиваются и рушатся привычные устои. И тогда надежной опорой ста-

новится нам мысль о Родине, и ей — наша поддержка и любовь в трудный час.

Главным, без чего представление о Родине потеряло бы смысл, во все времена, было и остается одно: земля и люди на ней.

Обыкновенная земля — на ней родились, выросли и живем мы сами, рождались наши деды, прадеды, далекие пращуры. И обыкновенные люди — со своими трудами, заботами, радостями, с утвержденными чередой поколений идеалами, мечтами о лучшей доле, правопорядком. Все это, соединенное в понятии Родина, определяет свой особенный нрав, характер, лад человеческой жизни и задает этой жизни обещающий смысл. Но еще никогда не бывало так, чтобы народу жилось хорошо, когда земля бедовала. Тогда только хорошо и живется, когда Родина твоя в мире, обильна людьми, ухожена ими и обласкана, тогда, как говаривали на Руси в старину, становится она землей чудес, тогда она *всего еси исполнена...*

В последние годы, когда воды жизни поубавили свое течение и стали зацветать, зарастать ряской от берегов, а сами берега некогда твердых общественных устоев местами сделались зыбкими, а кое-где и раскисселились вовсе, в эти годы, когда червь жирел от червя, потрава застойности не обошла ни земли, ни человека. Русская земля, как это мы видим едва ли не сплошь и рядом, дававшая прежде по два хлеба кряду, запплошела, стала вырождаться, не держит возле себя человека, зарастает жесткими бурьянами и горькой травой чернобыла.

Надо было что-то предпринимать, поправлять дело, ускорять течение жизни — стоячие воды застоя засасывали и омертвляли все живое, гнилостный запах разложения возбуждал шакалов. Надо было положить конец аннигиляции духовной энергии человека и общественной активности. И тогда запряглись миром, пошли по земле многолемешным плугом гласности. Дело хорошее. Да не простая оказалась работа — пахать для истории, когда корнями кверху выворачиваются пласты жизни народа, равновелие эпохам. И обидно, когда некоторые усердствуют без разбора — где действительно сорняки, где злаки, где плодоносящие дерева.

Мы вошли в перестройку с грузом многих и многих предубеждений, выйти из нее мы должны, не поступаясь идеалами социализма, с чувством раскрепощенного сознания. А это значит, что и е д и н о м ы с л и е сторонников перестройки должно быть осознанным, убежденным, а отнюдь не обязательным, как того требует, например, «Огонек» (№ 28, 1988 г.) — трибуна, с которой поэт Андрей Дементьев объявил, что у него лично и у редактируемого им журнала «Юность» есть враги — это авторы статей в журналах «Молодая гвардия», «Наш современник», «Москва»: «те, кто не хочет изменений в нашей жизни, это враги перестройки». «Мои враги» — без обиняков вынес он свой вердикт. То ли червячок сомнения шевельнулся в нем, то ли понял он, что собственных силенок у него маловато для отпора «врагам», но для пущей важности посулил: «Юность» им отвечает и будет отвечать».

Поистине юношеский задор и непоколебимый оптимизм шестидесятилетнего мыслителя, как бы доказывающего такими утверждениями, что он «молится» на перестройку, не жалея лба, вызывают улыбку. Ситуация абсурдна уже потому, что названные

А. Дементьевым журналы никогда и нигде не декларировали, что они «не хотят изменений в нашей жизни», и изменений именно в духе перестройки. А отрицая право неугодных ему авторов и журналов на свою точку зрения, неужели не понимает поэт (!), что оказывает дурную услугу перестройке, отвергая априори плюрализм мнений, так необходимый для становления гласности и демократизации общества? Впрочем, беда даже не в этом, поразительно другое: неужели так малоподезен, малопоучителен оказался беспрецедентный опыт печати (в том числе и опыт «Юности»!) по осмыслению недавнего прошлого, причин и начал многих негативных явлений? Разумеется, сегодня, при всем усердствовании, один А. Дементьев гласности не испортит, новый культ не создаст, но нетерпимость к чужому мнению, тиражированная в миллионах экземпляров, не обернется ли, как в былые времена, нетерпимостью к человеку?

Кое-кто искренне убежден, что перестройка — это и есть сплошная перелицовка всего подряд — истории и современности, экономики и сознания, рыночных отношений и нравственных ценностей. Кое-кто считает, что это смена одного приказного единомыслия на другое. Нет. Это даже не перевод инакомыслия запрещенного в разряд разрешенного. Перестройка — это то, что будет посеяно нами сегодня, что взойдет, может быть, через годы и даст нашему сознанию и душе урожай духовного раскрепощения. Только на нравственной, созидательной основе может успешно идти экономическое преобразование и улучшение жизни. Вот и выходит, соображать, что сеем, надо теперь, и теперь уже думать, что соберем — вершки или корешки, да глядеть в оба, чтобы не объегорил народ косолапый бюрократище, чтобы духовно не обобрали народ быстро переменчивые на мысль, слово и убеждение подстройщики к перестройке, пытающиеся арендовать гласность в бессрочное пользование.

Закладывая в фундамент общественных отношений общую и равную для всех гласность, демократию, свободу, мы не оставляем бюрократической прослойке, казалось бы, даже малейшей лазейки для протаскивания своих интересов. Это тем более важно, как подчеркивала «Правда» (№ 161, от 09.06. 1988 г.) в передовой «Победить бюрократа...», что бюрократия сегодня еще «оказывает чувствительное сопротивление перестроечным тенденциям. В первую очередь тем, что пытается дискредитировать саму идею демократизации и гласности». Актуален вывод, сделанный в статье: «У бюрократа мировоззренческой позиции, по сути дела, нет. Выдает он за нее исключительно личный интерес. Обнажить коренную природу приспособленца от бюрократии, сделать ее уязвимой — вот чего требует от нас время».

Коль скоро у бюрократа нет мировоззренческой основы, альтернативной идеям перестройки, принятой народом, то нет поэтому и открытой борьбы против перестройки. Инерция старого мышления, алчность или коррупция базой такой быть не могут. Однако логика вещей заставляет поставить вопрос иначе: кто все-таки выражает, протаскивает в средствах массовой информации, в культуре, в идеологии эти самые «как бы мировоззренческие» позиции бюрократа, кто прямо или исподволь помогает отстаивать «исключительно личные интересы» тех, кто пока притормаживает перестройку довольно расчетливо и методично? Да иначе вряд ли и требовалось бы о б н а ж а т ь к о р е н н у ю

природу бюрократического приспособленчества. делать ее уязвимой в глазах общества и не жизнеспособной.

Публицист Иван Васильев. когда поделился с читателями своими размышлениями о бюрократии в статье «Убрать чугунный пресс авторитарности» («Правда, № 163, от 11.06. 1988 г.), хотя и не ставил. похоже. задачи дать прямой ответ на подобный вопрос. все же наблюдательным взглядом отметил, что в печати на волне гласности не все благополучно, — поэтому, считает он, в таком разговоре «не обойти вниманием трибуны и трибунов. С какой трибуны, от какого трибуна исходят призывы к обновлению? Всегда ли с печатных страниц звучит прозревший ум?».

Эко, чего хочется! Откуда ж было взяться у нас прозревшим умам, если иной писатель уже автор чуть ли не десятка книг, внуков нянчит, а его самого в литературном детсадике держат. Впрочем, если серьезно, то надо присоединиться к иронии И. Васильева. Он продолжает:

«Да простят меня столичные собратья по перу — здесь, в провинциальной глуши, мы их слышим, но не всегда понимаем. Слова-то вроде и доходят, чувства — никак. В чувствах — смысл. Боль, забота или — гонор? Самомнение или самостоятельное мнение? Разберешься, чего хочет трибун, постигнешь мотивы — разочаруешься иной раз: к кому он взывает, зачем? От него светлого ума ждут, а он, оказывается, гонором замутнен. Так яро многие трибуны заняты выяснением взаимоотношений, с таким упорством жаждут поставить противников на колени, что хочется сказать им: ваши бы страсти да на общее дело! Оно — в побуждении народа (разрядка моя. — В. Г.) к революционной мысли и действию, а не в замене одних икон другими».

Не только И. Васильев, многие читатели видят, чувствуют это, обращаются со своей тревогой в общественные институты. Не сразу осуждаемое явление связывается с проделками плутократии, автократии, бюрократии. Многое проясняется, когда явления осмысливаются во взаимосвязи. И. Васильев не навязчив, но последователен в таком понимании процесса. И вот к какому выводу он приходит:

«...Пока трибуны делят заслуги перед историей. перераспределяют вклады в культуру, перевешивают лавры с одного портрета на другой, — бюрократия может спать без успокоительных таблеток. Ее не волнуют споры-потасовки «верхних» умов, она боится прозрения «нижних». Почитывая горластых трибунов и даже почитая их, она рукоплещет смелым низвергателям авторитетов, но лишь до той поры, пока не обратятся трибуны, распри позабыв, к народу, не встанут на защиту его от местной бюрократии...»

Упор на «местную бюрократию», признаться, кажется здесь заниженным, смягчающим, что ли, тревогу публициста. В самом деле, бороться с местной бюрократией надо; однако разве лишь от власти местного стола нуждается в защите народ и разве решение проблемы в местных масштабах излечит все наши беды? Бюрократия в принципе неделима. Это самоорганизующаяся система. в которой во всех эшелонах главенствует принцип административно-должностной подчиненности и зависимости снизу доверху. Но сущность системы в ее двойственности. Стоя лицом к народу, она имитирует бурную деятельность на пользу государства, а за спиной народа — прямо или косвенно подчиняет эту

деятельность удовлетворению своих претензий и притязаний. И не случайно в застойные годы наиболее привлекательным капиталом, к которому стремилась всякая чиновная рать, были не деньги. не машины, не дачи, не заграничные командировки сами по себе, а положение в обществе — оно одно давало все, и давало тем больше, чем выше, престижнее занимаемое положение. (Вообще интересно было бы посмотреть, как трансформировались представления о престижности советского человека в довоенный и послевоенный периоды; думаю, мы увидели бы, что изменения носят довольно четкий прагматический характер, обусловленный не только социальным прогрессом, но и потребностями бюрократической прослойки. Особенно поразительна подмена смысла престижности среди работников торговли и бытового обслуживания в семидесятых годах. когда расхождение между пропагандистским словом и реальным делом стало из очевидного вызывающе безнравственным. Нередко молодежь, не защищенная моральным иммунитетом, рекрутировалась фактически в сферу посредничества между коррумпирующей в обогащении бюрократией и потребителем, кошелек которого вчерашние идеалисты потрошили нагло, бессовестно и прилюдно. Если вы приходили в магазин и спрашивали снисходительно услужливого продавца или вальяжную продавщицу: «У вас есть то-то и то-то?!» — вам, несмотря на пустые полки и вешалки, небрежно отвечали: «В Греции все есть!..» И это значило, что надо «дать на лапу», а нужный товар уже упаковывается.)

Наша бюрократия начала свою тихую узурпацию еще в годы, предшествующие культу, и успешно продолжила начатое в периоды волюнтаризма и застоя. Вчера. когда печать промеряла глубины открывшегося фарватера гласности как бы на ощупь, критики культа личности, развенчивая Сталина, предпочитали не педалировать на том, был ли сам Сталин и в какой степени жертвой бюрократической системы. Ставить вопрос так иным кажется вообще недопустимым. Дескать, как это: Сталин — и жертва?.. Но любое предвзятое или заносчивое отношение к прошлому истины о нем не прибавляет. И наивно думать, что к нынешним суждениям о Сталине и его времени нечего будет прибавить. Мы не последние. Завтра придут другие поколения — со своим пониманием истории и социализма, со своим взглядом на жизнь. в том числе и на наш день.

В отдалении не окажутся ли многие наши споры. дискуссии, оскорбительные наскоки «трибунов», групповые амбиции и пристрастия пустым звуком, шелухой слов, в которой редко где мелькнет полновесное зерно? Не скажут ли о нас дети будущего с едкой снисходительностью нашего современника:

И себя убежденно
Возвышая в толпе,
Каждый мнил себя богом,
Поклоняясь себе...

Такое идолопоклонничество не есть ли самое горькое и тяжкое наследие Сталина — Хрущева — Брежнева, заизвестковавшее сообщающиеся сосуды нравственного и духовного очищения и личности. и общества.

Считать, что в истории Сталин был сам по себе, а бюрокра-

тия — сама по себе, по меньшей мере несерьезно. Такой подход позволяет валить на Сталина все грехи и ошибки его эпохи. И не только. Кого, по такой логике, обвинять в том, например, что тесно связанная с бюрократией «пирамида мафии» сегодня «не просто растет, она монтирует себя во всем объеме пирамиды государственной власти, и делает это энергично и по многим направлениям сразу». А ведь этот «монтаж» только обнажается сегодня, хотя начат годы и годы назад. И хорошо, что Вл. Соколов, из статьи которого «Бандо-кратия» («Литературная газета», № 33 от 17.08. 1988 г.) взяты цитируемые слова, указывает действительные причины и действительных виновников. Возможность такого развития, говорит он, мафии «обеспечивает алчность одних должностных лиц и благодушие других. Деньги дают ей энергию. Социальные проблемы поставляют ей материал пока в неограниченном количестве».

Кажется, гораздо ближе к истине те, кто считает, что был культ Сталина, но была и личность. Другое дело, какая это личность. Нет оснований сомневаться в его целеустремленности и сильных волевых качествах. Вместе с тем у него был деспотический нрав, деспотический характер. Но идея централизованной власти — как средства укрепления государственного могущества — принадлежала отнюдь не Сталину, и апробирована она была еще в туманных исторических далях. Не ему принадлежала и идея сосредоточения административно-исполнительной власти в одних руках. И может быть, он даже догадывался, что набирающая ход машина, за рычаги которой он цепко держался, едет не всегда туда, куда он ее направлял. Но если бы даже машина скатилась в пропасть, он не отпустил бы рычаги.

Когда говорят, бюрократическая или репрессивно-бюрократическая надстройка всецело обязана своим существованием Сталину, то забывают или делают вид, что забывают, что между ними была и обратная связь, и прямая зависимость. Самой структуре чиновно-военизированной бюрократии власть культа едва ли не более выгодна, чем наоборот. А ведь для нас эти понятия не абстрактны, они историчны, за ними — конкретные люди, надо полагать, хорошо представлявшие, что и для чего они делали. «Свобода» их действий облагалась взаимными, страшными, кровососущими обязательствами.

Возвеличивая культ, репрессивно-бюрократическая система благополучно прятала в тени и славе непогрешимой личности собственные преступления и пороки. Отнюдь не защищая Сталина от тяжести справедливых обвинений в преступлениях перед народом и партией, не избавляя от исторической ответственности за содеянное, в то же время надо видеть, где довлели ему обстоятельства, спровоцированные и бюрократией. Иначе мы ничему не научимся на уроках прошлого, критическое осмысление и усвоение которых сделало бы невозможными волюнтаризм и уж во всяком случае — застой.

Бюрократия отнюдь не детище социализма, как это пытаются представить некоторые профессора, коим особой смелостью кажется бросить ком грязи в пусть несовершенный, но выстраданный народом строй. Видовой чертой бюрократии является мимикрия, приспособляемость практически к любой социальной системе. И уж если искать «крестных отцов» ее советской разновидности, то в первую очередь беспристрастный взгляд надо обратить в сторону Троцкого. Хитроумный идальго Лев Давидович разработал, а отчасти и реализовал немало автономных доктрин, совокупность которых предполагала авторитарный стиль руководства как логическое завершение складывавшейся в двадцатые годы чиновно-бюрократической административной системы.

Скрыть это сегодня никак нельзя. Доктор исторических наук Н. Васецкий в статье «Л. Троцкий: мифы и реальность» («Аргументы и факты», № 34, 1988 г.) — не являющейся ли началом кампании по реабилитации Троцкого? — признает, что в этот период «Троцким была выдвинута концепция «милитаристского социализма», в которой содержалась установка на превращение страны в гигантскую армейскую казарму, где все жили и работали бы по принципам воинской дисциплины. Троцкому, — сообщает он далее почти мимоходом, хотя это как нельзя актуально, — принадлежит идея бюрократизации государственного и общественного строя страны, за что он получил тогда прозвище «патриарха бюрократов».

Мундир лидера, готового удовольствоваться формально вторыми ролями в государстве, а не формально — вершить судьбы страны и социализма, Троцкий подгонял под себя. Сталин, чье революционное прошлое было более детерминированно и неоспоримо, пошел дальше: он надел этот мундир без примерки, жестко разрубив узел соперничества между собой и Троцким.

Отсутствие полномасштабных исторических исследований по эпохе сталинской тирании и великих революционных преобразований народа не может быть ни утешением тем, кто творил эти преобразования с именем Сталина на устах и подвергался необоснованным репрессиям, ни оправданием тем, кто с тем же именем изводил под корень народы, совершал беззакония и произвол. Приближение к истине не терпит суеты. Однако необходимость утверждения истины, вероятно, поставит в повестку дня ближайшего съезда партии или очередной партийной конференции вопрос о пересмотре (об отмене) некоторых постановлений ЦК и пленумов сталинского ЦК, в которых репрессии так или иначе объяснялись и трактовались как объективно необходимые.

В беседе с корреспондентами «Правды» — «Истина против клеветы» («Правда», № 232, от 19.08 1988 г.) — бывший председатель Комиссии Политбюро по дополнительному изучению материалов, связанных с репрессиями, имевшими место в период 30—40-х и начала 50-х годов, М. С. Соломенцев отметил, что люди десятилетиями «верили тому, о чем читали и слышали, что изучалось в школе. Люди читали стенограммы открытых процессов. Они есть в библиотеках и на руках у граждан. Но эти документы — недостоверны, подчеркиваю: недостоверны, неправдивы. Они в той же степени сфальсифицированы, в какой сфальсифицированы следственные и судебные материалы. Они утратили и юридическую, и моральную силу. Двух правд не бывает. Правда одна. Истина — зеркало, в котором высвечивается и клевета...»

И далее — непосредственно о виновности Сталина и его ближайшего окружения:

«Документы, которыми располагают Центральный Комитет, Комиссия Политбюро, — говорил М. С. Соломенцев, — рассеивают бытующие на этот счет сомнения. Вина лично Сталина и его ближайшего окружения перед партией и народом за допущенные

массовые репрессии и беззаконие поистине чудовищна. Но вина «вождей» не снимает, подчеркиваю, ответственности с добровольных доносчиков, непосредственных нарушителей социалистической законности, с тех, кто поддерживал и слепо выполнял бесчеловечные распоряжения, творил произвол. Видимо, вопрос об ответственности окружения Сталина станет исчерпывающе ясным в ходе дальнейшей работы комиссии».

Надо думать, публикация таких документов (тем более что они есть!) надолго не задержится. Люди понимают, если и впрямь правда будет утверждаться заклинаниями, а не фактами, то в нравственном отношении обществу суждено попятное движение. Такому скатыванию назад гласность ставит надежный тормозной башмак.

Народ изголодался по правде. По доказательной правде. Иначе ведь что получается? А. Рыбаков в «Детях Арбата» развенчивает Сталина от и до. Автор утверждает, что следовал фактам и документам эпохи. Возможно, это и так, возможно, и следовал, но читателю-то остается только верить Рыбакову на слово, поскольку использованные писателем документы и факты ему часто неизвестны. Человеческие судьбы и отношения, жизнь общества написаны в романе удручающе серой, монотонной краской. И если сама жизнь героев может быть ущербной, то не должна быть ущербной, ущемленной правда о ней. Психологическая и художественная недостоверность делает роман для многих читателей неубедительным. Возможно, будь это не роман, а очерк со ссылками на первоисточники, даже материал о Сталине воспринимался бы в нем иначе. А пока одних читателей историческая заданность А. Рыбакова приводит в слепой восторг, у других — вызывает глубокие сомнения и разочарование. Но и в очерке, и в романе безнравственно изображать русский народ как быдло.

Писателя Юрия Домбровского вряд ли кто упрекнет в симпатиях к Сталину. Но в его романе «Факультет ненужных вещей» период репрессий, сама тема культа личности художественно изображаются и решаются на порядок выше. Здесь авторский подход как бы исключает предвзятость. Писатель рассматривает проблему, «танцуя» не от Сталина, а от действительности, ставя вопросы философски: кто виноват, как могло случиться, что в стране, строящей социализм, совершившей пролетарскую революцию, торжествуют разрушительные силы, вплоть до человеконенавистничества?

Кругами земного ада поднимается герой Ю. Домбровского от романтической веры в вождей и идеалы к осознанию жестоких в своей наготе истин жизни, которые и сегодня, даже на фоне того, что уже сказано в печати о сталинизме, о репрессивных органах, о бюрократии тех лет, оказываются страшными. Не знаю, можно ли вообще понять, объяснить, что такое бесчеловечность, но нельзя не думать об этом. Нельзя уклоняться от этого как от повинности, как от креста, который лежит на нас только потому, что мы — хотим того или нет — наследники и того времени.

В ряде случаев автора трудно отделить от его героя, да это и не столь принципиально, когда утверждается, например, что весь этот ад тридцатых годов... «не Иван Грозный нам оставил, не татары занесли, а мы сами на себя выдумали и взлелеяли».

Выдумали и взлелеяли... Сами на себя?

Можно спорить с автором, не соглашаться, но какая-то дьявольская по своей жестокости логика в этом есть. Возможно — не выдумали, не взлелеяли, а — допустили?.. Многое в этой логике приоткроется из новеллы о председателе учкома (!) Георгии Эдинове, который хозяйски восседал в кабинете директора школы под «портретом Льва Давыдовича»*, ходил по школе в крагах и кожаной куртке, но главное — внес в жизнь, в сознание юного еще героя Домбровского «первую и самую гнусную ложь»: извратил, испохабил самый смысл, самое понятие слова «товарищ». Это воплощающее коллективистский разум чудовище, устрашающий всех и вся Эдинов, «мальчик развитой и развращенный», явил собою не просто новый тип бюрократа-общественника, но был еще в едином лице доносчиком, провокатором, инквизитором, садистом. Врагу не пожелаешь такого «товарища»...

Для понимания системы репрессий, ее постулатов и, если угодно, ее идеологии много значит сцена в камере, где два политических подследственных (многоопытный Буддо и наивный, неопытный Зыбин), арестованные как «враги народа», пытаются разобраться в своем положении. Буддо, в частности, объясняет Зыбину:

«— ...В обществе вас оставлять рискованно — надо изолировать. Ну и изолируют. Через военную прокуратуру в Особое совещание. Справедливо ли это? По классической юриспруденции — нет, а по революционному правосознанию — безусловно. Гуманно ли это? В высшей степени! Ведь цель-то, легко сказать, какая! Счастье будущих поколений!! За нее ничего не жалко!

— Это кому же не жалко? Вам, что ли?

— Не мне! Не мне! Я такой же враг, как и вы! Лучшим умам, совести человечества не жалко! Роллану, Фейхтвангеру, Максиму Горькому, Шоу, Арагону не жалко! Они люди мужественные, их кровью не запугаешь. Что вы усмехнулись?

— Ничего! Оригинально вы говорите!

— Да нет, дорогой, для нас, для старой интеллигенции, это совсем не оригинально. Нам это было обещано давно, только не больно мы в это верили. «Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть». Эту песенку нам еще в девятьсот пятом году пропели! Да и кто пропел-то? Друг Надсона! Поэт-символист Минский! А гениальный писатель пролетариата Горький уже в наши дни добавил: «Если враг не сдается — его уничтожают». Ну а вы не сдаетесь! Скандалите, синяки вон зарабатываете! Так может себя вести только нераскаявшийся враг — и, значит...

— Да нет, я согласен. — засмеялся и махнул рукой Зыбин. — если действительно все может быть сведено к этому, то я согласен.

— А вы сомневаетесь, что все уже давно сведено именно к этому? Зря! Хотя нет, конечно, не зря! В этом и есть ваше вражеское нутро, значит, вы должны быть уничтожены или, скажем мягче — мы ведь гуманисты, единственные подлинные гуманисты! — изолированы! Хорошо, если вам это понятно, то идем дальше...»

Как важна эта непроизвольно вырвавшаяся из уст героя Ю. Домбровского естественная житейская формула: чтобы идти

* Лев Давыдович — так в романе Ю. Домбровского. Речь идет о Льве Давидовиче Бронштейне (псевдоним — Троцкий) — 1879—1940 гг. **(Авт.)**

дальше — надо понять то, что было. А что же было, и разве мы не шли дальше вчера, позавчера?.. Кое-кто пытается уверить мир в том, что после Ленина все наше общественное развитие являет собой сплошную нигилятину, и усердно расставляет соответствующие вешки: от сталинизма к волюнтаризму, от волюнтаризма к застою, от застоя к перестройке. Но только такое толкование истории есть толкование предвзятое, оно искажает реальное развитие общества, принижает народ и все сводит к роли отдельно взятой личности, к роли руководителя, гораздо чаще зависимого в своих решениях от ближайшего окружения, чем от воли, желаний и жизнеустремлений народа. Впрочем, если о «ближайшем окружении» Сталина говорят хотя бы изредка и выборочно, то у Хрущева и Брежнева этого «ближайшего окружения» как бы и не существовало.

И здесь хотелось бы указать на два обстоятельства, с пониманием которых связано, как и можем ли мы успешно идти дальше. Несмотря на злокачественную опухоль упорно навязываемого народу «вождизма», переболев всеми негативными «измами», народ наш оказался нравственно и духовно не сломленным и на сегодня более здравым и готовым к революционной перестройке, чем некоторые из поучающих его «трибунов». Когда народ пытаются загнать за проволоку концлагерей и разместить его живые и мертвые души в зонах ГУЛАГа, это не значит, что с безропотною покорностью он выроет себе могилу и ляжет в нее сам. Его теснили, он оступался, но выстоял. Он не оглох от политической трескотни псевдоэмиссаров «мировой революции», не соблазнился «манией исторического величия», не заболел «тоской по чужбине», а ведь за право быть пушечным мясом в мировой рубке ему сулили бросить к ногам весь окровавленный земной шар. Не поэтому ли теперь он с легким сердцем, как от чего-то давно отболевшего, отказывается от многих «достижений» и «завоеваний» из числа тех, которыми гордились великодержавные «вожди» как личными историческими заслугами. В жизни всему есть своя мера, своя цена, и народ эту цену знает. Знает, когда ликовать, когда безмолвствовать. Выстраданные народом подвиги доблести, подвиги мужества навсегда останутся в памяти его. Но подлинная история народа была бы неполной без подвигов преодоления и небывалого напряжения его духовных и физических сил в годы поспешно-принудительной коллективизации, в годы голода и массовых репрессий, в годы оккупации, эвакуации и неоправданно-жестоких потерь в первый период войны, в годы опустошения Российского Нечерноземья и сибирских деревень, в годы экономического бесправия и социальной демагогии... Поистине великим запасом нравственной стойкости и духовной силы надо было обладать и не надломиться, сохранить свою историческую самобытность, сберечь незапятнанной душу, чтобы вновь и вновь взваливать на себя сострадательную заботу о человеческом благе и справедливости на земле.

Не берусь утверждать, что В. И. Ленин прямо учитывал значение патриотизма, силу патриотических идей, когда в гениальном предвидении теоретически обосновал возможность победы пролетарской революции в одной, отдельно взятой стране. Но он уже не мог не считаться со значением национальной самобытности, когда решал вопрос о последствиях Брестского мира. И он вплотную подошел к учету национальных особенностей народа, когда разрабатывал теорию и практику нэпа, в частности, когда призывал не спешить с унификацией кооперативных форм ведения хозяйства на селе. И совсем уж блестящий пример учета национального в социальной политике — лозунг «Вся власть Советам!». И, в сущности говоря, последовавшие после Ленина искажения в социалистическом строительстве не есть ли прямое следствие пренебрежения исторически сложившимися формами национального самосознания? Это первое обстоятельство, на которое хотелось бы указать, чтобы оно не забывалось, не игнорировалось нами в ходе перестройки. Ослабление национального и патриотического потенциала народа, тем самым извращение сути интернационализма всегда усиливают бюрократию.

И второе. Существовал и существует некий психологический феномен, ставший инструментом политического давления на сознание масс как при сталинизме, так и в годы волюнтаризма, застоя. И даже сейчас им пользуются те, кто считает гласность своей привилегией. Он прост и потому убийствен: «Ах, вы сомневаетесь? В этом и есть ваше вражеское нутро!..» Но это ли не извращение гласности и демократии?

В последнее время опубликовано несколько материалов о Хрущеве. Может быть, самое прекрасное, что было в этом человеке, при всех его личных недостатках и изъянах, это наивно-искренний революционный романтизм — черта, мимо которой жизнеописатели прошли скользком, недооценив, что этим объясняются многие его нововведения, преобразования и наконец тот энергический напор, с каким он брался за осуществление своих грандиозных и комических порой замыслов.

Почему, однако, многие заблуждения и ошибки Н. С. Хрущева не стали причиной его политического падения раньше, чем это случилось? Например, повсеместно вводимая в стране обязаловка по выращиванию заморской королевы сильно подмочила его авторитет в народе. Так же легко сошло ему с рук ослабление Военно-Воздушного Флота страны, когда в переплавку были пущены не отлетавшие свой ресурс реактивные самолеты. И даже маниловское обещание народу жить через двадцать лет в коммунизме не то что не смутило никого, но и всерьез не обеспокоило.

Программу приветствовали все и вся, присягали ей с громким «ура», как это повелось еще от Сталина. Вот типичный образчик агитационной лирики, написанной под знаком соответствия общественной потребности тех лет:

Все сказано ясно и прямо,
И все нас приводит в волненье.
Страницы партийной Программы
Читаются как вдохновенье...

Но нет, люди думающие, совестливые были всегда. И тогда знали они цену слову и умели сказать правду в тех стандартных рамках одобрения, соблюдения которых требовал официоз. Вот строки человека, который не хотел лукавить. Его метафора была как бы подтверждением того, что писатель, обращающийся к народу, и в подцензурные времена найдет способ донести правду до читателя. Документ этот достаточно краток и выразителен, чтобы привести его полностью:

«ВОТ ЧТО СВЕТИТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Каждый, кому дорого будущее человечества, с огромным вниманием читал проект Программы Коммунистической партии Советского Союза, каждый из нас говорит теперь об этом историческом документе своими словами.

Мне, как писателю, который обязан мыслить образами, хотелось бы сказать: «В прошлом было так: если тебя — пешехода — застигнет ночь в пути и далеко, далеко, где-то на горизонте, замерцает огонек пастушечьего костра, то идти до него надо так долго, что устанешь до смерти...»

А вот проект Программы светит нам так ярко, что только — тверже шаг, а путь уже не так далек... Конечно, придется трудновато, но когда же легкий путь вел к заветной цели?

Станица Вешенская.

4 августа 1961 г.».

М. Шолохов понимал, чего ждали от него. Знал он и то, что слово, несогласное с проектом Программы, напечатано не будет. И тогда писатель выделяет свои же собственные слова, берет их в кавычки, да еще предупреждает читателя, что мысль его — образная, что именно это ему бы и хотелось сказать...

Ирония последнего абзаца очевидна. Да и к чему славословие, когда «каждый из нас» читал проект и говорит о нем «своими словами», то есть не печатными. Не случаен и «пастушечий костер» — на этот крючок он как бы цепляет автора проекта; а шолоховская оценка проекта в словах: «...идти до него надо так долго, что устанешь до смерти...»

Одного такого проекта достаточно для падения любого политика, деятельность которого подконтрольна избирателям. Но чего не было, того не было. На теоретические изыскания мечтателей бюрократия обычно смотрит сквозь пальцы — до тех пор, пока намечаемые преобразования не станут для нее реальной угрозой. У Н. С. Хрущева не оказалось достаточно целостной и крепкой концепции, реальной жизненной программы перестройки. Но как только он, экспериментируя, начал заваливать сложившиеся управленческие структуры, перекраивать административно-должностную карту, приближать к себе новых людей, заносчивых уже в силу того, что они недооценивали влияния бюрократии и переоценивали значение своей близости к Хрущеву, бюрократия начала саботировать его начинания.

К чему привели годы застоя, говорить, пожалуй, излишне. Конечно, по обилию искусственно создаваемого дефицита можно судить, что мафия торговая и мафия бюрократическо-управленческая работают рука об руку. И это, разумеется, плохо. Еще хуже, что бюрократия создала зоны коррумпированной власти, навроде адыловской, рашидовской или чурбановской. Однако же и в структуре застоя это все частные, болезненные, но при известных усилиях устранимые порочные явления. Пагубным для страны оказалось то, что бюрократия перераспределила в своих интересах управленческие функции. Не взятка сама по себе, какая бы крупная она ни была, а ведомственность сделала бюрократа всесильным. Ведомственные противоречия, позволявшие глушить всякую живую инициативу и попирать справедливость, стали ощутимо влиять на решения государственной власти; одновременно они как бы превратились в средства достижения бюрократических целей, в инструмент власти бюрократии (точнее — в инструмент нажима на власть).

Можно ли представить вред ведомственной разобщенности и межведомственной неразберихи, не прибегая к статистическим данным, истинность которых до недавнего времени была тоже ведомственна и потому сомнительна? Как оперировать не цифрами, а вещественными понятиями, хорошо известными каждому из нас? Интересный пример дает в своем выступлении секретарь правления Союза архитекторов СССР Вячеслав Глазычев («Огонек» № 33, 1988 г.) — по его мнению, свет истины падает на предмет нашего разговора еще от нэпа:

«Успев оживить жизнь в городе, нэп не успел изменить ее ткань. Начался процесс, который многие мои коллеги упорно именуют урбанизацией, тогда как с начала 30-х годов мы в действительности имеем дело с интенсивной индустриализацией, сопровождаемой строительством гигантских «фабричных слобод» при промышленных предприятиях. Подмена смысла огромная, принципиальная. Строительство новых городов оказалось **делом ведомств**. Строительство в старых городах также оказалось прежде всего **в руках ведомств**. Город как **административное** целое существует, города в качестве **социального целого нет и не могло быть**» (разрядка моя. — **В. Г.**).

Пример, как говорится, из профессиональной сферы, но ведь недаром кто-то назвал архитектуру овеществленной нравственностью. Чем точнее образ, тем более универсальный характер проявляется в нем. И разве речь здесь только о городе? А, например, область... как административное целое существует, а область в качестве социального целого?.. Или — республика, если брать по восходящей; или — в другую сторону: завод... район... село?.. Исключения здесь возможны, но они скорее подтверждают правило, чем наоборот. Вот и получается, что сегодняшняя перестройка есть не что иное, как борьба за социальную целостность нашей жизни.

Борьба-то борьба, но механизм хозяйственно-экономической доктрины перестройки включен на прямую передачу, а сцепление буксует. Горит ферродо, как говаривали в старину. И ясно почему. Бюрократия демонстрирует свои мышцы, она тормозит дело чем и как может, давая понять, что без нее перестройка не пойдет. К сожалению, это не пустая угроза.

Сломать хребет бюрократии как социальному явлению в одночасье вряд ли удастся. Ведь очень многие люди до сих пор смотрят на бюрократа как на туповатого чиновника с заплывшими глазками и лоснящейся от жира мордой. Обыватель полагает, что то кровососущее, которое сидит перед ним в нарукавниках и цветными карандашами накладывает резолюции на бумагах, считает в уме рублишки, трешки и лишь в силу умственной своей неспособности не способно решить его дело. А кровососущее давно уже стало плотоядным и в умишке своем ворочает не рублями и не червонцами, а тысячами и сотнями тысяч рублей. Количество бюрократа, по известному закону, переросло за годы застоя в новое качество. И это означает, что следователь Т. Гдлян, корчующий со своей бригадой рашидовские пустоши, хотя и собрал и вернул государству несколько миллионов и, может быть, еще соберет и вернет в народную казну несколько раз по стольку же, но все равно это будет капли по сравнению с тем, что замуровано в сухих колодцах. Коль скоро в частных руках (и

уже неважно, бюрократ это или «авторитет» — главарь мафии, банды или подпольного синдиката) произошло накопление капитала, то этот капитал неизбежно будет стремиться к легализации и скорее добьется изменения закона в свою пользу, чем сгниет втуне.

Не требуется почти никакой фантазии, чтобы представить, как, какими путями может осуществляться и уже осуществляется (скажем, через масштабное предпринимательство отдельных кооперативов) такая легализация. Вернемся еще раз в этой связи к статье Вл. Соколова о бюрократии и бандократии. Он пишет:

«Мы клянем бюрократа как врага перестройки. Но коррумпированный чиновник — еще и потенциальный покровитель, он же покорный слуга самых высокоорганизованных видов уголовной преступности. Дело тут не только в том, что взяточнику безразлично происхождение взятки, а и в том еще, что «авторитет» не хуже казнокрада обеспечит бюрократу возможность паразитировать на труженике и тем сохранит его, бюрократа, социальный статус. А то и укрепит его против прежнего. Чем? Да тем, что мафия всеми силами будет сохранять на посту удобного ей чиновника и уж в этом не остановится ни перед подкупом, ни перед запугиванием избирателей, ни перед устранением излишне честного конкурента».

Наблюдение верное. Странен, однако, конечный вывод, к которому приходит Вл. Соколов. Странен, неожидан этот вывод своею подспудною мыслью, звучащей пусть как невольный, но... призыв оберечь «родимую бюрократию» — а не общество, не народ! — от происков мафии, рвущейся к государственной власти.

«Если продолжать отмахиваться от очевидного, — говорит он, — если позволить смонтироваться параллельной (государственной власти) пирамиде организованной преступности, то как бы не отодвинули нахрапистые «крестные отцы» известную часть номенклатуры от рычагов управления обществом. Как бы не начала вытесняться родимая наша, исконная бюрократия бандократией, властью бандитов».

И патетически завершает:

«Это не такое уж безумное предположение».

Не безумное. И не предположение. Это — предупреждение! По последовательности автору не хватило. Нельзя же, в самом деле, всерьез думать, что если бодливому быку сшибить рога, то он станет смирным теленком. Бандократия потому и обрела угрожающую силу, что она нужна бюрократии как инструмент устрашения и давления на власть.

Надо ли, если сказанное соответствует действительности, спасать нашу «родимую бюрократию» от мафии или все-таки озаботиться в первую очередь решением правовых проблем, энергичной защитой конституционных прав граждан, обеспечением действенных гарантий при исполнении ими служебных обязанностей и участии в общественной деятельности?

Примеров нарушения таких гарантий или отсутствия их можно привести немало. Вот майор милиции А. Ярцев, работавший в отделе БХСС УВД Чимкентского облисполкома, возбудил несколько уголовных дел по крупным хозяйственным преступлениям, но завершить эти дела пришлось его коллегам, так как сам А. Ярцев за «активность» был обвинен во взяточничестве и арестован.

И лишь после третьего судебного разбирательства ему был вынесен оправдательный приговор.

«Могу только догадываться, — пишет он в «Советской культуре» (№ 103, от 27.08.1988 г.), — какие люди и силы стояли за всем этим, и предполагать, насколько серьезны были мои противники. Как бы то ни было, ясно одно — они сумели без особых даже усилий пустить сегодняшний правовой механизм в ритме и направлении 37-го года. Политическая атмосфера общества не позволила им довести дело до конца, осудить и лишить меня свободы на длительный срок. Но не помешала им скомпрометировать меня, лишить возможности продолжать свою работу...»

Мы обычно радуемся таким финалам: все же — победила справедливость. Невиновный человек оправдан, свободен, восстановлен в должности и т. п. Конечно, это хорошо. Но оснований для беспокойства и тревоги не меньше. Вопрос в том, восторжествовала ли правда? Ведь неявная сила, организовавшая расправу над конкретным А. Ярцевым, осталась противником не менее грозным, серьезным и... не изобличенным. Чего же ждать от нее майору и таким, как он, завтра?

Советник юстиции Е. Овчинников приехал работать в Сузун Новосибирской области районным прокурором. Начал он профессионально и принципиально. Может быть, поэтому первые же уголовные дела, связанные с хищениями, которые он возбудил, в свою очередь, возбудили к нему раздражение районного начальства. Не всем понравилось, что новый прокурор больше руководствовался требованиями закона, чем предупредительными советами и пожеланиями работников райкома партии. Года не прошло, как об Овчинникове стало «складываться» мнение как о человеке, который «не умеет построить отношения в районе».

Банальнейшая, в общем-то, ситуация: человек пришелся со своей принципиальностью «не ко двору». И не стоило бы об этом много говорить, если бы не одно обстоятельство, связанное с атмосферой перестройки.

Однажды Е. Овчинникову сообщают, что коллектив фермы села Мереть единогласно избрал его кандидатом в народные депутаты. Ему бы радоваться, а он недоумевает: как же так, почему никто не спросил у него даже формального согласия? И едет неугомонный прокурор в Мереть, встречается с выдвинувшим его коллективом, интересуется, кто из присутствующих хоть что-то знает о нем и чем он заслужил такое доверие — быть народным избранником? А кто и что может о нем знать, если до этого люди даже в лицо Овчинникова не видели. Сказали им, что прокурор, а прокурору по должности, дескать, положено депутатство.

Извинившись перед избирателями за тех, кто допустил формализм и обезличку, сузунский демократ рассказал о себе, не утаил, что есть у него выговор по работе, что в районе он недавно, что отношения с начальством у него неровные, и заявил, что при таком положении он просто не имеет морального права на выдвижение.

Любопытно, однако, что избиратели на этой встрече прониклись доверием к Овчинникову и подтвердили свое решение о выдвижении его кандидатом в депутаты. Естественно, после этого окрыленный прокурор пишет в райисполком о своем согласии баллотироваться, но не ведает того, бедолага, что его история, очень демократическая и законная, приняла, как посчитали в

райкоме, нежелательную политическую окраску. Даже какую-то вызывающую. Выходит, один Овчинников в Сузуне перестроился, а остальные нет... И посоветовали Е. Овчинникову написать еще одно заявление — об уходе. Что ж, написал. Теперь будет знать, как перестраиваться... Но знать будет в другом месте и в другой должности.

Бюрократия всех мастей, рангов, национальностей сильна своей неподконтрольностью народу. На этом она стояла и стоять будет, но это и ее ахиллесова пята. Разваливать такую пирамиду снизу, в местных, как предлагает И. Васильев, масштабах — по камешку, по кирпичику — затея почти безнадежная. При массированном наступлении на нее на местах бюрократия, конечно же, пойдет на незначительные уступки. Она не станет держаться за изжившие себя формы. Но, нарастая за счет отлаженных связей вновь и вновь, система при каждом удобном случае будет провоцировать осыпи и обвалы, дискредитировать наиболее активных сторонников перестройки, расправляться с ними.

Выход поэтому только в одном — в намеченной партконференцией централизованной реорганизации политической системы страны на подлинно демократической основе, в создании структуры народовластия, подконтрольной народу. Представляется, что депутат должен получать от избирателей не красивый значок, не право на бесплатный проезд в трамвае, а мандат на контроль над властью. Власть же, в ее нынешнем понимании, лишенная контрольно-законодательных функций, вполне могла бы удовольствоваться исполнительскими полномочиями. Всем, от прораба в трудовом коллективе до министра в правительстве, такие полномочия должны даваться по договору, по трудовому соглашению с Советами, делегированными народом.

Стремясь к этому, надо отбросить всякую иллюзорность, оставить прекраснодушные мечты о какой бы то ни было абстрактно-идеальной власти, — в рамках государства таковой просто не может быть. Кроме того, со временем любая новая форма власти делается консервативной. Однако, даже с учетом этого, изрядная польза произойдет уже из того, что новая структура в силу естественного роста, самоутверждения неизбежно разрушит старую бюрократическую пирамиду... Вопрос только в том, как удачно и в кратчайшие сроки пройти между сциллой и харибдой, то есть сохранить радикальный характер перестройки, не поддавшись, с одной стороны, соблазну «осмотрительного» промедления, что привело бы к сползанию в болото застойности, а с другой — избежать опрометчивости, риска непродуманных решений, забегания вперед, когда спешка в перестройке может обернуться усмешкой над ней. Из возможных вариантов наиболее предпочтителен тот, при котором смелые, решительные, даже дерзкие преобразования отвечают устремлениям народа и совершаются без промедления. Необходимость таких решений подсказывают революционное время, революционная ситуация.

Что же до тех столичных «трибунов», над которыми иронизировал И. Васильев, то низведение борьбы с бюрократией до уровня защиты народа от «местных» самодуров им на руку. Оно выгодно уже тем, что как бы освобождает их от необходимости бросать открытый вызов не бюрократии вообще, а бюрократии конкретной, персонифицированной, отношения с которой устоялись и которая какая-никакая, а все же пока при власти.

II. О демократии и гласности

Сегодня печать наша нуждается не просто в гласности, в объективности, в стремлении к правде и истине, ей необходимы большая партийная принципиальность и широчайшее представительство народных мнений, народного понимания жизни. Письма трудящихся, читателей, публикуемые практически всеми средствами массовой информации, лишь первый шаг в этом направлении. Эффективность его еще недостаточно высока, ведь даже в тех изданиях, где печатаются десятки и сотни писем, тысячи и тысячи оседают в редакционных архивах. Читатели не знают, кто и занимается ли сравнительным анализом или социологическим исследованием их почты. Письма же, которые увидели свет, отражают лишь малую часть мнений, да и само соотношение читательских позиций работает подчас на амбиции издателей.

К примеру, идет обсуждение такой острой и жизненно важной проблемы, как повышение цен на продукты питания и товары первой необходимости. Кто-то видит в этом панацею от всех бед нашей экономики; кто-то убежден, что при новом повышении цен лучше станут жить те, у кого тугой кошелек, а народу придется затянуть ремни. Однако ни в одном издании мы не прочли пока, сколько же читателей, представители каких слоев поддерживают ту и другую точку зрения и почему именно. При известной бесконтрольности манипулирование общественным мнением может стать опасным оружием против демократии в руках нечистоплотных. Наблюдаемая нетерпимость одних печатных органов по отношению к другим, в которых высказывается иная точка зрения по самым разным проблемам, лишь усиливает это опасение.

Развивая демократию и гласность, средства информации выполняют революционный долг. Но именно поэтому достоверность и честь печатного и эфирного слова, его духовная наполненность и нравственная весомость должны быть вне сомнения. А сомневаться порой приходится. Такое впечатление, что отдельные «трибуны», пожалуй, раньше И. Васильева поняли, что «побуждение народа к революционной мысли и действию» чревато необходимостью делиться с пробужденными и властью, и демократией, и, разумеется, своим положением в институтах гласности.

Воспрепятствовать пробуждению народного сознания с точки зрения объективной истории уже нельзя, — процесс пошел, как говорят технологи, и остановить его можно, только заглушив самое перестройку. Но можно всячески сопротивляться процессу, пытаться затормозить его. Известны отработанные методы, и один из них — напугать обывателя, устроить нечто вроде показательной «охоты на ведьм». И вот что примечательно: если до слова «мафия» газеты добрались лишь на четвертом году перестройки, то мифы об устрашающей угрозе со стороны «люберов», например, или от общества «Память» были запущены в печатный оборот сразу же, как открылись ворота гласности.

Что оказалось на самом деле? «Люберы» вовсе не собирались терроризировать «металлистов», «панков», длинноволосых, и даже с «рокерами» они мирно уживались. А можно ли ставить молодым ребятам в вину желание неоригинальничать, стремление быть сильными, ловкими, мужественными? Жупел «Памяти» витает на страницах печати до сих пор, дискредитируя глубоко патриотические чувства людей разных национальностей, которых единит не

только историческая память Отечества, но и деятельная любовь к нему. Теперь видно, да и тогда это было понятно, что экстремизм отдельных деятелей «Памяти» без труда поддавался беспристрастному журналистскому анализу и критике, но вместо этого мы получили критиканство и навешивание политических ярлыков. И как результат, Валентину Распутину досталось на орехи только за то, что о крепко побитой нашей печатью «Памяти» он сказал. что ей «при всей нашей гласности слово для защиты... не было предоставлено». В статье А. Латыниной «Колокольный звон — не молитва» («Новый мир», № 8, 1988 г.) в связи с этим высказыванием В. Распутина есть авторская сноска, достойная внимания:

«...Нельзя не согласиться с этим, — пишет она. — И в самом деле странно: спорим с мнениями, печатно не высказанными, с пересказами, со слухами. Пересказы эти и слухи симпатии к «Памяти» не вызывают, но если мы отстаиваем свободу выражения мнения, свободу высказывания как принцип, то прежде чем полемизировать с кем-либо, надо предоставить ему возможность изложить свои взгляды публично. По-моему, тут азбука демократической печати. С этой точки зрения статья против «Памяти», с платформой которой не только читатель, но и автор часто не знаком, мало отличаются от давно осмеянных выступлений против «Доктора Живаго»: «Я не читал, но скажу».

Но еще больше внимания — как прекрасная иллюстрация к сказанному нами выше — заслуживает мнение читательницы С. Цимберовой, опубликованное газетой «Советская культура» (№ 105 от 01.09.1988 г.) под названием: «О статье А. Латыниной в августовском номере «Нового мира». Приведем это мнение полностью:

«— Автор высказывает мнение, что лидерам общества «Память» нужно предоставить возможность публично высказывать свою позицию, а пока, дескать, ни читатель, ни сама Латынина не понимают, что же за платформу это общество провозглашает.

Позволю высказать опасение — а не привлекут ли к ответственности редакции газет, опубликовавших на своих страницах декларации общества «Память» за пропаганду национализма и антисоветчины?»

Право, неловко как-то читать и непонятно, что за нужда заставляет «Советскую культуру» вводить читателей в заблуждение»: С. Цимберова высказывает свое мнение всего лишь об одном абзаце статьи А. Латыниной, да и то в сноске, газета же подает материал так, будто вся статья А. Латыниной посвящена «Памяти». Конечно, редакция могла не читать статью в «Новом мире», но хотя бы с одной этой сноской следовало познакомиться, чтобы не позволять на своих страницах мелких передергиваний. Для примера: А. Латынина не говорит о «лидерах» «Памяти», а точки зрения лидеров и «платформа» общества могут ведь резко не совпадать. Есть, мне кажется, определенная разница и в выражениях: «высказывать свою позицию» (Цимберова) и — «изложить свои взгляды» (Латынина), так же, как есть эта разница между однократным и многократными действиями. Другие несоответствия, думаю, читатель увидит сам, сравнив суть и смысл текстов. Во всяком случае, то, что «Советская культура» устами С. Цимберовой высказала не просто «опасение», а и угрозу, предупреждение другим редакциям не публиковать «деклараций» общества «Память» — совершенно очевидно. Ведь опасение высказывает человек просвещенный, знающий, что говорит, профессионал. И тем не менее точку зрения юриста С. Цимберовой вряд ли можно признать убедительной.

Различные мнения по острейшим и спорным проблемам демократичности печати не вредят и не противоречат. Но нас как бы отучают от этой азбуки, когда мы встречаемся с обязательным единомыслием, с проявлениями группового амбициоза, с самовластным «не пущать!» в адрес супротивного мнения, с лживыми утверждениями и оскорбительными выпадами, с эмоциональной невоздержанностью и откровенным неуважением к оппоненту.

Презрением к азбуке демократической печати, видимо, объясняется и один из самых расхожих мифов наших дней — о «врагах» перестройки. В некоторых изданиях, за которыми с чьей-то легкой руки утвердилось название «средства быстрого реагирования», несмотря на такой сарказм, «врагов» выискивают с полной серьезностью и с таким яростным рвением, что даже неискушенному читателю искренность многих разоблачительных сентенций в адрес «врагов» кажется сомнительной. О «врагах» наговорено уже столько, что дрожь по коже, а административным органам давно пора применять к ним превентивные меры — такой нагнетается страх. А может, у кого-то двоится, троится в глазах? Может — «медведь орет, а сам дерет...»?

Ответ на это требует особой деликатности. Скажешь так или этак, а тебя тут же упрекнут в необъективности, в тенденциозности. Народ ведь у нас грамотный, знает, что все в этом мире относительно. Нужны факты и аргументы, достаточно весомые и как бы не зависящие от авторского к ним отношения. Что ж, давайте обратимся к «Аргументам и фактам» (№ 32, 1988 г.). Директор Института социальных исследований АН СССР, доктор философских наук В. Иванов обстоятельно представляет здесь результаты социологических исследований, проведенных в прошлом году и в нынешнем и отражающих, в частности, отношение к перестройке рабочих, ИТР, служащих, руководителей разных рангов... в динамике.

Надо полагать, что на вопрос: «Какова ваша личная точка зрения относительно необходимости происходящей в стране перестройки?» — люди, относящиеся к ней как «враги» или весьма неприязненно, неприятельски, положительный ответ вряд ли дадут. Ведь по логике «врагов» и при известных гарантиях анонимности ответов такие люди не должны упустить шанс мазануть по перестройке дегтем. Но вот мнение большинства опрошенных: «Это крайне необходимая, вызванная объективным состоянием дел мера»; «Это полезная, хотя объективно не столь уж необходимая мера» — к числу опрошенных (более одиннадцати тысяч человек!) это составляет соответственно 80,6 и 10,1 процента.

Отрицательное отношение к перестройке, сформулированное даже не в категорической форме — «Не вижу в перестройке особой необходимости», — высказали 3,5 процента от числа опрошенных. Здесь и просто сомневающиеся, и тормозящие перестройку по тем или иным причинам силы бюрократического толка, и пресловутые «враги», если они только есть...

При всей относительности полученных в результате опроса данных нельзя не видеть, что число людей, настроенных к пере-

стройке не то что враждебно, сугубо отрицательно, а просто нейтрально, настолько мало, что не идет ни в какое сравнение с тем воображаемым враждебным сопротивлением, которое рисуют отдельные «трибуны». Если читателей опять запугивают, как это было в годы, предшествующие сталинским репрессиям, то возникает вопрос: зачем? Если их не запугивают, то как еще назвать такую погоню за «ведьмами»?

Но встанем мысленно на сторону тех, кто этим занимается. Предположим, что все, что они делают, они делают искренне. Возможно, что они страстно желают помочь перестройке, вот и разоблачают негативные тенденции. И это должно означать, что они утверждают созидательную концепцию. Что ж, коли так, то и результат созидательной работы должен быть в известной мере созидательным, положительным и т. п. Пусть не за месяц, не за два, не за полгода такой работы с читателем, пусть даже за вдвое больший срок. но в любом случае времени прошло достаточно, чтобы сомневающиеся, неверующие в перестройку, нейтральные и прочие, и прочие могли развеять свои заблуждения, сменить позиции. Иначе говоря, «врагов» должно быть больше в прошлом году, чем в нынешнем.

Однако... число тех, кто не видит в перестройке достаточной необходимости в этом году, по сравнению с прошлым, не уменьшилось, а увеличилось на полтора процента. И что особенно важно, выше стало число тех, кто отмечает «сознательную дискредитацию курса на перестройку» — 4,5 процента в 1988 году по сравнению с 3,9 процента в 1987 году. Можно добавить к этому, что подавляющее число опрошенных (63,7 процента) недостатком данного этапа перестройки считают то, что «не созданы условия, заставляющие перестраиваться», что «идет подмена реальной перестройки разговорами о ней». Неужели же все, кто так думает, — враги перестройки, а не друзья ее?

Комментируя результаты опроса, В. Иванов пишет: «Среди недостатков, обнаружившихся на данном этапе перестройки, больше. чем в первый раз, называется искажение ее сути, отход от стратегии и даже ее дискредитация. Сказывается, очевидно, нежелание какой-то части кадров проводить перестройку в соответствии с ее истинными целями и задачами».

Соглашаться или не соглашаться? Факты вещь упрямая. А вот аргументы... Смущает некоторая осторожность, оговорка, предположение, что на дискредитации перестройки «сказывается, очевидно, нежелание какой-то части кадров...». Если «очевидно», если здесь действительно прощупывается один из реальных тормозов перестройки, отчего ж было не высветить его лучом беспристрастного общественного мнения? Но ведь может быть и так, что какая-то часть кадров не умеет проводить перестройку в соответствии с ее целями и задачами? Наконец, может и так быть, что сам процесс перестройки не открывает для какой-то части кадров никаких перспектив, они ничем не заинтересованы, и тогда их «нежелание... проводить...» смотрится совсем иначе.

Впрочем, осторожность в таких комментариях предпочтительнее категоричности. Но так и кажется, что директор ИСИ идет словно по минному полю, а некуда свернуть от того возросшего «числа ответов, в которых указывается на попытки заменить дело перестройки разговорами о ней». Странно, но открывшимся фактам он, похоже, сам не очень верит. В. Иванов: «Такая опасность, очевидно, есть». Однако, «очевидное» здесь не «очевидно», а сомнительно, ибо далее читаем: «Но возможно, что такая оценка — проявление так называемой «усталости восприятия» — информации о перестройке». Вроде и другое истолкование, а на самом деле — тех же щей да пожиже влей.

«Информация о перестройке», если она объективна, правдива я, следовательно, отражает пульс перестройки в самых горячих ее точках, вряд ли может вызвать «усталость восприятия». Не от улыбок, радости жизни и созидательного труда устают люди, не строительство нового дома и не новые надежды на лучшее угнетают их, а всякого рода хмурь да перехмурь, чернота, раздражающая тенденциозность и ничегонеделанье тех. кто может и должен делать много, а главное, честно и решительно. «Усталость восприятия» накапливается от «забалтывания» перестройки. И это опасно. Когда скорость включена — нельзя на скользкой дороге выжимать сцепление и смотреть, что из этого выйдет. То же выйдет, если дорога гласности будет обставлена ложными информационными знаками.

И все-таки, поскольку опыт такого рода социологических исследований для нас дело новое, мы можем быть удовлетворены тем, что ответы даны и зафиксированы с прямотой и точностью, с какой поставлены сами вопросы. Могут нравиться или не нравиться комментарии к ним, но в осторожном лаконизме директора Института социальных исследований есть своя логика. Настоящий профессионализм вообще не терпит поспешности и субъективизма. А общественное мнение — материя тонкая, трактовка его, как бы подталкивающая нас к решениям, особо ответственна. Волевой нажим здесь, от кого бы он ни исходил, может исказить реальную картину. Надо ли нам это? Мы ведь только выходим и выходим из мира кривых зеркал.

Определить новый путь общественного развития — задача коллективного разума и совести каждого из нас. Но по старой привычке мы нередко все еще перекладываем решение этой задачи на других, прячемся за соседа, за авторитет и полномочия партии. А сейчас, в ходе перестройки, если кому и трудно, то труднее всего как раз партии. Провозгласить реальное право на гласность, на демократию — это полдела, этого мало, надо еще поднять людей на борьбу за это право, надо гарантировать реализацию этого права не для отдельных слоев общества, не для привилегированных групп, а для всего народа. На XIX партконференции партия это обязательство подтвердила принятием программных резолюций. Сами эти резолюции — о демократизации общества и реформе политической системы страны, о борьбе с бюрократизмом, о межнациональных отношениях, о гласности, о правовой реформе — не только мандат доверия партии, решительная поддержка курса на перестройку, но и свидетельство объективных противоречий, преодоление которых и будет означать меру нашего продвижения.

Нельзя недооценивать опасности того, что подстроившаяся к перестройке бюрократия нередко выступает под флагом перестройки. Считаясь с жесткими реалиями времени, бюрократия формально готова если не принять, то ратовать за демократию. Но демократию ей подконтрольную. В этом весь фокус. Кое-кому кажется заманчивым и, наверное, возможным иметь одну демократию и свободу для себя, а другую — для всех прочих, одну, так

сказать, для головы, другую — для ног. Старая, избитая, не раз исторически скомпрометировавшая себя доктрина — разделяй и властвуй! Чудовищно маловероятно, чтобы в наше время кто-то из «трибунов» рискнул высказывать или отстаивать ее открыто. Разве что в расчете на незрелость пока самой демократии или на такое своеволие в средствах гласности, что дальше ехать некуда. И тем не менее.

К печати доперестроечного периода можно отнести серьезный упрек в том, что, будучи чрезмерно официозной, она не договаривала всей правды о жизни общества; однако в том, чего печать не утаивала, о чем не молчала, она бывала близка к правде и правдива хотя бы на уровне той информации, какой располагала и какую удавалось протиснуть сквозь регламентирующую вертушку цензурных ограничений. Тут, как говорится, не всё вина, а и беда. Но как, чем объяснить сегодняшние манипуляции с правдой, которые никаким внешним давлением не инспирированы? Неужели только тщеславием авторов и амбициями редакционных сотрудников?

Вот рядовой пример из текущей периодики. Редактор отдела морали и писем журнала «Огонек» В. Юмашев опубликовал в «Огоньке» (№ 46, 1987 г.) обзор писем читателей, в котором говорится:

«Не успела еще, кажется, высохнуть типографская краска на белорусском журнале «Политический собеседник», навесившем ярлыки и смешавшем в одну кучу роман А. Рыбакова «Дети Арбата» и рецензию на него, творчество Марка Шагала, прекрасный спектакль по пьесе М. Шатрова «Диктатура совести», созданный ребятами из минской школы № 93, и, естественно, журнал «Огонек», так тут же, немедленно, из Минска, Белгорода, Витебска, Гомеля, Бобруйска и даже села Белынковичи, со всей Белоруссии к нам полетели письма с вложенным внутрь журналом, с просьбой достойно ответить на эту странную публикацию...»

Кажется, ни слова неправды здесь нет. Звучит все убедительно. И конечно, на странную публикацию отвечать надо. И желательно — достойно!

Но отчего достоинство пришлось соблюдать «Политическому собеседнику» (Минск), а не «Огоньку»? Не потому ли, как утверждает «Политический собеседник» (№ 4, 1988 г.) названием своей статьи, что — «Единожды солгавшему не поверят»? Журнал объяснил своим, видимо, не менее возмущенным читателям, что вопреки утверждениям «Огонька» — «статьи, где все было бы «смешано в одну кучу», в «Политическом собеседнике» не было. В журнале ни слова не сказано про роман А. Рыбакова «Дети Арбата» и какую-то рецензию на него, ничего не говорится про «Огонек». Все это высосано из пальца В. Юмашева. В статье «Украденный фонарь гласности», — уточняет редакция «Политического собеседника», — говорилось не о творчестве Шагала, а об использовании гласности с целью развертывания «шагаломании», а также о попытке растления школьников посредством постановки не «прекрасного», а скандального спектакля по пьесе М. Шатрова...»

Холодность тона в ответе «Политического собеседника» бросается в глаза. Но издержки «обиженного» легче понять, и они простительнее, чем воинственное высокомерие «Огонька». Надо учесть и то, что редакция «Политического собеседника» была вынуждена поднять перчатку уже после того, как обратилась сначала к третейскому судье — «за помощью в редакцию журнала «Журналист». Оттуда сообщили: «С вашим письмом ознакомлены руководители «Огонька». О дальнейшей судьбе письма сообщим дополнительно». Прошло два месяца, — констатирует «Политический собеседник». — Ответа не последовало».

Факт исчерпывает комментарии. Вероятно, «Огоньку» выпады против коллег из «Политического собеседника», вводящие читателей в заблуждение, представляются несущественными. Во всяком случае, ничего порочного для себя в такой эскападе в адрес белорусского издания «Огонек» не признал. Можно, правда, предположить еще, что «новый» «Огонек», склонный считать себя более коммерческим, нежели, допустим, юридическим изданием, не знает, что распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений (УК РСФСР, ст. 130) называется клеветой и потому так легкомысленно относится к некоторым из своих публикаций.

Тут-то как раз и требовались бы комментарии. Но и их вполне может заменить заявление редакции «Огонька», сделанное в № 24 за 1988 год хотя и по другому поводу, но весьма красноречиво свидетельствующее о всей полноте нужных редакции знаний. Вот текст этого весьма примечательного заявления:

«ОТ РЕДАКЦИИ: 3 июня на пленуме МГК КПСС в присутствии руководителей страны и партийного актива столицы директор Института истории партии МГК и МК КПСС З. П. Коршунова обвинила не приглашенного на пленум писателя А. И. Гельмана в публикации идейно порочной статьи на страницах журнала «Огонек».

Во-первых, мы не публикуем идейно порочных статей. Во-вторых, мы очень хотели бы иметь А. И. Гельмана среди своих авторов, но он, увы, не печатается у нас. В-третьих, даже искреннее неприятие нынешней позиции «Огонька» должно сочетаться с уважительным отношением к фактам. Распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений (УК РСФСР, ст. 130) называется клеветой. О чем и доводим до сведения З. П. Коршуновой».

Думаю, читателям ясно, что «Огонек» здесь погрозил своим лощеным кулаком З. П. Коршуновой, а в ее лице и многим другим, кто имеет свои претензии к журналу. Не смейте трогать, не смейте обвинять нас... в присутствии руководителей страны. И в этом смысле «Огонек» понять можно. Не ясно только, к чему такое показное возмущение. К чему сожалеть, что редакция «не имеет» А. И. Гельмана «среди своих авторов»? Ведь если «Огонек» в самом деле не публикует идейно порочных статей и не собирается их публиковать, то как он будет «иметь» на своих страницах А. И. Гельмана? А уж защищая его публично, «Огонек» непременно бы объявил об идейной непорочности той самой статьи, на которую ссылалась З. П. Коршунова. Объявил, если бы были к тому основания.

Если бы «Огонек» назывался «Юпитером», очень к месту пришлась бы старая-старая истина: ты сердишься — значит, ты не прав. И куда более был бы прав, если бы с такой же прокурорской категоричностью ответил на претензии «Политического собеседника». И признал бы, что З. П. Коршунова, пользуясь терминологией «Огонька», «обвиняла» «не приглашенного (подумайте

только! — В. Г.) на пленум писателя» вовсе не в том, что он выступил на страницах «Огонька», да и не обвиняла вовсе, а говорила о сомнительной ценности для дела перестройки некоторых его идей, заявленных в печати. И, положа руку на сердце, спросим: сама ошибка З. П. Коршуновой в ссылке на источник, весьма примечательная, впрочем, достойна ли обвинений в клевете и угрозы применения УК РСФСР, ст. 130?

Сочетая, по призыву редакции, «искреннее неприятие нынешней позиции «Огонька»... с уважительным отношением к фактам», следует сказать, коль этого не сделал столь правдолюбивый «Огонек», что на пленуме МГК КПСС кандидатура А. И. Гельмана была предложена Э. Климовым и М. Ульяновым для включения в список для голосования по выборам делегатов на XIX партконференцию. З. П. Коршунова выступила с отводом А. И. Гельману, и коммунисты — члены пленума МГК КПСС — поддержали ее своим голосованием.

В колонке редактора («Огонек», № 11, 1988 г.) в заметке «По праву демократии» В. Коротич писал, призывая читателей «оставаться товарищами по общему делу перестройки», что... «даже сходясь в споре, мы обязаны уважать друг друга». А уж расходясь, надо полагать, тем более! Да и как не зауважаешь товарища, когда он стоит над тобой с Кодексом.

Оплошности в печати бывают. Мимо них можно пройти с пониманием, можно проигнорировать, но когда они тенденциозны, на них нельзя не указать. Ведь вот, говоря о «праве демократии», призывая читателей к этому праву, главный редактор «Огонька» В. Коротич почему-то бывает очень недоволен «странным», на его взгляд, желанием читателей-правдолюбов — после их знакомства с очередным номером «Огонька» — «написать о своем отношении к журнальной публикации именно жалобу — и «на самый верх». Ну почему, скажите, если некоему грамотному человеку не нравится опубликованная у нас статья, ему не обратиться к нам, не поспорить?»

Какая великолепная наивность! Ну не понимает, никак не может понять главный редактор массового издания своих «грамотных читателей»: чего им еще надо, чего пишут?! Ведь он же разъяснил, что и «с самого верха» жалобы на «Огонек» все равно спускаются вниз, то есть опять же к нему, Коротичу... Но теперь непонятно уже нам, читателям: почему со стола редактора жалобы эти, хотя бы пропорционально количеству поступивших, не попадают на журнальные полосы? Глядишь, «грамотный читатель» и повеселел бы! Но где уж тут смеяться, когда над ним смеются. В. Коротич пишет: «Часть наших читателей продолжает верить, что разрешения на критику выдаются, будто охотничьи лицензии, а без них, без согласования-позволения, трогать кого бы то ни было запрещено...»

Ах, полноте, Виталий Алексеевич!.. Читатель-то, как вы верно заметили, грамотный! Он и без того знает, пользуясь вашей же терминологией, что браконьерствующим никакие лицензии не нужны. Возможно, кто-то из них, читая ваши печатные уверения в уважении «к руководителям страны» и вспоминая ваше прежнее уважение к прежним руководителям, в чем-то и засомневается, но ведь это их дело — сомневаться или верить, что у нынешнего руководства есть «достаточно забот, кроме тех, что пробуют навязать им амбициозные любители исключительно приказного выяс-

нения истины». И это их, читателей, дело верить или не верить вашему приглашению: «Но если вам что-то нравится или не нравится в «Огоньке», давайте разговаривать в открытую, и прежде всего между собой, на страницах журнала».

Обольщаться на этот счет нет оснований. Об этом говорит история с «Политическим собеседником». И история с угрозой З. П. Коршуновой. И даже... жалоба самого В. Коротича на жалующихся в верха читателей. Ведь разговора «в открытую» (!) на страницах «Огонька» нет и нет. А как это могло бы выглядеть, читатель представит по публикации открытого письма секретарей правления Союза композиторов СССР главному редактору газеты «Советская культура» (№ 72, от 16.06. 1988 г.). Там под названием письма набрано: («Копия в ЦК КПСС»).

Демократия, гласность, перестройка невозможны без гуманизма в наших нравственных уложениях и устремлениях, без правды, честности, принципиальности. Трудно вообразить, например, гуманиста и нравственника-гинеколога, который уговаривал бы женщину с беременностью без патологии сделать кесарево сечение. Уговорить на такую операцию можно. но ради чего? Ради наслаждения чужой болью, чужими страданиями? Трудно представить и редактора журнала, который призывал бы читателей обращаться в редакцию со всеми своими недоумениями и жалобами и вместо публичного их обсуждения клал бы их под сукно. И хотя перестройка не роженица, но лишние страдания ради удовлетворения чьего бы то ни было болезненного самолюбия ей не нужны.

Возможно, приведенные факты покажутся кому-то частными, «щепками» в той большой рубке, которую ведет «Огонек». Настаивать на ином прочтении неловко — вольному воля. Но нелишне сослаться на ответ Гостелерадио СССР, опубликованный в газете «Советская культура» (№ 72 от 16.06.1988 г.) — «О чем умолчал Эльдар Рязанов». Нас больше интересует сейчас вступительная часть письма, которую вполне можно назвать так: «О чем умолчал «Огонек».

Руководство Гостелерадио СССР пишет:

«Взяться за перо нас заставила статья Э. Рязанова «Почему в эпоху гласности я ушел с телевидения», опубликованная в «Огоньке» № 14.

Может возникнуть естественный вопрос: почему ответ в газете «Советская культура», а не в самом «Огоньке»? Мы как раз на это и надеялись, когда полтора месяца назад попросили именно «Огонек» напечатать наш ответ. Трижды нас уверяли, что материал будет поставлен в очередной номер. Последний раз, устав от ожиданий, мы решили официально отозвать ответ, но в редакции «Огонька» стали уверять нас, что это сорвет выпуск номера, лишит людей премии и т. д. Мы поверили и снова были обмануты. «Огонек» вышел без нашего материала. Видимо, в этом журнале демократию понимают как улицу с односторонним движением. При сложившихся обстоятельствах мы решили опубликовать наш ответ в «Советской культуре»...»

Если даже Гостелерадио СССР не может пробиться с ответом на страницы этого, не самозакрытого ли для критики, издания, то что говорить об организациях помельче или о рядовых читателях? А дело, действительно, доходит до смешного: «Огоньку» отвечают и опровергают его уже... многотиражные газеты. О том, как понимают демократию в этом журнале, можно судить и по тому,

что стоило только руководству Гостелерадио СССР возразить «Огоньку», как на его страницах тут же, хотя и по иному поводу, нашлось место «колкостям» в адрес отдельных руководителей Гостелерадио СССР. Впрочем, есть примеры более вопиющие. Грузинский писатель Г. Панджикидзе пишет в своей статье, что он, выражая принципиальное несогласие с позицией «Огонька», отозвал из этого журнала свой рассказ, хотя и имел очень лестный отзыв В. Коротича. Однако последний, ничтоже сумняшеся, сообщает своим читателям («Огонек», № 47, 1988 г.) нечто противоположное: Г. Панджикидзе раздражен, якобы тем, что редакция «Огонька» отклонила рассказы грузинского литератора.

Прокомментировать ситуацию (или «принципы» «Огонька»?) можно только словами В. Коротича: «Пределы правды, если они устанавливаются искусственно, — преступны, унизительны для самой правды» («Книжное обозрение», № 48, 1988 г.).

Что «Огоньку» проза Г. Панджикидзе и других современных советских авторов, когда ориентиром, эталоном шкалы ценностей ставится только проза А. Солженицына. «Номера «Нового мира» не все как подарок», — сообщают из «Огонька» и с придыханием добавляют: «Хотя разнесся слух, что они будут публиковать Солженицына...» Как, интересно, чем станут «оправдываться» другие журналы, которые Солженицына печатать не будут, но которые все-таки решатся опубликовать авторов, неугодных надзирательнице литературных вкусов из «Огонька»?..

В печати, в публичных выступлениях уже раздавались голоса, обеспокоенные тем, что идея гласности может быть дискредитирована неоправданным пристрастием к авторитарным суждениям, к однозначно-категоричным оценкам, нетерпимостью к мнениям оппонентов, тенденциозностью, искажением фактов. Кое-кому объективность, так остро необходимая в спорах, в полемике, в освещении истории и современности, необходимая вообще всегда, а сегодня особенно, дается трудно.

Считает ли «Огонек» всерьез, что все органы печати должны равняться на него?! Вряд ли, это какое же самомнение нужно! Но как понять тогда на его страницах такое «последовательное внимание» к отдельным писателям и журналам, которое можно оценить как «преследовательское»?

Если бы речь шла о людях и изданиях, с которыми «Огонек» просто не согласен, то мы, конечно, увидели бы в журнале открытый спор и полемику, сопоставление различных мнений. Точка зрения редакции оставляла бы читателям право на выбор и поддержку той или иной позиции. Это была бы демократия в действии, за которую на словах «Огонек» и его главный редактор ратуют активно. Но речь, к сожалению, о другом: о гонении не на тех, с кем «Огонек» не согласен, а на тех, кто не согласен с «Огоньком». Да и допустимо ли это: быть несогласным с претендующим на изречение истин в конечной инстанции? Когда редактор издания призывает обращаться с жалобами к нему, а не к власти, то что же — себя и собственное разумение вещей он полагает стоящими над всеми? Неужели злополучный «фонарь гласности» у него в руках?..

Образно говоря, «Огонек» «горит». Прямо-таки пламенеет от несдерживаемой страсти, когда из номера в номер публикует крикливые, полные «кухонных инсинуаций» и эстетической неразборчивости выступления женского «трио» из двух Ивановых и одной Ильиной. О таких вкусах, разумеется, не спорят. Обыватель доволен: потирает руки, смеется, хихикает. Невзыскательному уму дешевенькая сенсационность дает обильную пищу для всевозможных толков, слухов, сплетен. Посудачить всласть о тех, на кого вчера еще смотрел с уважением, это что — «перестройка» по-«огоньковски»?

А между тем взыскательного слова и анализа требует удручающая по совпадениям в акцентах, какая-то навязчивая неприязнь к журналам «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия», к таким писателям, как Г. Марков, Ю. Бондарев, М. Алексеев, П. Проскурин и некоторые другие. Но мы далеко ушли бы и от идей перестройки, и от самой литературы, если бы всерьез стали спорить с критикессами, самоуверенно сзывающими народ в своеобразный «театр абсурда», на сцене которого, по их представлениям, они «разоблачают» якобы «рутинеров» и «противников перестройки».

Воля «Огонька» — кого, каких авторов или авторш, с какими идеями печатать, но на всякую тенденциозность уже наша воля сказать: если М. Алексеев, В. Белов, Ю. Бондарев, С. Викулов, В. Карпов, Ф. Кузнецов, С. Куняев, М. Лобанов, Г. Марков, П. Проскурин, В. Распутин и другие близкие им по духу писатели и являются «противниками», то лишь противниками ярого экстремизма однонаправленных групповых сил и амбиций в перестройке.

Творчество этих писателей, при всех различиях, отличает духовная близость с народом. Именно эту духовность хотелось бы кое-кому замазать черной краской. Но ведь это нелепо и абсурдно — противопоставлять дарования художников, народность их взглядов и творческих позиций некой суперновой «народности» А. Рыбакова, например, Л. Разгона или А. Жигулина... Такое противопоставление этически несостоятельно, не говоря уже о несостоятельности смысловой. В самом деле, разве тот же А. Жигулин свою часть правды о репрессивном периоде высказал в годы волюнтаризма или даже застоя? Или он высказал не часть, а всю правду? Или есть основания считать, что развитие литературы закончится на творчестве одного из названных писателей? Нет, литература шла и будет идти к полноте правды, охватывающей реальные противоречия и конфликты жизни независимо от чьих-либо амбиций и претензий: литература шла и будет идти к этому в согласии с тем, или вопреки тому, какую меру свободы отводит общество писателю, но высказанная литературой правда не может быть — по чьей-то прихоти — «вчерашней» или «сегодняшней», она остается собой всегда.

И когда тот же Ю. Бондарев говорят, что одна из главных задач литературы сегодня — быть душеприказчиком своего народа, несогласным с ним не стоило бы так опрометчиво иронизировать. «По Далю, — раздался в «Огоньке» уличающий крик, — душеприказчик — «исполнитель последней воли покойника». И последовало высокомерное поучение Ю. Бондареву: «если он уверен, что наш народ уже покойник... то многие в этом, я думаю, сомневаются».

Между тем — и в первую очередь к сведению огоньковских надзирательниц над литературой — «Современный энциклопедиче-

ский словарь» (1988 г.) слову «душеприказчик» дает такое толкование: «— в дорев. России лицо, на к-рое завещатель (наследователь) возлагал исполнение своей воли по завещанию». Разве не очевидно у Ю. Бондарева, что смысловая, ударная нагрузка приходится на «исполнение воли» — причем воли, возложенной на литературу народом. Да, может быть, этот завет, о котором настойчиво напоминает Ю. Бондарев, не каждому литератору по нраву и по плечу, но так прямо и следовало бы сказать, а не сутяжничать попусту, не кликушествовать, если уж выражаться по-старомодному, со ссылками на авторитет В. Даля.

О том, как фабрикуется иногда «правда» на страницах «Огонька», какими методами, можно судить по фотоиллюстрации к материалу А. Аловой «Роман летел к развязке» («Огонек», № 37, 1988 г.). По сути дела, это интервью О. В. Ивинской, в котором она делится воспоминаниями о Б. Пастернаке. А. Алова акцентирует внимание читателей на печально известном собрании московских писателей, проводившемся «с целью одобрить постановление об исключении Пастернака из ССП и решить вопрос о лишении Пастернака советского гражданства». Алова обильно цитирует выступавших, но имена не названы. И в этом, думается, не последнюю роль сыграла принципиальная позиция О. В. Ивинской. Она не требовала поименной казни и поименного покаяния ни от кого. Напротив, она сказала: «Я никого не виню. Время было такое». И как бы глазами Б. Пастернака выделила она характерное для общественной атмосферы тех лет: «...политические амбиции въелись в нас, мы на все смотрим сквозь эти темные, уродующие мир очки».

Что же делает «Огонек»? Из мусорной корзины тридцатилетней давности вытаскиваются черновики официального письма Б. Л. Пастернаку с извещением о времени, месте и повестке дня заседания Президиума Правления СП СССР. Из архивной папки той же давности воровски выдираются страницы с текстом «резолюции» собрания писателей. Все это фотографируется и публикуется в журнале с лаконичным комментарием — «Кухня...»

Иллюстрируя высказывания не названных «Огоньком» писателей, «кухня» должна навести читателей на мысль, что вся кампания по травле Б. Пастернака — следствие неких закулисных интриг в недрах Правления Союза писателей. Поскольку в черновиках фигурирует фамилия Г. Маркова, то читатель, надо полагать, поймет, кто за всем этим стоял. Такова логика «Огонька». И логика, прямо надо сказать, лживая. Дело даже не в том, что в письмах, которые получил Б. Пастернак и на которых оставил свой автограф, подписи Г. Маркова нет. Есть его подпись на одном из черновиков, да и та, однако, зачеркнута. Уже одно это должно было остановить редакцию, предостеречь от неэтического поступка, если не сказать сильнее. В писательской среде ни для кого не секрет, что Г. Марков, тогда только что избранный секретарем СП, не был столь влиятельной и авторитетной фигурой в Президиуме Правления СП СССР, чтобы определять его политику. «Руке» «Огонька» не удалось, видимо, залезть в архивы Н. С. Хрущева и пошуровать там в поисках «компромата» против истинных организаторов травли Б. Пастернака, а может быть, она не захотела сделать этого, но зачем же валить все на крайнего? Зачем и кому понадобилось оставлять ложный след в новой истории литературы, на летопись которой претендует «Огонек»?

Можно допустить, что такая дурная «кухня», которой журнал угостил читателей, отвечает вкусам редакции. Можно предположить, кто «кухня» эта — по целям, задачам и средствам исполнения — соответствует редакционному пониманию возможностей гласности и демократии. Но можно ли согласиться с тем, что оболванивание читателей — это то, чего мы ждем от перестройки?

III. О гласности и экстремизме

Вопрос, насколько нравственны и демократичны принципы, утверждаемые сегодня нашей печатью, один из основных в идеологии перестройки. Но когда речь заходит о таком постыдном явлении, как экстремизм, с которым мы нет-нет да и встречаемся на страницах «средств быстрого реагирования», то это вовсе не закономерность и не следствие перестройки, как полагают некоторые читатели, а как раз профанация перестройки, прямое извращение ее идей, целей.

Легко заметить, что экстремизм разоблачает себя уже тем, что направлен в первую очередь против активных сторонников перестройки, против тех, кто последовательно и принципиально отстаивает линию партии в идеологии, культуре, на производстве, в сфере партийного руководства. И в этом смысле экстремизм смыкается с интересами бюрократии, является ее охранной службой.

Говорить о нравственности здесь не приходится. Многие читатели понимают это. И как не разделить их тревогу о том, что спекуляциями на демократии наносится непоправимый ущерб самосознанию общества, его духовному здоровью.

Можно понять, наверное, когда два человека (пусть это даже литераторы) в силу каких-то обстоятельств неприязненно относятся друг к другу, но если они выставляют свое неприятие напоказ, да еще кичатся этим, — вряд ли это говорит о культуре. Когда подобная неприязнь прорывается в полемике между литературными изданиями — им уже не до культуры дискуссий, не до истины.

Культура отношений, споров, полемики и экстремизм вообще несовместимы. Возможно ли, спросим себя, чтобы журнал «Наш современник», например, или «Москва» выступили в ходе подписной кампании с призывами к своим читателям не подписываться на издания, с которыми полемизируют? Нет, конечно, потому что этим изданиям присуще чувство чести, достоинства. А вот, скажем, «Московские новости» (№ 34, 1988 г.) устами своего «златоуста» В. Лакшина задают читателям вопрос: «Об искусственном дефиците (Почему?)» — имея в виду дефицит на подписку. Бумаги в стране не хватает только потому, оказывается, что «на журналы «Наш современник» и «Молодая гвардия» (тираж 700 тыс. экз.) подписка принимается без ограничений». Можно ли поверить, что работник журнала «Знамя» В. Лакшин не знал условий подписки с самого начала подписной кампании? Или их не знала Т. Иванова из «Огонька» (№ 34, 1988 г.), когда писала: «...мне никогда не понять, зачем мы содержим непопулярные журналы, продающиеся в нагрузку. Зачем на многие подписывают «по разнарядке». Зачем?..» Не осталась в стороне и «Со-

ветская культура», ее автор историк Ю. Прохватилов так же лживо пишет: «...обращаю внимание на то, что лимит на «Молодую гвардию» и «Наш современник» почему-то не объявлен...»

Экстремизм слова, как правило, порождает экстремизм дела. И об одном таком «деле» (фестиваль в Одессе) поведал член редакционной коллегии «Огонька» В. Чернов. Речь, в частности, о распродаже годовых подписок журналов с молотка. С циничным восторгом В. Чернов описывает действо: «Молодую гвардию» брать не хочет никто. Ее снимают с аукциона. Но тут же вскакивает некто и кричит, что покупает за начальную цену. Зал улюлюкает. Человека это не смущает, он выбирается на сцену и говорит в микрофон, что его зовут Самвел и он купил подписку, чтобы тут же отправить ее обратно в «Молодую гвардию», пусть сами читают: «Это будет им подарок от Одессы».

Да был ли Самвел? То, что В. Коротич в Одессе был, это мы знаем. Люди видели, что происходящее его нисколько не смущало и не шокировало. Если же и Самвел был, то не лучше ли ему переадресовать свою подписку в «Огонек», чтобы хоть сколько-нибудь уменьшить там внутриредакционный голод на «Молодую гвардию».

Приемы такого рода «полемики» не новы, они хорошо известны по примерам «желтой прессы». Ее арсенал — скандальные и сенсационные публикации, ложь, полуправда, клевета, опошление нравственных и духовных ценностей, презрение к идеалам. Страшная, чуждая человеку разрушительная сила.

Мы видим, конечно, где и почему «Молодой гвардии» уделяется пристальное внимание. Точнее сказать — внимание с пристрастием. Удручает, впрочем, не столько это, не менторский или издевательский тон, свидетельствующий о неприязни, о едва прикрытом, а часто и неприкрытом раздражении, — удручает сама направленность этого раздражения: против кого, против чего? Против отдельных лиц или против позиции, идейно-творческой линии журнала? Но в разговоре со своими читателями и авторами журнал «Молодая гвардия» никогда не делал секрета из того, что определяющим направлением своей работы считает героико-патриотическое воспитание советской молодежи, воспитание чувства интернационализма и гражданской активности, так необходимых нам всем сегодня, когда высокие моральные, духовные, нравственные качества личности определяют меру нашей ответственности за судьбу перестройки. В. Коротич эту нашу позицию разделял. В свою время (не так уж и давно), открывая в «Молодой гвардии» (№ 1, 1982 г.) страничку раздела, посвященного Украине, в статье «Наше братство навеки» он, в частности, сказал: «Статью эту я пишу в Москве, радуясь тому, что любимая нашей молодежью «Молодая гвардия» посвящает свои страницы моей республике».

То ли в шутку, то ли всерьез, но московские остряки рассказывают, что новый главный редактор, пришедший в «Огонек» после А. Софронова, примерял белые перчатки, показывая, что только так намерен работать. Даже если это и придумано, своя символика, и хорошая, в этом есть. Не знаю, какого цвета эти перчатки сейчас, но неужели с тех пор можно так «перестроиться», чтобы в упор не видеть ничего хорошего в том, чему еще вчера искренне радовался...

Примеры такого рода, сопровождающие нашу гласность, не могут не тревожить. Разве гласность — вседозволенность? И разве навешивание таких политических ярлыков, как «враг перестройки», — не признак расправы над оппонентами?

Показательно обращение критика М. Любомудрова с письмом в редакцию «Советской культуры» (№ 67 от 04.06.1988 г.), где он настаивает на снятии с него ярлыка пропагандиста «шовинизма и национализма», утверждая, что в его работах, опубликованных в советских изданиях, «ни одна строка... не дает и не может дать повода к подобным измышлениям». А Михаил Ульянов в своем ответе ему черным по белому пишет: «Тот факт, что статьи Любомудрова публиковались в нашей печати, к сожалению, еще ни о чем не говорит». Интересно, говоря это, какую роль играет народный артист? «Ни о чем», по мнению редакции газеты, видимо, не говорит и опубликованное в полемической подборке письмо социолога Г. Кузнецова из Альметьевска, в котором последний недвусмысленно приравнивает М. Любомудрова к «патриотам» из экстремистской «Памяти», а себя — к числу «мало-мальски думающих людей», от лица которых просит редакцию передать, опять же — «патриотам», что «мало-мальски думающие»... «с презрением и отвращением относятся к пропаганде общества «Память», не жалуют и журналы, неявно или явно его поддерживающие, и больше всего беспокоятся, как бы дело перестройки не было погублено из-за таких вот, как эти бородатые мальчики в черных рубахах с колоколами (а также таких, как непримиримые «борцы за свободу нации» во всех других республиках нашего Союза)».

И редакция «передает». Читатели же должны решать для себя едва ли не детективную головоломку: неужели М. Любомудрова видели в такой политической рубахе и с политическим колоколом на груди? Намек брошен, миф о чернорубашечниках в интеллигенции получает дополнительную подпитку.

Можно ли поверить, что редакция, готовя к печати полемическую подборку, не видела, как и какие акценты ставились ею? Поверить трудно, но допустить можно. В конце концов, почему не предоставить каждому из авторов высказать в условиях гласности то, что они считают нужным сказать в споре друг с другом. Почему не помочь людям, не лишним в нашей культуре, снять взаимные претензии и обиды. Это даже нужно было сделать, тем более что спор личный только по форме, а по существу задевает широкие общественные представления и интересы.

Нельзя сказать, что «Советская культура» вообще уклонилась от выражения своей позиции в этом принципиальном разговоре. Она скорее выразила свою позицию уклончиво, сделав это техническим языком, полиграфическими средствами. Возможно, не всякий читатель поймет это, но ощутит по тому неудобству, например, с каким читается письмо М. Любомудрова, набранное жирным и мелким шрифтом и сверстанное без пробелов. А вот ответ М. Ульянова выделен на полосе не только набором, но и броским аршинным заголовком — «Во имя истины». Все остальное уже вроде как не во имя... И, наконец, право на послесловие, обычно оставляемое редакцией за собой, на этот раз отдано Г. Кузнецову — его далеко не социологические изыскания опубликованы под рубрикой «Письмо-послесловие».

Что ж, не исключено, что верстка этой полемической подборки «Советской культуры» будет когда-нибудь изучаться студентами

журфаков как пример выражения позиции печатного органа, хотя сам орган не сказал при этом ни слова. А сказать надо бы. Ведь мимо главного в письме М. Любомудрова редакция вместе с оппонентами критика прошла, демонстративно отвернувшись.

«Разумеется, полемика — норма литературно-критической жизни, — пишет М. Любомудров. — Речь о другом: об отсутствии объективности и справедливости, о неизменно враждебной тенденциозности, которая превращается в очернение, о подмене доказательств клеветническими ярлыками. Речь о гласности с «односторонним движением», о монополии точки зрения однонаправленных групповых сил...»

Между прочим, одно из положений даже старых, дореволюционных еще цензорских уставов гласит, что в случае, когда в сочинении встречаются двусмысленные, а проще говоря — сомнительные места, то толковать их следует однозначно в **пользу автора**...

Вспомнилось это не случайно. Ведь мало того, что М. Любомудрова облыжно обвиняют в принадлежности к «Памяти», в «шовинизме и национализме», но обвиняют, трактуя его тексты так и только так и игнорируя его отнюдь не двусмысленное даже, а однозначно прямое заявление о том, что «повода к подобным измышлениям» в его статьях нет. С автором можно и нужно спорить, если в чем-то он не прав, в чем-то чрезмерно резок, категоричен, но что же это за глухота такая, если за всем тем, что сказано М. Любомудровым в его письме, редакция не услышала обращенного равно к ней, как и к читателям, взволнованного человеческого голоса: послушайте, братцы, вы меня с кем-то путаете!.. Но когда не слышат в упор, невольно спрашиваешь себя, неужели всякий раз, чтобы добраться до истины, нужно выдумать и распять Христа? И что значит при этом слово апостолов, когда с трибун глаголют жрецы, требующие жертвоприношений гласности.

Соответствует ли духу времени, терпима ли нетерпимость к чужому мнению, убеждению, сомнению? Ведь это проще всего — «запретить» инакомыслие, не дать ему выхода на страницы печати, поставить его вне закона. И как понять все это, если пристроившиеся к перестройке ратоборцы за демократию наверняка знают, что в принципе это все уже было, было, и не раз, и всегда приводило к печальным последствиям? И вопрос: для чего все это делается? — еще вчера прозвучавший бы риторически, сегодня оказывается центральным в осмыслении проблем и состояния нашей гласности, нашей демократии.

Очень многое зависит сейчас в перестройке от того, какие позиции займут и будут отстаивать подлинные лидеры, трибуны, агитаторы, консолидацией духовных сил или разбродом, шатанием, самоустранением от борьбы и выжидательной позицией ответят они на активность тех сил, тех мнимых «трибунов», которые в нравственном отношении отстаивают позиции вчерашнего дня, а в отношении политическом и экономическом — блюдут интересы бюрократии. Творческие усилия должны быть сконцентрированы сейчас на упрочении и расширении созидательной платформы, мобилизующей общество на воплощение планов перестройки. Задача в том, чтобы решительно потеснить, отвергнуть, отторгнуть от перестройки интересы бюрократической системы, умело амортизирующей все ее демократические притеснения.

Минувшим летом в необъятной нашей Сибири, где столько простора для инициативных людей, знакомый председатель колхоза пожаловался в разговоре, что люди неохотно берут землю в аренду. У него, мол, только два человека и взяли подряд на откорм бычков.

— А что же райком с агропромом? — спросил я, ожидая услышать, что те, как всегда, нажимают на председателя, костерят почем зря за неумение сагитировать и организовать людей. Но услышал другое:

— Ничего не думают. А если думают, то себе.

— Как это?! — удивился я. — Так ничего и ничего?

— Ну, не совсем так... Для проформы говорят кое-что, но мы-то знаем, как они говорят, когда говорят. Сейчас не то. Похмыкивают, ухмыляются, чего-то под нос бубнят. В общем, видали они эту перестройку.

— Да почему так? Не верят?!

— Не-ет... Они всё знают и понимают правильно. Но они наперед думают. Что с ними будет? На подряд прикажете идти? Они же, кроме как руководить, да по сводке, по разнарядке, по телефону, ничего не умеют. Вот и окапываются. Чиновник при должности — как валун. Его, чтоб убрать с поля, не лошадь — три бульдозера мало. А надо так, чтоб не тянуть его в перестройку, а чтоб он сам за ней побежал, как жеребенок за маткой.

— Что же прикажешь, обратно в застой?

— Да ведь говорим, говорим, а старые-то порядки остаются, не ломаем!

— А я думал, мужик уже устал ломать...

— Хе-э!.. — усмехнулся он. — В коллективизацию разве только кулака с подкулачником ломали? Это бы и пережить можно. Тянули мужика от земли — как в детдом отдавали. Общая земля, а чья? Да ничья! Вот и пропили, просвистели... И сейчас: дают мне землю в аренду, срок назначают, но кто я на этой земле? Квартиросъемщик. Живу, пока хозяин не сгонит. А как он завтра повернет?.. Вот мужик и осторожничает. Ты отдай ему эту землю. Отдай безвозмездно, пусть только пользуется и обрабатывает. Вот тогда уже любой начальник для мужика не начальник, а кто он есть на самом деле. И он ему это всегда скажет, не постесняется. И тогда он власть свою, Советскую, будет выбирать сам, без подсказки. И если у тебя работа человеческая, полезная, мужик никогда не возразит. Уж на что-что, а на справедливость у него ума всегда хватало.

— А перестройка?

— Не пойдет, пока один будет с сошкой, а семеро с ложкой.

— В печати выступишь? — предложил я. — У тебя есть с чем поспорить, но и подумать есть над чем.

— Сам пиши!.. — усмехнулся он. — Только я тебе ничего не говорил. За слово с меня больше, чем за дело спросят...

— Кто?

— Как кто? Люди.

Люди... Сказано это было с такой спокойной уверенностью в своей правоте, что мне и в голову не пришло упрекнуть собеседника в боязни высказать свое мнение открыто. Нет, тут другое. Слишком высока сегодня ответственность за печатное слово. И как жаль, что этого не чувствуют или игнорируют эту ответственность те из «трибунов», кто хотел бы утвердить в ходе пе-

рестройки, узаконить свой групповой или ведомственный экстремизм. Иначе бы они поубавили агрессивности, не набрасывались бы на всякое самостоятельное суждение, на острую мысль.

Вспомним, сколько задиристых наскоков, особенно после партконференции, вызвало выступление на ней Ю. Бондарева! За что, собственно? Вовсе не за то, что писатель позволил задать такой вопрос делегатам: «Можно ли сравнить нашу перестройку с самолетом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка?» И тут же, буквально через строку, ответил, что при всех наших спорах о путях перестройки «мы непобедимы только в единственном варианте, когда есть согласие в нравственной цели перестройки, то есть перестройка — ради материального блага и духовного объединения всех. Только согласие построит посадочную площадку в пункте назначения. Только согласие».

И все, что угодно, заметили и увидели оппоненты Ю. Бондарева в его речи, даже то, чего в ней нет, а вот призыва к согласию — нет, не видят. А сравнение сильное, что там говорить. Над ним бы подумать, поразмышлять, улыбнуться, наконец, ведь летаем-то мы на самолетах Аэрофлота, ресурс безопасности которых выработан нередко еще пилотами застоя, но все-таки летаем в них «без страха в упрека...». Можно понять, конечно, хирурга С. Федорова, который поистине с менеджерской расторопностью отверг бондаревский образ, но тому хоть есть куда посадить свой самолет — в случае чего и ипподром ведь сойдет за посадочную площадку. По-разному варьировали бондаревское сравнение и Г. Боровик, и Г. Бакланов, и В. Коротич (уже после конференции), однако ни разрушить образ, ни достигнуть глубины мысли, обстоятельности критического анализа, той сердечной боли, которую вместе с Ю. Бондаревым испытывали и делегаты, вслушивающиеся во взволнованное слово писателя, оппонентам не удалось. Попытки же свести дело к литературным склокам, продемонстрированные Г. Баклановым, партконференция отвергла многократным «шумом в зале» и слишком уж недвусмысленного значения аплодисментами.

Впрочем, «средства быстрого реагирования» не оставили этот факт без последствий. Делегатам партконференции тут же дали понять, что люди они в основном темные, невежественные, — их отношение к Г. Бакланову читательница «Огонька» (№ 33, 1988 г.) Г. Зяблова назвала «резким примером». Она пишет, отбросив всякие сомнения: «...то, как слушали делегаты XIX Всесоюзной конференции редактора журнала «Знамя» писателя Г. Бакланова, свидетельствует о преобладании в зале людей, мало читающих». И с невинностью младенца заключает: «Разве не так?»

Истины ради «Огонек» мог бы ответить читательнице, что то, как слушали делегаты партконференции редактора журнала «Знамя» писатели Г. Бакланова, свидетельствует о преобладании в зале людей не просто много читающих, но и глубоко разбирающихся в истинных ценностях литературы. Этого не случилось. Видимо, о читательском интеллекте делегатов партконференции в редакции «Огонька» судят не по тому высокому уровню культуры и глубине философских знаний, с каким делегаты обсуждали острейшие проблемы времени, а по каким-то своим особым меркам. Да и не спутал ли «Огонек» партийную конференцию с читательской?

Уже после партконференции некоторые «трибуны» стали внушать читателям (одни с большей, другие с меньшей тактичностью), что выступление Г. Бакланова было интересным, интеллектуальным, значительным, что непонимание его — досадное недоразумение. Но... реабилитация баклановского авторитета идет не на уровне тех проблем, о которых пытался говорить главный редактор «Знамени» (скажем так: не нашедший общего языка, не достигший понимания лучших представителей партии и народа), а на фоне групповой тенденциозности и дискредитации Ю. Бондарева. В том же «Огоньке» за короткое время главный редактор издания В. Коротич дважды самолично «приложил» Ю. Бондарева, не стесняясь в выражениях («Огонек», № 28, № 33, 1988 г.). Услужливые авторы «Огонька» со рвением продолжили начатое...

Это ненормально. И это требует разъяснения. А оно просто. Оно в том, что Ю. Бондарев в своем выступлении обнажил тенденции, которые подстройка под перестройку до поры до времени скрывает от общественного мнения, маскирует псевдореволюционной фразой. Но только до поры.

«За последнее время, — сказал Ю. Бондарев, — приспосабливаясь к нашей доверчивости, даже серьезные органы прессы, показывая пример заразительной последовательности, оказывали чуткое внимание рыцарям экстремизма, быстрого реагирования, исполненного запальчивого бойцовства, нетерпимости в борьбе за перестройку прошлого и настоящего, подвергая сомнению все: мораль, мужество, любовь, искусство, талант, семью, великие революционные идеи, гений Ленина, Октябрьскую революцию, Великую Отечественную войну. И эта часть нигилистической критики становится или уже стала командной силой в печати, как говорят в писательской среде, создавая общественное мнение, ошеломляя читателя и зрителя шумом, бранью, передержками, искажением исторических фактов».

Хотя напор нигилистической критики, которая «становится или уже стала командной силой в печати», не ослабевает, делается агрессивнее и беспощаднее не только к тем, кто эти тенденции разоблачает, но и к тем, кто предпочитает не вмешиваться в происходящее, хочет отсидеться за «белой стеной» молчания, уповая на конечную справедливость грядущих директивных решений, надо признать, что мы переживаем сейчас период динамического равновесия. По крайней мере, хочется верить, что эти ощущения отвечают реальному положению дел.

В то же время ясно, что реакционно-нигилистическая критика не может и не будет ждать директивного вмешательства. Напротив, она пытается заранее дискредитировать мысль о возможности какого бы то ни было влияния на печать, на «средства быстрого реагирования» со стороны партии, например, пытается внедрить в общественное сознание идею создания альтернативной силы. Однако «создание» силы, альтернативной любой власти, сопряжено с немалыми трудностями, среди которых формирование тайных или явных организационных структур — не самая большая трудность. Больше неприятностей и хлопот доставляет проблема «человеческого материала»: что делать с людьми, которые мешают, не дают создавать эти самые альтернативные силы да которые еще при этом утверждают, что на их совести — ответственность за судьбы страны, народа, перестройки. В этом смысле девятые номера (1988 г.) журналов «Знамя» (рецензия В. Соко-

лова на мои книги и статьи), «Дружба народов» (редакционная реплика в адрес журналов «Наш современник» и «Молодая гвардия» с обвинениями в сознательно чинимых помехах перестройке), тридцать шестой (сентябрьский!) номер «Огонька» (со статьями К. Смирнова, Н. Ивановой, Л. Овруцкого — здесь я имею в виду заключительную часть его статьи), тридцать шестой номер (тоже сентябрьский) еженедельника «Литературная Россия» (письмо читательницы Л. Н. Соколовой с «несколькими вопросами» к Ф. Кузнецову) — все свидетельствует об удивительном (случайном, наверное?) совпадении точек зрения авторов и редакторов во времени и пространстве, а главное — в надуманном противопоставлении позиций писателей, стоящих в литературе на народной почве, позициям и задачам перестройки. Наверное, следующим шагом будет скоординированное признание «народными» других литераторов и «трибунов», которые, по словам М. Шолохова, «не прочь иногда пококетничать своим либерализмом, сыграть в поддавки в идеологической борьбе...» Но Шолохову же принадлежат слова: «...давайте скажем им в глаза, что мы думаем об этом».

Что, для этого требуется мужество? Тогда забудьте все! Теперь сказать в глаза, да еще — что думаешь, — это нонсенс, анахронизм. Теперь как-то по-особенному надо «учиться потреблению правды» (потреблению! — заметьте себе), «умению не только разобрать буквы, которыми она написана, но и разобраться в ее сути». Пример такого «потребления» К. Смирнов дает в статье «Момент истины и истина момента» («Огонек», № 36, 1988 г.). Он пишет:

«Пусть поймут меня правильно: я призываю не к новой волне репрессий, не к мести. Каждый, кто не может или не хочет понять судьбы огромной страны, должен уйти, устраниться от возможности влиять на ход истории (к счастью или к несчастью, рабочих мест у нас переизбыток...). В этом, думаю, одна из важнейших современных задач органов массовой информации». (Разрядка мои. — **В. Г.**).

Не призывающий к репрессиям определил тем не менее задачи органов массовой информации как идеологически репрессивные. Вдумаемся: кто же это и как собирается определять (или готов уже?), понимают люди судьбы своей огромной страны или не понимают? По какому циркулю это будет делаться? И с каких это пор сама возможность влиять на ход истории стала привилегией избранных, в данном случае причастных к органам массовой информации? Не с того ли момента, когда «право на истину» из арсенала духовного прозрения народа было перенято и самочинно присвоено себе «средствами быстрого реагирования»? И какой самонадеянностью и цинизмом надо обладать, чтобы такой экстремизм и ревизионизм чистейшей воды выдавать за право гласности, вытекающее якобы из новых возможностей нашей демократии.

Заметно стало, чем больше разговоров ведется о демократии вообще, тем реже встречается упоминание о социалистическом плюрализме (если только им не прикрываются, как щитом, для отстаивания собственного экстремизма), не говоря уже о разработке понятия, его философско-правовом осмыслении, о соответствии его жизненным реальностям. Не думаю, что понятие это игнорируется сознательно, целенаправленно, скорее всего социалистический плюрализм просто поперек горла «демократам» от нигилизма, и они перешагивают через него, как через неподъемной тяжести бревно на своем пути. Да и нужен ли плюрализм тем, кто считает, видимо, что гласность отдана им в аренду безвозмездно и в бессрочное пользование? Лишние хлопоты, да себе же в убыток.

Известный белорусский писатель Василь Быков утверждает, что «...демократия не может осуществляться на четверть либо на половину с прагматическим ограничением под определенный исторический момент. Она может животворно служить обществу, лишь когда охватывает его целиком». («Советская культура», № 70 от 11.06.1988 г.)

Кажется, что в идеале писатель прав. Но эти прекраснодушные мечтания о полной, животворной и ничем не ограниченной демократии разбиваются вдребезги от соприкосновения с реальной жизнью стран и народов. Демократия социальна по своей природе, и эта живая социальность всегда, во все «исторические моменты» обусловливает ее характер, ее содержание, ее возможности. Да и сам В. Быков чувствует это, договаривая: «Иначе демократия погибнет от малокровия, если ее не задушат в колыбели. Душителей демократии хватало во все времена».

Надо быть последовательным, надо отваживаться признавать и нежелательные, может быть, на сегодня выводы, но выводы, вытекающие из действительности, из опыта истории, которая, фигурально выражаясь, есть не что иное, как смена демократий, их зарождение и гибель — столь же болезненные, сколь и естественные процессы, сопровождающие в революционном качестве смену социально-исторических эпох, формаций.

Неуважение к инакомыслию есть, между тем, первый признак той «чистой» недемократичности, которую справедливо осуждает В. Быков — на словах, теоретически. Но «исторический момент», по-видимому, вопреки воле В. Быкова, мстит ему уже тем, что дает знать о себе в его суждениях, выставляет его «душителем» той абстрактной демократии, за которую писатель ратует. В самом деле, вот он с возмущением, осуждающе пишет: «И если сегодня мы допускаем (разрядка моя. — **В. Г.**) бесовский шабаш вокруг Шагала, то где гарантии того, что завтра подобное не произойдет по отношению к любому другому художнику...»

Мне не нравится здесь непарламентское, эмоционально-полемическое выражение «бесовский шабаш», не нравится предположительное, что завтра нечто подобное может произойти с любым другим художником — будто бы В. Быков не читает «Огонек», например, где из номера в номер происходит травля художников, неугодных этой редакции (травля, кстати, более озлобленная и бесовская, чем вокруг Шагала), не нравится, что вроде бы и выставляемая напоказ толерантность писателя оказывается какой-то уж слишком ограниченной, недемократично-зашоренной. Но даже не это здесь главное. Главное, что наши недостатки оказываются сильнее нас. Ведь осуждая то, что мы допускаем, писатель эмоционально-психологически, да и по смыслу это так, жестко и недвусмысленно требует недопущения этого, запрещения, пресечения всего того, что на его взгляд является «бесовским шабашем вокруг Шагала». Он не задумывается, что, кроме его точки зрения на Шагала, может быть и другая. И «не допускать» здесь — не значит ли помахивать хлыстиком? Тогда как куда уместнее и естественнее, просто приличнее было бы для

писатели говорить о необходимости доказательного спора с оппонентами, если уж язык не поворачивается признать вкусовые и эстетические различия. Но сильно ли мы разовьем демократию, присваивая себе единоличное право быть ее глашатаем?

Александр Гельман в «Советской культуре» (№ 43, от 09.04. 1988 г.), отбросив всякие условности, прямо пишет: «Бывает, что демократия во имя самосохранения обязана, вынуждена на какое-то время проявить не свойственную ей твердость, даже жесткость». Такая формулировка как бы призывает оказать силовую поддержку нынешним «средствам быстрого реагировании». Но если признать ее правомерной, разве не оправдывает она насилия, беззакония и репрессии периода «сталинской демократии»?

Ставить вопрос ребром, то есть зачем выворачивать демократию наизнанку, когда у нее есть лицо, бессмысленно. Ведь как только демократия проявляет не свойственные ей свойства, она перестает быть собой, перестает быть демократией. Да вот только арендаторов гласности это ничуть не смущает. У них, как и в старые времена, цель, похоже, оправдывает средства.

Оговорки в «манифесте» А. Гельмана, опубликованном газетой как наказ наших кинематографистов XIX Всесоюзной партийной конференции, оговорки о том, что твердость и даже жесткость демократии по отношению к тем, кого кинематографисты-правленцы в демократы не зачисляют, должны сопровождаться убедительным разъяснением обществу «нравственной обоснованности принимаемых мер» не меняют сути, а именно: идеи защиты демократии одних от демократии других. Что же касается «убедительных разъяснений обществу», то оно сыто теми, что были даны в периоды культа личности, волюнтаризма и застоя.

И тем не менее возникает вопрос: кто — одни, кто — другие? Что вообще имеется в виду? А в виду, по Гельману, имеется «необходимость, особенно в период перехода, размежевать свободу для головы и свободу для ног. Головам нашим нужна полная свобода, чтобы люди могли обо всем читать, думать, разбираться, что к чему и почему, прояснять затуманенное, проверять чувства разумом. А вот ногам нужна сдержанность. Я понимаю, что ноги трудно отделить от головы, мое пожелание выглядит умозрительно, и тем не менее, если хорошенько подумать, найдутся вполне приемлемые в условиях демократии способы самоограничения свободы для ног при полной свободе для головы».

Трудно сказать, чего здесь больше: самолюбования или фарисейства. Но если все же кто-то из читателей задаст (или задал!) вопрос «Советской культуре»: «за какую демократию и для кого именно ратует А. Гельман?» и не получит (или не получил!) ответа, то он может обратиться к откровениям огоньковского автора — уже цитированного нами К. Смирнова:

«Больше того, — сказал он. — В условиях нашей однопартийной системы печать, радио и телевидение могли бы взять на себя функции второй, альтернативной силы (разрядка моя. — **В. Г.**), неустанно следящей за малейшим нарушением демократических норм, законов, требований гласности и общечеловеческой морали».

Да, дело, выходит, за малым: «взять на себя функции второй, альтернативной силы...» Скажет ли кто откровеннее?

«А если... — спросит читатель, — партия поправит товарищей, выскажет им свое неудовольствие, сделает замечания?.. Что тогда?..» Тогда — вспомнят про плюрализм! Да еще с каким наскоком вспомнят. Пример тому недалеко. Стоит хотя бы открыть газету «Московские новости» (№ 37, от 11.09.1988 г.) и обратиться к обзору читательской почты, опубликованному под названием «Где вы, рыцари перестройки?» Один из «рыцарей» — читатель Б. Шугаль — высказывает свою обиду по поводу того, «что, отстаивая суверенные демократические права да, партийной, но партийно-свободной (недвусмысленное уточнение! — **В. Г.**) печати, В. Цоппи (автор «М. Н.» — **В. Г.**) вынужден даже в этом случае прибегать к эзопову языку недоговорок о том, что «с некоторых пор» есть мнение, что к «Московским новостям» следует относиться бдительно... Мне хочется, — продолжает москвич Б. Шугаль, теряя терпение, — через вашу газету задать вопрос: «До каких пор на обвинение «властей предержащих» мы будем отвечать, «потупя очи», используя всякие недоговорки и иносказания?» Мы, конечно, утверждаем плюрализм мнений, но ведь не от слова же **плюнуть!**» (выделено автором письма. — **В. Г.**).

Одним словом, все пишут не просто так, а хорошо знают, что делают.

Итак, органы массовой информации, «средства быстрого реагирования» и новые их функции, в условиях аренды — альтернативные. Впрочем, в принципе и это все не ново. Был когда-то Институт красной профессуры в нашей истории, основанный при поддержке Н. Бухарина в 1921 году. И был известный выпуск 1928 года, когда слушатели, среди которых было немало людей, как говорится, предприимчивых, получив назначения в центральные партийные и государственные органы, пытались поставить идеологию, политику и культуру под свой контроль. Попытка эта началась с контроля над кадрами, с отбора и назначения «своих», лично преданных людей на руководящие посты в партийных, советских, репрессивных органах, а окончилась кровавой вакханалией расправ над всеми неугодными.

...Не таким ли «горластым трибунам», «почитывая и даже почитая их», рукоплещет бюрократия, интуитивно чувствуя в них своих приспешников? Нет, не хотелось бы так думать. Кто-то должен быть за демократию и свободу без насилия не только «для головы», но и «для ног» — для всего общества. Думаю, однако, что гарант такой свободы и демократии — народ и партия — на раскол не пойдут. Слишком дорогой ценой оплачено завоеванное единство.

Конечно, здесь напрашивается вопрос: кому это нужно? В классической формулировке: кому это выгодно?

Не думаю, что с учетом сказанного выше можно ответить вернее и лучше, чем К. Маркс:

«Всеобщий дух бюрократии есть *тайна*, таинство. Соблюдение этого таинства обеспечивается в ее собственной среде ее иерархической организацией, а по отношению к внешнему миру — ее замкнутым корпоративным характером. Открытый дух государства, а также и государственное мышление представляются поэтому бюрократии *предательством* по отношению к ее тайне» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 1, с. 272).

Разумеется, люди, выступающие против «открытого духа государства» и «государственного мышления», могут и не знать, и не осознавать, что тем самым работают в пользу бюрократии, но ведь обществу это решительно все равно.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЛИТЕРАТУРНОМ ГОДЕ

Святослав РЫБАС

СОБИРАТЬ ДУХОВНЫЕ СИЛЫ!

Литературные прогнозы, мечтания, надежды на новое имя... Мы привыкли оперировать литературными периодами и типажами (от «лишнего человека» до современного богоискателя) и уже преуспеваем в канонизации обязательных для «перестроечной» литературы тем, героев, отношения к ним. А молодые? Их подталкивают стать в затылок старшим. Но если молодые становятся в затылок, читатель начинает зевать.

А молодые все же пытаются сказать свое.

Откуда они берутся, новые художники, из каких направлений, из каких тенденций, из какой боли?

Из памяти о гражданской войне, психология которой поныне жива в нашем обществе?

Из потребности залечить раны, из милосердия?

Из экологического ужаса?

Из национального чувства, нередко унижаемого подменой — псевдоинтернационализмом.

Да, отсюда черпают молодые писатели свое вдохновение. Да, в этих направлениях можно ожидать новых открытий. Но как, в каком сочетании, выражении — это предсказать невозможно.

Возможно, например, сочетание нетерпимости с национальным чувством — это одно, а сочетание национального чувства с общинной традицией, народным опытом самоуправления — это совсем другое.

По поводу самоуправления. Посчитав это начало важнейшим в современной народной жизни, редакция по работе с молодыми авторами издательства «Молодая гвардия», которой я заведую, объявила в печати конкурс рассказов молодых писателей на тему: «Самоуправление и народный характер». Ответ был неудовлетворителен, мы получили всего десяток рукописей. Молодые писатели практически не услышали нас, а точнее, не увидели в жизни оснований для обобщения опыта самоуправления. Это пример того, как реальность опровергает наши слишком торопливые мечтания...

В прошлом, 1988 году мы выпустили сборник «Рассказы тридцатилетних», в нем собраны лучшие авторы нового поколения: В. Бутромеев, А. Брежнев, Л. Бежин, Ю. Доброскокин, П. Паламарчук, Т. Набатникова, С. Ионин... Здесь я оборву перечень, так как и этого пока достаточно. Названные писатели талантливы, интересны, но мало ли в русской литературе талантливого и интересного? Читателю не менее важно знать, что оригинального у них, почему ради них надо отложить в сторону классика? Оставлю этот вопрос без развернутого ответа, ограничусь кратким: да, они оригинальные.

Мне кажется, что у нынешних молодых писателей высокая задача, требующая мужества: во времена сугубого материализма, торжества Штольцев, собирать духовные силы, не зная, услышат ли их.

Попробуйте докричаться до людей, замученных очередями и бюрократами! Попробуйте заглянуть в их душу — что там, много ли духовной силы? Там фрагменты сегодняшних передовиц, осколки вчерашних доктрин, «рок», «сталинизм», переброс рек, пропасть между отцами и сыновьями — и, несмотря ни на что, страшная тяга к сознанию себя как народа.

И наша молодая литература, надо полагать, это знает.

Константин КОВАЛЕВ

УВОЛЬТЕ ОТ ЭТИХ СПОРОВ!

Прошедший год был годом високосным. Годом надежд и свершений, из ряда вон выходящим. Но это — в жизни. А в литературе? Признаюсь, год этот таковым не был. Не стал.

Мнение, конечно, субъективное. Но твердое.

И все же отметить кое-что необходимо. Кратко, конечно. Ведь обо всем сразу не скажешь...

В первую очередь отметим остывание и ослабление публицистической волны. Бои боями, а литература литературой. Она же

порой — бой, а порой, извините — искусство. А тут-то в поле зрения лишь два-три названия, два-три автора.

Но начнем «от противного». О романе А. Рыбакова, заполонившем страницы газет, журналов и книжных изданий. Скажу прямо и непосредственно, рискуя быть непонятым или понятым «лобово». Извините — надоел!

Роман, конечно, а не тема. О стиле и говорить нечего — спотыкаешься на каждом абзаце. О содержании и фабуле — так и знаешь наперед, что будет, что и как скажут герои, о чем поведает автор. Характеры однозначны, образы прямолинейны. Философия — гневная, но, простите, «понятная». То есть от чего уходим — к тому приходим? До художественной литературы здесь еще далеко. Вот почему следует отнести произведение А. Рыбакова к иному жанру. Что же касается того, о чем идет речь в «Тридцать пятом...», то это, конечно же, требует еще большего прояснения. Правды полной. И начиная с годов 20-х.

Из числа книг, выпущенных в 1988 году, которые должны оставить заметный след в нашей литературе, следует отметить роман В. Лихоносова «Наш маленький Париж», посвященный новым страницам «трудной» по сию пору темы гражданской войны, научно-художественную биографию Федора Ивановича Тютчева, написанную В. В. Кожиновым и изданную в серии «Жизнь замечательных людей», а также книгу прозы А. Сегеня «Похоронный марш», которую не назовешь прямо ни романом, ни рассказами, но которая предстает полноценным и цельным художественным произведением.

Отмечу, что в книге Лихоносова подняты проблемы, которые еще не были в центре внимания нашего читателя, в книге Кожинова впервые дана глубокая общенациональная оценка жизни и творчества выдающегося русского поэта и государственного деятеля, которого Л. Толстой, например, ставил даже выше Пушкина, а роман Сегеня — едва ли не единственная за этот год книга прозы талантливого молодого автора, которую читаешь взахлеб от начала до конца, без желания «перебить чтиво» чем-нибудь более серьезным и интересным, как это часто бывает в последнее время.

Впрочем, советую читателю самому ознакомиться с вышеуказанными изданиями, ибо в них то, что касается стиля или художественных достоинств (сообразно выбранному каждым из авторов жанру) — все, как говорится, в лучших традициях...

А вот еще — Татьяна Толстая с «новомирским» рассказом «Сомнамбула в тумане». Наверное, вот это-то и есть искомое, то есть литература, думает читатель. Да, к этому стремится автор, рекламируемый в нынешних журналах, подобно кинозвезде: и слог «хорош», и «ассоциативный ряд», и «образы» замысловаты и т. п. Но что это? Читаешь и словно жуешь нечто безвкусное, будто старая жевательная резинка.

Дожевал. И вместе с сомнамбулой отправился почью в «туман», в никуда. «Поварился» в аду современной русской «серости» и «бытовщины», посипел и поиронизировал по поводу «деревенских» стихов, в которых «могучие, бревенчатой силы строки» и «все что-то гой! гой еси! (бедный гой, он все еще «еси» хочет) и про гусли-самогуды; что-то очень глубинное...» И даже героя старичка Василия Васильевича (Розанова?!) — слепца-сомнамбулу — приметил «немного странненького», который пишет «заметки феноЛога для журналов... про времена года, про жаб, зачем петух кукарекает и в связи с чем слон такой симпатичный», пишет «хорошо... не шаляй-валяй, а как образованный человек плюс лирика». Никого вокруг «живого» нету, «умного» — никого. Даже этот старичок философ — не от мира сего, болен душевно.

лога для журналов... про времена года, про жаб, зачем петух кукарекает и в связи с чем слон такой симпатичный», пишет «хорошо... не шаляй-валяй, а как образованный человек плюс лирика». Никого вокруг «живого» нету, «умного» — никого. Даже этот старичок философ — не от мира сего, болен душевно.

Но ведь хочется думать, что есть тут нечто «здравое», «высшее», «чистое», «непогрешимое», «правильное». Что это и кто — это? Да, конечно же, Татьяна Толстая! Она и есть «положительный» герой на фоне анатомируемых ею «персонажей». Спасибо автору! Признали за кем идти, кого слушать. Не за сомнамбулой же в туман, в самом деле!..

Так и будем, видимо, заставлять себя «любить» если не поганый мир, нас окружающий в иных произведениях, то по крайней мере «талант» и «профессионализм» автора, творящего в покрытой полумраком и пылью комнате городской квартиры за освещенным тусклым светом настольной лампы островком-столом...

Возникает целая литература «заставления». Не хочется читать — а все журналы оккупированы — читай! Заставь себя, но читай. Ведь рецензент уверяет, что это — умно! Это — интеллектуально! Это — уровень!

Но лучше бы просто — литература. Без нажима. Без излишней рекламы. С любовью...

И еще, последнее. Об одной окололитературной проблеме года. В последнее время все чаще упоминается одно имя из русской истории XIX века. Имя, связанное с ее славными страницами, а также с не менее славными страницами истории российской словесности. Это имя — Раевский. Известный, славный генерал, герой Отечественной войны 1812 года.

Произносят его и в славе и всуе.

Вот А. Чернов в написанной им за А. С. Пушкина 10-й главе к «Евгению Онегина» вставляет в текст имя Раевского, причисляя его к разряду тех, кто «рать собирал» супротив «царского режима», а, значит, к числу не просто известных, а самых рьяных декабристов. Несостоятельность такого вывода уже освещалась в печати, а имя Раевского в пушкинском понимании имело, конечно же, иное значение. Впрочем, эта тема требует особого разбора, и для профессионала не составляет труда.

Но вот когда по телевидению многим миллионам зрителей поэт А. Кушнер на встрече с редакцией журнала «Нева» заявляет в «пику» В. Дудинцеву, что ему-де известна истина относительно подвига детей генерала Раевского — Николая и Александра в знаменитой битве под Салтановкой в самом начале войны 1812 года, и что-де этого подвига не было вовсе, и что это непреложный факт, — то тут уже не спорить или разговаривать разговоры надобно, а попросту — ловить за руку!

Кушнер ссылается на известные слова Батюшкова из его воспоминаний. Да, есть такие слова. И они — единственное (!) за всю историю литературы сомнение, высказанное кем-либо в том, был ли совершен этот подвиг. Батюшков писал якобы со слов генерала. Публиковал воспоминания значительно позже смерти Раевского. Правда, слов генерала: «Что же я, изверг, вести своих детей на поле боя», — произнесенных Кушнером, Батюшков не приводит. Все это — не соответствует фактам. Батюшков лишь ссылается на своего собеседника, отрицавшего в разговоре свое

геройство, объясняя, что из него чаще делали героя, нежели так было на самом деле.

Но есть и другая сторона медали. Не обратная, а главная.

Сам же Батюшков знал и, наверное, забыл, что Раевский часто отрицал и многие другие свои героические поступки. Таков уж был характер! Отрицал явные подвиги, о которых знали все! Вот что писал о нем другой современник: «Не переносил нувелистов»... а поэтому с первых дней службы усердно принимал меры, чтобы не создавать вокруг своего имени шума, причем для достижения этой цели он не останавливался, например, перед следующим: скрывая полученные раны и контузии, умышленно умалял свои заслуги даже в интимной переписке с близкими людьми, отрицал свои явные подвиги, которые признавались всеми и т. п.».

Что же касается детей, то есть свидетельство самого Раевского. В письме к сестре жены, внучке М. В. Ломоносова Е. А. Константиновой он писал: «Вы, верно, слышали о страшном деле, бывшем у меня с маршалом Даву... Сын мой Александр выказал себя молодцом, а Николай даже во время самого сильного огня беспрестанно шутил. Этому пуля порвала брюки; оба сына повышены чином, а я получил контузию в грудь, по-видимому, не опасную». Относительно упомянутой контузии — это также единственное свидетельство самого генерала, ибо есть слова Дениса Давыдова: «После сего дела я своими глазами видел всю грудь и правую ногу Раевского... почерневшими от картечных контузий. Он о том не говорил никому, и знала о том одна малая часть из тех, кои пользовались его особою благосклонностию». Об этом Батюшков, да и Кушнер, конечно, не знали. И дело даже не в благосклонности генерала, а в том, о чем так проникновенно и точно сказал Пушкин после первой встречи с Раевским: «Свидетель екатерининского века, памятник 12-го года, человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привлекает к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества».

Кто только достоин понимать и ценить!

Кто же эти, достойные?! Это те, кто подтверждал неоднократно подвиг генерала и его сыновей — Жуковский, Денис Давыдов, Сергей Глинка, наконец, Пушкин, близко друживший со всем семейством Раевских.

Или они все лжецы?

Увольте, господа, как говорится, от этих споров! Ложь — она как ложка дегтя. Только жаль, что она просачивается на голубой экран, тем самым имея губительное действие более масштабное, нежели просто фамильярный анекдот.

Вот, пожалуй, вкратце основные впечатления о минувшем годе. Если и не все, то время еще будет впереди, сказать успеется...

Сергей ЛЫКОШИН

ДРУГОЙ ИСТОРИИ НЕ БУДЕТ

Рассматривать литературные события в отрыве от политической жизни бессмысленно и бесполезно. Последняя идет по пути раскрепощения сознания, развития возможностей общественного диалога и сопоставления разных точек зрения в масштабе единой политической системы. Здесь есть свои достижения, но есть и безусловные потери, связанные с разной подготовкой участвующих в диалоге сторон. Одной из них является своего рода общественная элита, имевшая в прошлые годы лучшие условия для самосовершенствования в интеллектуальном отношении, а другой — практик, хорошо знающий проблемы народа, опытом личной судьбы ориентированный на решение именно этих проблем, но не владеющий навыками словесной эквилибристики.

В жизни страны наиболее острой, на мой взгляд, проблемой, открывшейся для обсуждения в ходе перестройки, явилась проблема национальная, к которой мы оказались не подготовлены в силу целого ряда обстоятельств, в первую очередь — от многолетней установки на стирание национального самосознания как такового.

События в Карабахе, Эстонии, Латвии, Литве, Казахстане следует оценивать с точки зрения интересов всего государства и различать, когда представители одного народа, укрепляя свое единство, стремятся укрепить свое место в Союзе, а когда ищут под влиянием экстремистских сил пути скорейшего разрыва этого сложившегося исторически государственного единства. Национальный фон присутствует сейчас во всех делах и полемиках культурной жизни.

Что и говорить, время как никогда трудное и для всех нас ответственное. Попытаюсь обобщить свои «нелитературные впечатления от литературной жизни», насколько это, конечно, возможно.

С горечью хочу отметить, что в нашей литературе поубавилось слов высокого достоинства и правды, пришли либо пустословие, либо сенсационность. Только так можно аттестовать газетные выступления профессора Юрия Афанасьева, которого один из литературных критиков метко нарек «Геродотом эстрады» и научные заслуги которого до сих пор содержатся в тайне, или общепланетарные размышления публициста Алеся Адамовича, в которых многое объясняется скорее чисто мирскими интересами — стремлением попасть в общественные лидеры и наставники — нежели искренним пацифизмом автора (вовсе не такого уж мирного поселянина, судя по его многочисленным телевыступлениям)...

Призывы к восстановлению исторической справедливости, воззвания пламенных трибунов и разоблачителей — все это так знакомо нашему человеку по горькому опыту — собственной истории. Но, к сожалению, влекомый доверчивостью своей к поиску правды, он не всегда замечает, как его форменным образом водят за нос.

Появление романов А. Рыбакова, В. Гроссмана, А. Бека, Б. Можаева затмило все литературные горизонты — во всяком случае, если верить нашей массовой литературной критике. Затмить-то затмило, но многое ли с появлением этих романов прояснилось? Сказать по совести, немногое. Я бы даже сказал, что появление этих «разоблачительных» романов нашего неразборчивого читателя основательно подзапутало и оказалось выгодно тем, кто никак не хочет, чтобы о нашей недавней истории заговорили всерьез и обстоятельно.

Роман Василия Гроссмана, претерпевший столько мук, скажем

прямо — сооружение тяжеловесное, претенциозное и с художественной точки зрения, и с точки зрения исторической правды. К знанию нашему о войне, почерпнутому из прозы Константина Воробьева, повестей Юрия Бондарева и Виктора Курочкина, мало что прибавилось. В романе больше попыток решить судьбы народов, нежели историн, скажем, их взаимоотношений в решающий час испытаний. Кстати заметить, попытка в духе лидеров той эпохи, с той лишь разницей, что Василий Гроссман занимает позицию третейского судьи, будучи более всего озабочен судьбой людей, войну переживающих своим особым образом, а именно — стремясь лишь выжить и сохраниться. Концлагеря там — концлагеря здесь. Подонки советские — подонки немецкие. Сплошные страдания героев-одиночек в горниле мирового бесправия.

Опыт надмирового понимания истории соединился с опытом экзистенциальным. А может быть, это старая и хорошо известная миру закономерность: нет разницы в сознании деспота и сознании себялюбца.

Однако в романе Василия Гроссмана есть горсточка правды. В той его части, где сказано о страданиях еврейского народа. Это высокая правда и боль неподдельная. Право, жаль, что не соединилась она с болью общей, переживанием за народную судьбу, в которую вплеталась и жизнь гибнущих в гетто евреев, и убитых в Сталинградской битве солдат, всех своих соотечественников спасавших.

Много говорят о романе Бориса Можаева «Мужики и бабы». Читать его страшно, история народных потрясений прорывается в правде факта и в сопричастности героев общей трагедии отлучения крестьянина от земли. Но есть в романе литературное кокетство, которое проявляется в излишней выстроенности сюжета, подчеркнуто кровавых сценах, выспренних речениях героев и которое есть своего рода примитивизм. Как и в романе В. Дудинцева, здесь заметна разделенность действующих лиц на «героев» и «предателей», которых нужно непременно либо изобличить, либо возвести на пьедестал. Все это напоминает времена, когда неразборчивая публика увлекалась чтением детективных поделок, выходивших в «Библиотеке военных приключений».

Чрезвычайно полезное и наболевшее дело — публикация литературного наследия. Среди наиболее значительных событий такого рода — проза Андрея Платонова, художника, в оценках не нуждающегося. И «Чевенгур», и «Котлован», и «Ювенильное море» написаны пером великого художника, а значит, и человека великого сердца. В них сгусток народной трагедии, опыт распадающегося сознания и человеческой боли. Правомочны ли мы вырывать эти романы из контекста времени, эпохи двадцатых-тридцатых годов и делать обобщения, перенося оценки Платонова на опыт времен, этим событиям предшествовавших и нам предстоящих? Подобно тому, как делает это Евгений Евтушенко или Михаил Эпштейн, да и другие, неводомо где дотоле дремавшие, приверженцы прозы Андрея Платонова. Ведь писатель этот, художник редчайшего дара, поднялся и до более значительного понимания человека. Произошло это позднее — в рассказах «Возвращение», «Одухотворенные люди», повести «Джан» — подлинных шедеврах русской реалистической прозы. Послушаешь того же Евгения Евтушенко — все наоборот. Воистину, «повернуть истории колесо»! И что это с нашими писателями и публицистами делается? Только и слышим: «Не хотим такой истории, и баста! Другую хотим! Не ту, что есть, а ту, что могла быть!»

Одно утешает — другой истории не будет.

О публикациях можно говорить бесконечно. Дело только начинается, и нам много еще с чем предстоит познакомиться, и о многом мы еще узнаем. Добавит это к нашему опыту пережитого лишь знание, а изболевшегося в делах сегодняшнего дня сердца не вылечит. Будем надеяться, что знание прошлого убережет доверчивого русского правдоискателя от бед грядущих.

Это все о характерном, если можно так сказать, поверхностном и огорчительном.

Но есть в нашем развитии и преображении черты, вселяющие в сердце надежду. Это прежде всего продолжающаяся публикация романа Василия Белова «Кануны» и публицистика Валентина Распутина. Художественная проза этих писателей, их выступления с открытой общественному мнению оценкой истории и событий сегодняшнего дня, говоря языком самого Белова, «раздумья на Родине», — продолжают традицию поиска народной правды. Публицистика русских писателей сейчас, как мне кажется, играет роль спасительную для человека, потерявшего или теряющего ориентиры духовности и сострадания в пестро меняющейся действительности и попадающего под информационный молот телевидения и прессы. Говоря о проблемах спасения малой родины и о помощи человеку Родины великой, наши писатели отстаивают отнюдь не кастовые и уж вовсе не групповые интересы, как об этом буквально кричат Бенедикт Сарнов, Наталья Ильина и им подобные ловцы неокрепших читательских душ.

Боль Валентина Распутина, Михаила Лобанова, Юрия Лощица — боль совести каждого. И пусть простит мне союзный читатель, что я сосредоточиваюсь на именах писателей русских, ведь я русский человек по рождению, и мне писательское слово Василия Белова дорого так же, как латышу слово Иманта Зиедониса, грузину — Чабуа Амирэджиби, еврею — Иосифа Бродского. Каждый, кто знает подлинную жизнь народа и сумел посмотреть в российские глубины, выйдя из экономической и политической крепости столичного быта, поймет, что заботы большой русской прозы — это заботы общие.

Принцип «и это хорошо, и то неплохо» — от лукавого. На деле вышло, что народ живет плохо, а мы все — интеллигентные сторонники перестройки — живем, мыслим исключительно правильно. Как одно с другим соединить? Да никак. Несоединимо. Важно понять, что «народ» — понятие не отвлеченное и то, что происходит с ним, касается каждого. А такого понимания многим, кто решительно относит себя к «интеллигенции» — людям особой культурной породы — как раз и не хватает.

К слову, публикация романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» весьма полезна, ибо показывает всю трагедию беспомощности и бессилия русского интеллигента, потерявшего всякое чувство исторической реальности, забывшего о народе, получившего, как кару, трагедию и личную и государственную, но так ничего и не понявшего — ни в своей судьбе, ни в судьбе отечественной.

Бурю обвинений рождает едва ли не всякое рассуждение о трагедии русского национального самосознания. Но ведь цель того же Валентина Распутина очевидна (если, конечно, определять его писательское дело с точки зрения целесообразности, а не как

исполнение долга): не доказать приоритет проблем России перед проблемами других республик, а сказать на примере близкого и родного о том ущербе, который нанесен всему опорному духовному началу советского народа.

Об этой трагедии говорили и продолжают говорить наши писатели. Пишет ли о тернистых дорогах советской поэзии Станислав Куняев, говорит ли в своих статьях о кризисе культурного сознания Татьяна Глушкова, размышляет ли об истории народа Игорь Шафаревич — все это события не только нашего культурного бытия, но и наша жизнь, наша продолжающаяся история.

Вижу, вижу перст грозящий и указующий: «Опять групповщина! Опять эти «Молодая гвардия», «Москва», «Наш современник»! Вот мы вас ужо!»

Дабы усугубить впечатление, произведенное на бдительного оппонента, добавлю ссылку на Аполлона Кузьмина, который очень точно отмел наговор, прозвучавший из уст «драматического героя» XIX партконференции Григория Бакланова, сказав: «Повстине крайних сталинистов надо искать в числе самых громогласных критиков сталинизма».

Поэтому еще об одном сильном нелитературном впечатлении уходящего года.

Смердяковской яростью дышат в нашей перестройке те, кто давно и прочно оторвался от народного бытия, ни бельмеса в нем не смыслит, но упорно стремится перехватить бразды народоправия. Народ же — усталый, истощенный в земельных реформах, войнах, репрессиях — молчит. Молчит, но силы духа восстанавливает — для него времена безгласия, будем надеяться, позади. «Блага, блага нам любой ценой и на все времена! За ваш, за ваш, за любой счет!» Вот лейтмотив этой ярости времени уходящего, прорывающейся из эпохи безгласия. Впечатление, производимое этим криком, признаюсь, из разряда самых сильных и для внимающих ему в бездействии — не из безопасных. Такая вот жизнь. Совсем нелитературная.

Александр **ПОЗДНЯКОВ**

БОЛЬШЕ ДЕМОКРАТИИ

Возможно, самое непривычное в современной литературе и вообще во всем, что связано с печатным словом, — это преимущественно односторонняя критика политического руководства и политических руководителей различных времен. В этом нет ничего удивительного. Видимо, мы находимся еще только в самом начале пути — от ритуального благодарения за «мудрое и неустанное руководство» к подлинной возможности критиковать. Но общественная жизнь состоит не только из политики, и в том, что с течением времени у нас все постепенно приобрело «политический характер», другими словами, пришло в застойный упадок, повинно не только руководство. Однако сегодня, как только заходит речь о других слоях, в первую очередь о деятельности литературы и искусства, то здесь у нас почему-то вовсе нет виноватых, одни сплошные «прорабы перестройки».

М. Бахтин писал: «Поэт должен помнить, что в пошлой прозе жизни виновата его поэзия, а человек жизни пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его нетребовательность и несерьезность его жизненных вопросов». Именно такого взаимно ответственного отношения не хватает нам прежде всего в современной литературе и жизни. Почему-то мало кто вспоминает, что в л и я л и на общественную жизнь в «тоталитарные» и «застойные» времена не только политические деятели, но и деятели искусства и литературы. Причем бо́льшую возможность влиять имел тот, кто имел в эти годы наибольшую популярность. Она, как известно, в XX веке не случается сама по себе, требуя, помимо прочего, средств. Поскольку эти средства находились в руках бюрократии, то и популярность могла существовать лишь постольку, поскольку она была позволена бюрократией. Думаю, нет особой нужды доказывать, что и вся «дозволенная» критика в это время была всего лишь своеобразным обрамлением портрета Первого бюрократа, необходимым дополнением бюрократической системы, без чего она просто не могла существовать.

О современной литературе в наши дни говорить непросто. Факты жизни и реальные герои в наши дни существуют как бы одновременно в жизни и в наиболее популярной литературе. В этих условиях художественные миры мало кого интересуют, они как бы разрушаются героями, которые существуют в жизни сами по себе. И нет ничего удивительного, что в наше время воцарилась атмосфера непонимания подлинной литературы, забвения критериев подлинности... Я убежден, что наиболее яркие события литературной жизни последних лет: «Кануны» В. Белова, «Бремя власти» Д. Балашова, «Ненаписанные воспоминания» В. Лихоносова... Однако сегодня, говоря о них, неизбежно требуется сравнивание с всевозможными «Детьми Арбата», что довольно скучно. Видимо, не случайно печатная и разговорная атмосфера чаще заполнена не смыслом, а методичным повторением одних и тех же имен. В последние два года чаще всего повторялись имена Высоцкого и Сталина. Откровенно говоря, сил больше нет их слышать... а говорить придется, поскольку до сих пор о них почему-то не сказано того самого главного, что имеет значение именно для сегодняшнего дня.

Да, при всех своих способностях, при субъективном неприятии бюрократической элиты, Высоцкий вольно или невольно играл роль своеобразного с о п р о в о д и т е л я народа, толкавшегося этой элитой едва ли не к пропасти. Не знаю, насколько Высоцкий согласовывал свое поведение с существовавшей бюрократической системой, однако она **объективно** имела его в качестве одного из самых экстравагантных своих дополнений, дабы никто не посмел усомниться в жизненности этой системы. Просто не могли бюрократы им не воспользоваться — слишком хороша была игрушка, способная забавлять, увлекать, а следовательно, о т в л е к а т ь... не каких-нибудь эстетов, а людей, которых томила жажда деятельности...

Что касается темы Сталина, то здесь, на мой взгляд, по-прежнему видим героических одиночек, пытающихся открывать истину и отстоять добытую трудную правду о сложнейшем периоде нашей истории, и буквально легионы крикунов, которые, с одной стороны, пребывают в состоянии затянувшейся эйфории от возможности безнаказанно пинать поверженного кумира, а с другой

стороны, под предлогом борьбы со Сталиным и сталинизмом пытаются достичь своих идеологических и политических целей.

За примерами далеко ходить не надо. Ст. Рассадин в «Московских новостях» сетует, что у нас до сих пор исполняется гимн, созданный еще при Сталине, и признается, что ему стыдно сравнивать наш гимн с другими все по той же причине — там, дескать, упоминается о Великой Руси, сплотившей союз нерушимый и т. д. Могу сказать, что я никогда — ни устно, ни печатно — не высказывал какой-либо любви к Сталину, поскольку таковой просто не было, да и быть не могло, я могу согласиться со многими самыми демократическими лозунгами — пусть Ст. Рассадин призывает к свободе ассоциаций вплоть до политических партий, к прямым, общенародным выборам, при тайном голосовании, политических лидеров из нескольких кандидатов, к свободе, на худой конец, создавать литературные журналы и т. п. И к его аргументам могу добавить десятки своих. Но мне не стыдно признаться, что при исполнении гимна моей Родины всякий раз нахожусь в состоянии, видимо, вполне понятного возвышенного волнения.

Но что делать, коль Рассадину просто стыдно, коль он не может даже помыслить, что есть вещи выше Сталина, Брежнева и вообще любого политическое деятеля. Кстати, вот такая невозможность помыслить выше деятеля — идейно и психологически, думаю, как раз и есть тот самый пресловутый «сталинизм», а точнее «авторитаризм».

Не я первый заметил, что наиболее оголтело набросились с критикой всего, что связано с именем Сталина, как раз те, кому не чужда внутренняя тяга к авторитаризму. Ну не авторитарный ли режим в молодежной печати, скажем, журнал «Юность» — многомиллионный выразитель групповых интересов вполне определенного круга московских литераторов, прибравший к рукам лучшую в стране полиграфию, настоятельно рекомендуемый к выписыванию в школах? Какой уж тут «плюрализм»... Любая здравая логика давно уже подсказывает, что вместо этого монстра могло бы существовать на том же бумажном лимите 5—6 журналов, в которых могли бы действительно справедливо доходить до читателей разные точки зрения и большее количество молодых авторов могли рассчитывать на встречу с читателями.

А рок? Неужели не видно это проявление социально-психологического идолопоклонства, это «сотворение кумира», в первую очередь свойственное авторитаризму, в современной рок-эстетике? Доказать это нетрудно, достаточно сравнить поведение толпы вокруг кумиров 30-х годов на кадрах кинохроники и толпы вокруг современной рок-звезды на концерте, и все станет ясно. Иногда мне кажется, будь в наше время какой-нибудь «кровавый комиссар Каганович» молодым человеком, ему, видимо, грозила бы карьера не политического деятеля, а рок-звезды с гитарой. Благо для этого особых музыкальных способностей не требуется.

Что касается А. Рыбакова и ему подобных, то они должны (видимо, это так и есть) испытывать особо трепетные чувства по отношению к Сталину. Во-первых, он теперь — главный герой их произведений. Во-вторых же, и самое главное, не может же А. Рыбаков не сознавать, что этот режим, создавший, помимо прочего, огромный слой полукультурного, исторически безграмотного населения, является единственной причиной популярности его беллетристики. И не надо забывать, что не кто иной, как А. Рыбаков, в первую очередь объективно заинтересован в нераспространении содержания исторических документов, поскольку это дает ему возможность своей беллетристикой перехватывать направленный на них народный интерес.

И уж ни в какие, как говорится, ворота не лезет критика, которую демонстрирует, например, журналист О. Кучкина, упрекающая писателя В. Карпеца в том, что он «в то время, как страна нуждается в подлинной демократии», прославляет «сильную и ответственную государственную власть». Неужели О. Кучкиной до сих пор непонятно, что авторитаризм и тирания — это как раз признаки слабой государственности, а сильная и ответственная, скажем, Советская власть и предполагает, и обеспечивает самую широкую демократию, чего нам пока, к сожалению, не хватает.

Владимир СЛАВЕЦКИЙ

ИЩУ СТИХИ!

Отдавая должное многочисленным «возвращенным», «разрешенным» публикациям, их месту в культуре, остановлюсь на нескольких современных поэтических и критических новинках.

На «Испытательном стенде» в «Юности» (№ 9) помещено характерное признание В. Кальпиди: «Вот Пушкину не нужен логопед, а мы до наглости косноязычны. Ни снега, ни травы не нужно. Нужен свет, который нас сведет практически на нет, как профессионал, застукав нас с поличным». В самом деле, нужно бы спокойно, при «свете» посмотреть, над чем перья ломали. Если в 1986 году М. Эпштейн писал о «поколении, нашедшем себя», то спустя два года И. Роднянская с тревогой говорит об этом «поколении»: «неприметно смещаются и оползают самые основания поэтического творчества», «поэзия начинает кусать себя за хвост» («Назад — к Орфею!» — «Новый мир», № 3).

К последнему выводу надо прислушаться и не выдавать за новое то, что всего лишь подзабыто. А то М. Эпштейн в статье «...Я бы назвал это — «метабола»... (сборник «Взгляд») открыл «новое течение» — «презентализм», даже не заикнувшись, что в начале 20-х уже существовала школка «презентистов». Кстати, если говорить о термине, происшедшем от латинского praesens («настоящее»), то старое определение — более точно, грамотно.

Новейший этап «усложнения» начался не сегодня. Еще в 1974 году в статье «Начало нового этапа?» В. Кожинов писал: «Точка предельной простоты... уже пройдена поэзией в целом... «Усложнение» уже началось». Отнюдь не предсказывая новый виток модернизма, критик говорил о «бытийственной», «онтологической» сложности и связывал ее с творчеством Ю. Кузнецова. Но согласимся, что ощущение трагически «разорванного» мира, стиль, воздействующий не прямым, а сугубо символическим смыслом слова, далеки от гармонической соразмерности и классической точности. Творческое же поведение тем более роднит поэта с модер-

нистами. В те же семидесятые написаны многие стихи И. Жданова, А. Еременко, А. Парщикова.

Между тем условное десятилетие (и даже «с гаком»), необходимое для завершения цикла, истекло. Ю. Кузнецов же сделал свое дело, напомнив о вкусе к архаике, о силе политического символа. Что же «младшие» модернисты? А их сочинения просто вовремя не были опубликованы (что, конечно, ненормально) и еще претендуют на новизну. Так, в коллективном сборнике «Стихи этого (! — В. С.) года» подборка А. Еременко открывается давно знакомым: «Я женщину в небо подбросил — и женщина стала моя!» Начало и конец этапа обозначили работы В. Кожинова и И. Родиянской. И, по-моему, напоминание И. Родиянской о необходимости возврата к «цельнорожденному стиху» очень своевременно, ибо цельнорожденный стих и есть носитель живого целостного образа.

Думаю, что на сегодняшний день поэзия уже прошла высшую отметку формальной сложности, младомодернистское направление дробится, мельчает. Во всяком случае, установилось некое подвижное равновесие, и вполне возможно (ох уж эти прогнозы-гадания!), что перевесит иное качество. В «Стихах этого года» выразительно соседствуют предельно «усложненные» сочинения А. Парщикова и — на их фоне — ясные, прозрачные, живые строки Александра Макарова. А. Парщиков, как всегда, рефлексирует по поводу своего метода: «Ветер времени раскручивает меня и ставит поперек потока с порога сознания я сбегаю *ловец в наглазной повязке* (выделено мною. — В. С.)... *ясновидящий спит* посреди поля в коляске плоско дух натянут его и звевит от смены метафор...» Но «ясновиденье» состоит в том, что «ловец» метафор пытается преодолеть себя, повзрослеть:

взрослеет он и собрав манатки уходит в невдешний говор
в рупор орет оттуда и все делают вид что глухи
есть мучение словно ощупывать где продырявлен скафандр

Складывается некая формула кризиса «ощупывающей», разбегающейся вширь, в своем роде описательной поэтики «присутствия». Раньше в поэме «Новогодние строчки» говорилось: «пусть... напомнят... нам п о д о б ь я — о б о б р а з а х» (разрядка А. Парщикова. — В. С.), теперь же отношение к «подобьям» передается словом «ужас»: «так мы ищем с ужасом точности в схожести...»

Очевидна перекличка со стихами А. Макарова:

Ладонь прижав к земле, я слушаю движенье
Времен и поездов, движенье звездных сфер.
И радуюсь, дитя, игре воображенья:
Ладонью слушал мир слепой поэт Гомер.

И там и здесь — пристальное вслушивание (только вот трудно представить себе героя А. Макарова орущим в рупор). Но сходство лишь подчеркивает принципиальное различие в мировосприятии и поэтическом методе. Если А. Парщиков беспорядочно шарит в темноте, отлавливая осколки, «схожести» разбегающегося, хаотически рассыпающегося мира, то внутренний жест А. Макарова — гармонизирующий, собирающий, объединяющий мир в

нечто целое, единое: «И чей-то легкий вскрик, и тяжкий грохот грома. И плач, и смех, как ток, проходят сквозь меня».

Да, жизнь сложна, порой абсурдна. Поэзия на это реагирует (например, «опрокинутой» образностью И. Жданова). Но не особую ли ценность приобретают теперь духовные усилия противостоять абсурдности, внести в хаос гармонию? Что ж, согласиться с тем, что «бога нет» и все позволено на краю бездны — или попытаться найти опору в системе ценностей, как это делает А. Макаров?

Сыновья — мы повыше, светлее лицом,
Но каким бы высоким и светлым я не был,
Не светлей и не выше я этого неба,
Голубиного неба, что стало отцом.

Ищу стихи, где острота восприятия мира порождает целостный образ. И когда встречаю строку Андрея Новикова:

Пустыни красные белки, —

то вижу в ней метафору не описывающую, не дробящую, но объемную, завязывающую в некое единство состояние природы и человека.

Ищу стихи, где есть полнота видения, попытка охватить, уместить в одной душе разбегающиеся реалии мира. Хотя бы усилие, как у С. Семянникова (Лит. газета, № 39):

Душа одна тремя путями
Пошла...

Скажут: здесь влияние Ю. Кузнецова. Верно, но все же это не совсем то, что идти «поперек», «сковырнув», «отмахнув» лежащее на пути. Стихи С. Семянникова с их отважным стремлением показать объемный душевный жест того, «кто был способен на полет и не зависел от дороги» («Искус»), звучат актуально на фоне нынешнего переосмысления многих путей и дорог и в то же время свободны от прямой идеологизации.

То есть встает проблема внутренней свободы, соотношения свободы и долга, которая была едва ли не основной в дискуссии пятерых поэтов «Поэт — величина неизменная...» («Лит. газета», 1988, № 30), где мнения, если представить их обобщенно, разделились. Если В. Казакевич и М. Попов говорили о внутренней независимости поэта на фоне усиливающейся идеологизации общества, то Ю. Кабанков, М. Гаврюшин, М. Шелехов — о долге. Что ж, это особая тема: соотношение творческой свободы с внутренним же осознанием ответственности. Другое дело, что в ежедневной практике сотни раз стихам извиняют художественную слабость за их актуальность, демократизм, искренность и т. п. Как-то отошло на второй план, что нравственный пафос поэзии вне стиха немыслим. Эстетический критерий зачастую не берется во внимание. И когда я встречаю в «Книжном обозрении» (№ 2) самозабвенное восклицание Т. Ивановой: «Значит, и Евтушенко у нас впереди. И это прекрасно!», то вижу здесь ориентацию на совсем другие критерии.

Поэтому я не вижу пижонства в суждении М. Попова: «Берия

окончательно разоблачен, но рифмы должны оставаться точными». Только бы они и в самом деле были точными, стихи — поэзией. Меня не шокирует категоричность слов Ю. Кузнецова: «...стихи стали для меня всем: и матерью, и отцом, и родиной, и войной, и другом, и подругой, и светом, и тьмой». Потому что не себе служит талант, художник. Не себе, а поэзии (другое дело, всегда ли для данного поэта стихи являются «всем»?). Потому что цель поэзии — поэзия, потому что поэзия выше нравственности, потому что слово поэта и есть его дело (если нужны цитаты). Поэзия, конечно, для людей, для современников, но служить им поэт может, лишь служа искусству. Рыцарски преданное служение творчеству — это не жреческое высокомерие, не забвение долга, это и есть нравственность художника.

Только стих. Доказательств
Больше нет никаких
(Вл. Соколов)

Если же служение бескорыстно, целомудренно, несебялюбиво, то поэзия, искусство, образ преподнесут нам нравственные уроки своими собственными средствами, потому что по целостной природе своей вберут, охватят, включат и социальное, и нравственное, и философское начало.

●



ИСКУССТВО

Валентин КУРБАТОВ

ПОРТРЕТ СУДЬБЫ И НАДЕЖДЫ

Однажды в мастерскую Юрия Ивановича Селиверстова пришел показать работы неизвестный ему художник. Уместно и изящно вставив в представление прямо с порога строку из апостольского послания Павла, он стал вынимать из папки свои акварели. Устраивал лист на мольберт, отходил, молчал, глядел на работу, на Юрия Ивановича — пять минут, десять; затем извлекалась другая работа — молчание, глубокие взгляды... третий лист. Это были бледные цветы в стаканах и без, не стоящие минуты внимания. Они проступали из листа, как сквозь запотевшее стекло, и тем и кончалась их новизна... Лист, молчание, краткий многозначительный комментарий: «такая-то актриса сказала» — шел актрисий парфюмерный пассаж; о следующем листе существовал отзыв поэтессы — следовали «ананасы в шампанском».

Я припомнил этого бедного Грушницкого, вероятно, потому, что эти паузы и глубокомыслие открыли мне, словно внезапно подчеркнули способ мысли самого Селиверстова. Я невольно улыбнулся сравнению. За то время, что наш гений мол-

чал и медитировал над своими анемичными тонкостями, Юрий Иванович успел бы показать вселенную. Мысль летит в нем неостановимо. Речь порой не поспевает за сменой образов, сюжетов, попутных примечаний и без привычки может показаться темна, потому что в ней часто остаются только зерна, а нить предполагается в знании собеседника, в согласии душ, в единстве веры. Ему некогда всматриваться в реакцию зрителя, потому что подстегиваемая только законченным листом и час назад исчерпывающая мысль уже устремляется в новую сторону.

Может быть, поэтому его листы прежде были перенаселены, как старые житийные иконы, в которых теснилось, беседовало, жестикулировало все население маленьких стран Востока, а теперь литографии выстраиваются в серии, в хоры, где каждый голос чист и самостоятелен, но подлинно полон только в согласии с другими. Так строились его толкования античной мифологии, его иллюстративные циклы к Аную и Акутагаве, «Легенде о Великом Инквизиторе» и западноевропейским утопиям. Он вообще предпочитает работать «тетрадями», чтобы иллюстрации не разбредались по тексту и не были «видеозаписью» того или иного сюжета для утолонии читательского любопытства, а сами были «текстом», единой изобразительной мыслью. Они и вклеивались порой не порознь, а самостоятельным телом. От этого их трудно «цитировать» в статьях, и если мы избираем один лист из «Слова о полку Игореве», то только потому, что в нем все сошлось с поразительной простотой и обобщенностью, как сходится порою в эпиграфе. Это эпиграф широкой и сильной русской мысли, это ее музыка, В распевной, бескрайней дали и воле этого листа, в брызжущем из-за туч солнце над отчим простором, где по излукам рек перекликаются храмы, в которых сошлись вечные вои и многотерпеливая жена, выговорились душа и музыка селиверстовского дара. Это и «Слово о полку», и то Слово, которое было вначале и которое было Бог. Разве тут слышно только «Что ми шумить, что ми звенить далече рано пред зорями?» А не гоголевское ли: «Русь! Чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами?», или из самого сердца вырвавшееся и не дающее покоя глухим ревнителям словесности блоковское «О, Русь моя! Жена моя!», не есенинское ли, тютчевское, рубцовское...

Я пытаюсь понять, откуда это идет... Это не наша общая нынешняя тоска по минувшей цельности, не реакция на интеллектуальную выморочность и рассеяние духа. При интеллектуальных реакциях и плоды выходят рассудочные. Нет, тут слышно коренное знание, не прерванное, только мучительно натянувшаяся традиция, когда она не живет с естественностью дыхания, а все время ощущается, как больное сердце.

Это коренное в нем — от Сибири. Юрий Иванович родился в Усолье Сибирском, под Иркутском, и до начальных самостоятельных лет прожил в Сибири — школу окончил в Иркутске, архитектурный факультет — в Новосибирске. Сибирь для «европейского» человека и сейчас земля еще здоровая, надежная. Когда первый раз туда приезжаешь — очень это чувствуешь (хотя у самих сибиряков взгляд иной, и там, где для нас надежда, для них — уже край). Корни они слышат лучше, и похоже, что страна будет «прирастать Сибирью» не только экономически, но и за душой туда пойдет. В работах Селиверстова родная земля очень отчетлива, даже в ранних, сюрреалистических — он и в формальных исканиях был крепок и ухватист. А архитектурная школа придала почерку определенность и уверенность — «фундамент» везде рассчитан хорошо. Наверное, поэтому художник вошел в советскую книжную и станковую графику со спокойной непреложностью, без частого у нынешних мастеров суетливого задора, который они потом не любят вспоминать. Тут обошлось без срывов и долгих экспериментов — график все время работал «вперед», хотя дух его жил соответственно возрасту и времени со всеми неизбежными разочарованиями и мировоззренческими переломами.

Дар был умнее ума и спокойно строился, предоставляя мятущемуся сердцу волю поисков, и когда дух, поскитавшись, пришел к старым русским верованиям и простым здоровым заветам, рука и мысль были уже подготовлены, сопряжены с совершенной свободой для решения крепких и точных художественных и нравственных задач. Правда, это в одной фразе и задним числом все так равно, когда уже судьба обозначилась, а в биографии были часы и кризисы тяжкие, и выходил он из-под них под присмотром старой русской мысли и памятливой русской музыки.

Мыслители, поэты, музыканты входили в духовный обиход художника с равноправием современников — Чаадаев ли, Достоевский, Мусоргский, Бахтин, Лосев. В них билась для него живая сегодняшняя мысль, сегодняшние вопросы и догадки о старых ответах. Для того чтобы вновь обращаться к портретам известных людей, в особенности тех, кто жил в эпоху фотографии и кого часто писали великие современники, мало одной отваги или честолюбия (с ними как раз очевиднее всего и провалиться) — тут можно сказать свое, только если ты это свое услышал в голосе и судьбе философа и поэта, если ваш диалог был деятельно полон.

Ведь грозная тревога Александра Блока в селиверстовском портрете — это менее всего Сомов или Анненков. Современники (и талантливейшие) слышали в поэте другое. А теперь вот подошел час испытания, такой же разверзшийся неясностью простор, и мы уже обременены опытом и самого Блока, старше его на жизнь, и помним, как страшно он кончил, хотя более других был наполнен музыкой революции и более других верил, что услышит слова, «каких давно не говорила наша усталая, несвежая и книжная литература». Он уже смотрит с портрета и в жесткий итог своего опыта и по-прежнему, хоть уже с меньшею верой, ждет, что мы перестанем «загораживать душевностью путь к духовности», потому что «прекрасное и без того трудно». Портрет уже спрашивает и с нас, и сухое его темное пламя выжигает и наше внезапно распространившееся самодовольство будто бы страдавших и теперь ищущих компенсации людей.

Знание смерти и последующей судьбы слышно и в портрете Сергея Есенина — рука и лоб выдают оклик петли и маски. Этот безгневный жертвенный суд, может быть, еще трагичнее блоковского. Все отошло: и «О, верю, верю счастье есть! Еще и солнце не погасло», и архангельская сила предупреждения «Трубит, трубит погибельный рог!», и летящая в «небесный сад» «отчалившая Русь», и осталось, может быть, только «Скоро мне без листвы холодеть, звоном звезд насыпая уши. Без меня будут юноши петь. Не меня будут старцы слушать». Остался почти отроческий вопрос: что за «ветер свистит над пустым и безлюдным полем...»,

что за мир наступает, уводя без возврата все, чем жива была и чем только и может жить душа. А ответы на вопросы портрета по-прежнему за нами, и укор — нам, доживающим остатки родного наследия уже без есенинской тяжкой тревоги — как чужое, не слыша «погибельного рога».

Иная речь музыки, ее большее родство с коренным и дальним, с родовым и вечным влечет и иную портретную стилистику. Я видел, как Селиверстов слушает «Детскую» Мусоргского, его «Бориса», «Перезвоны» Гаврилина или блоковский и есенинский циклы Свиридова. Из другой комнаты я видел только его спину, но ясно было, что он слушает весь, и спина его словно ограждает звук, обнимает его, чтобы он сходился в сердце огненным ядром, как луч сквозь линзу.

В двух портретах Мусоргского драгоценен путь, счастливая наглядность могущественного развития дара — от предстояния первого портрета, когда композитор еще молод и весь только готовая к сожжению свеча, только предвестие и обещание — до какого-то тревожного всеведения второго портрета, где взгляд композитора так углубленно далек, что это уже опасная даль, и где сгорающая перед сердцем свеча не есть ли уже само сердце? Этот портрет очень любит Г. В. Свиридов, вообще очень ревнивый к Мусоргскому, потому что любит его особенной любовью, полагая, что гению композитора нет подобия в русской живописи, а в литературе это, пожалуй, Толстой и Достоевский вместе. Портрет со свечой Селиверстова в понимании мысли Мусоргского, его долгой русской думы — один из вернейших.

Если же думать о сегодняшней ветви русской мысли в музыке, то первыми, конечно, встанут Свиридов и Гаврилин. Основная мысль свиридовского портрета сыскалась в Дарьино под Москвой, где композитор обычно живет затворником в работе, прогулках, долгих размышлениях. Мы были там однажды вместе с художником в хороший летний день. Окно было отворено в лес, стеною ходил ливень, как в раме, среди прекрасных елей и кипящей листвы, и легко было представить другой час года, глубокие покойные снега за окном, отягченные ветви и белую оснеженную голову композитора, позабывшего руки на крышке рояля во внезапном светлом воспоминании о каких-нибудь святках под родным Курском или хоть просто в коротком забвении покоя по окончании очередной работы. Это был портрет композитора и портрет его души и мысли, его России, чью музыку он пишет на полях Пушкина и Блока, Есенина и Александра Прокофьева, на полях неисчерпаемой русской песни.

Тут они с Гаврилиным делают одно дело с одинаковым благородством и чистотой. Когда Свиридов говорит о Гаврилине, что он «композитор народный, как были народны композиторы-классики... как народно творчество Пушкина или Кольцова, Некрасова или Есенина», это не преувеличение, а только профессионально глубокое звание. У Селиверстова есть два отлично построенных портрета Гаврилина, но духовной дистанции, как в портретах Мусоргского, меж ними пока нет — оба больше идут путем умозрения, чем считывании настоящего существа Гаврилина. В одном ключицы музыканта неуловимо переходят в пальцы, словно пальцами становится все влекующееся к клавишам тело, а отражения их в лаке рояльной крышки ребят, как частокол ног пролетающей деревенским мостом тройки. В другом — теплится забытая на крышке папироса и дым истаивает, как невнятная, только нащупываемая мысль, над которой медлит рука на клавишах и на листе, медлит, вслушиваясь, взгляд, обернутый внутрь к этому проступающему звуку. Художник как будто и сам еще только дослушивает композитора, только страшно близко, томительно предчувствует образ, который вот-вот из умозрения станет и светом, и правдой, и Россией, как это сошлось в портрете Свиридова.

Одно из самых обманчивых обольщений — обольщение свободой. Это так часто подтверждалось человеческой историей, что и повторять неловко (психология и философия таких состояний общества и человека с подробностью истории болезни написаны в «Легенде о Великом Инквизиторе»). Теперь мы по себе, по чрезвычайному духовному неудобству своего состояния легко понимаем, как тревожно это смещение мировоззренческих весов, эта замена ориентиров — словно оказались на сквозняке. И тем дороже вовремя поданная рука, путеводительное слово, укрепляющая мысль.

Работы Ю. И. Селиверстова дороги не только тем, что возвращают русскому графическому портрету художественную высоту, но прежде всего напоминанием о прежних путях, о старых вопросах и уже обдуманных русской мыслью ответах. Перед нами и вместе с нами страдает и ищет душа самого художника, обращаясь за опорой к тому, что мучилось и страдало до нас и стало нашим опытом, нашей силой, нашей поддержкой. Он не предлагает ответов, он лучше ставит вопросы и вернее слышит ободряющий голос художественного предания и сегодняшние пути старинного, длящегося в слове и музыке поиска всеединства, без которого не стоит ни русское искусство, ни здоровая, народно живая мысль.

●

ПРЕМИИ ЖУРНАЛА ЦК ВЛКСМ «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» ЗА 1988 ГОД

Редколлегия журнала ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» отметила денежными премиями следующие произведения за 1988 год:

Виктор БОКОВ. Живи и надейся. Стихи (№ 9). **Владимир БУШИН.** С высоты насыпного Олимпа. Статья (№ 10). **Ярослав ВАСИЛЬЕВ.** И камень цвел на глубине. Стихи (№ 1). **Николай ЗАДОРНОВ.** Владычица морей. Роман (№ 11, 12). **Василий КАЗАНЦЕВ,** Стань счастливым. Стихи (№ 9). **Капитолина КОКШЕНЕВА.** «Театр для себя» или «театр для людей»? Статья (№ 7). **Станислав КУНЯЕВ.** «Клевета все потрясает...» Статья (№ 7). **Юрий МАКАРОВ**, художник. Иллюстрации к роману Николая Задорнова «Владычица морей» (№ 11, 12). **Юрий МАКАРЦЕВ.** Еще не поздно! Очерк (№ 1), День Мещеры. Очерк (№ 11). **Виталий ПАРФЕНОВ.** Право на долг. Документальная повесть (№ 3, 4, 5, 6). **Сергей СЕМЯННИКОВ.** Утренний берег. Стихи (№ 9). **Борис СУДАРУШКИН.** Уединенный памятник. Повесть (Библиотека журнала, № 41). **Игорь ТЕТЕРИН.** Реалисты против экстремистов. Очерк (№ 11. 12). **Валерий ХАТЮШИН.** О мнимом и подлинном в поэзии. Статья (№ 9). **Малика ШАБАЕВА.** Автопортрет. Стихи (Библиотека журнала, № 28). **Михаил ЩУКИН.** Грань. Роман (№ 9, 10).

Художественный редактор Г. Комаров

Технический редактор Н. Строева

Сдано в набор 17.11.88. Подп. в печ. 22.12.88. А13630. Формат 84×108 1/32. Печать высокая. Усл. печ. л. 15,12. Усл. кр.-отт. 21,0. Уч.-изд. л. 18,0. Тираж 630 000 экз. Цена 80 коп. Зак. 261

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21






В. БОКОВ


В. БУШИН


Я. ВАСИЛЬЕВ


Н. ЗАДОРНОВ


В. КАЗАНЦЕВ


С. КУНЯЕВ


К. КОКШЕНЕВА


Ю. МАКАРОВ



Ю. МАКАРЦЕВ


В. ПАРФЕНОВ


С. СЕМЯННИКОВ


Б. СУДАРУШКИН


И. ТЕТЕРИН


В. ХАТЮШИН


М. ШАБАЕВА


М. ЩУКИН